# Н. Г. Помяловский

Н. Г. Помяловский











ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

# Н. Г. Помяловский

## СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва · Ленинград

# Н. Г. Помяловский

## СОЧИНЕНИЯ
## ТОМ ВТОРОЙ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва · Ленинград

Р-1
П-55

Тексты печатаются по изданию:
Н. Г. Помяловский. Сочинения, Гослитиздат,
М.—Л., 1951

*Примечания*
*И. ЯМПОЛЬСКОГО*

*Иллюстрации художника*
*Г. ВЕСЕЛОВА*

*Оформление художника*
*И. СЕРОВА*



# Очерки бурсы

*Посвящается*
*Н. А. Благовещенскому*



# Зимний вечер в бурсе

## Очерк первый

Класс кончился. Дети играют.

Огромная комната, вмещающая в себе второуездный класс училища, носит характер казенщины, выражающей полное отсутствие домовитости и приюта. Стены с промерзшими насквозь углами грязны — в черно-бурых полосах и пятнах, в плесени и ржавчине; потолок подперт деревянными столбами, потому что он давно погнулся и без подпорок грозил падением; пол в зимнее время посыпался песком либо опилками: иначе на нем была бы постоянная грязь и слякоть от снегу, приносимого учениками на сапогах с улицы. От задней стены идут *парты* (учебные столы); у передней стены, между окнами, стол и стул для учителя; вправо от него — черная учебная доска; влево, в углу у дверей, на табурете — ведро воды для жаждущих; в противоположном углу — печка; между печкой и дверями вешалка, на спицах которой висит целый ряд тряпичный: шинели, шубы, халаты, накидки разного рода, все перешитое из матерних капотов и отцовских подрясников, — нагольное, крытое сукном, шерстяное и тиковое; на всем этом виднеются клочья ваты и дыры, и много в том месте злачнем и прохладнем паразитов, поедающих тело плохо кормленного бурсака. В пять окон с пузырчатыми и зеленоватыми стеклами пробивается мало свету. Вонь и копоть в классе; воздух мозглый, какой-то прогорклый, сырой и холодный.

Мы берем училище в то время, когда кончался *период насильственного образования* и начинал действовать

*закон великовозрастия.* Были года — давно они прошли — когда не только малолетних, но и бородатых детей по приказанию начальства насильно гнали из деревень, часто с дьяческих и пономарских мест, для научения их в бурсе письму, чтению, счету и церковному уставу. Некоторые были обручены своим невестам и сладостно мечтали о медовом месяце, как нагрянула гроза и повенчала их с Пожарским, Меморским, псалтырем и обиходом церковного пения, познакомила с *майскими* (розгами), проморила голодом и холодом. В те времена и в приходском классе большинство было взрослых, а о других классах, особенно семинарских, и говорить нечего. Достаточно пожилых долго не держали, а поучив грамоте года *три-четыре,* отпускали *дьячить*; а ученики помоложе и поусерднее к науке лет под тридцать, часто с лишком, достигали *богословского* курса (старшего класса семинарии). Родные с плачем, воем и причитаньями отправляли своих птенцов в науку; птенцы с глубокой ненавистью и отвращением к месту образования возвращались домой. Но это было очень давно.

Время перешло. В общество мало-помалу проникло сознание — не пользы науки, а неизбежности ее. Надо было пройти хоть приходское ученье, чтобы иметь право даже на пономарское место в деревне. Отцы сами везли детей в школу, парты замещались быстро, число учеников увеличивалось и наконец доросло до того, что не помещалось в училище. Тогда изобрели знаменитый *закон великовозрастия.* Отцы не все еще оставили привычку отдавать в науку своих детей взрослыми и нередко привозили шестнадцатилетних парней. Проучившись в четырех классах училища по два года, такие делались *великовозрастными;* эту причину отмечали в *титулке* ученика (в аттестате) и отправляли *за ворота* (исключали). В училище было до пятисот учеников; из них ежегодно получали титулку человек сто и более; на смену прибывала новая масса из деревень (большинство) и городов, а через год отправлялась *за ворота* новая сотня. Получившие титулку делались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами; но наполовину шатались без определенных занятий по епархии, не зная, куда деться со своими титулками, и не раз проносилась грозная весть, что всех безместных будут верстать в солдаты. Теперь понятно, каким образом поддерживался учи-



лищный комплект, и понятно, отчего это в темном и грязном классе мы встречаем наполовину сильно взрослых.

На дворе слякоть и резкий ветер. Ученики и не думают идти на двор; с первого взгляда заметно, что их в огромном классе более ста человек. Какое разнохарактерное население класса, какая смесь одежд и лиц!.. Есть двадцатичетырехгодовалые, есть и двенадцати лет. Ученики раздробились на множество кучек; идут игры — оригинальные, как и все оригинально в бурсе; некоторые ходят в одиночку, некоторые спят, несмотря на шум, не только на полу, но и по партам, над головами товарищей. Стон стоит в классе от голосов.

Большая часть лиц, которые встретятся в нашем очерке, будут носить те клички, которыми нарекли их в товариществе, например: *Митаха, Элпаха, Тавля, Шестиухая Чабря, Хорь, Плюнь, Омега, Ерра-Кокста, Катька* и т. п., но этого не можем сделать с Семеновым: бурсаки дали ему прозвище, какого не пропустит никакая цензура, — крайне неприличное.

Семенов был мальчик хорошенький, лет шестнадцати. Сын городского священника, он держит себя прилично, одет чистенько; сразу видно, что училище не успело стереть с него окончательно следов домашней жизни. Семенов чувствует, что он *городской,* а на городских товарищество смотрело презрительно, называло бабами: они любят маменек да маменькины булочки и пряники, не умеют драться, трусят розги, народ бессильный и состоящий под покровительством начальства. Для товарищества редкий городской составлял исключение из этого правила. Странно было лицо у Семенова — никак не разгадать его: грустно и в то же время хитро; боязнь к товарищам смешана с затаенной ненавистью. Ему теперь скучно, и он, шатаясь из угла в угол, не знает, чем развлечься. Он усиливается удержать себя вдали от товарищей, в одиночку; но все составили партии, играют в разные игры, поют песни, разговаривают; и ему захотелось разделить с кем-нибудь досуг свой. Он подошел к играющим в *камешки* и робко проговорил:

— Братцы, примите меня.

— Гусь свинье не товарищ, — отвечали ему.

— Этого не хочешь ли? — проговорил другой, подставив под самый нос его сытый свой кукиш с большим грязным ногтем на большом пальце...

— Пока по шее не попало, убирайся! — прибавил третий.

Семенов отошел уныло в сторону; но на него не произвели особенного впечатления слова товарищей. Он точно давно привык и отерпелся с грубым обращением.

— Господа, *с пылу горячих!*

— Кому, Тавля? — отозвались голоса.

— Гороблагодатскому.

Семенов вместе с другими направился к столу, около которого тоже шла игра в камешки между двумя великовозрастными, и притом Гороблагодатский был второй силач в классе, а Тавля — четвертый. Лица, окружившие игроков, приятно осклаблялись, ожидая увеселительного зрелища.

— Ну! — сказал Тавля.

Гороблагодатский положил на стол руку, растопырив на ней пальцы. Тавля разместил на руке его пять небольших камней самым неудобным образом.

— Валяй! — сказал он.

Тот вскинул кверху камни и поймал из них только три.

— За два! — подхватили окружающие.

— Пиши, брат, к родителям письма, — прибавил Тавля с своей стороны.

Гороблагодатский, ничего не отвечая, положил левую руку на стол. Тавля кинул камень в воздух, во время его полета успел с страшной силой щипнуть руку Гороблагодатского и опять поймал камень.

Толпа захохотала.

Игра в камешки, вероятно, всем известна, но в училище она имела оригинальные дополнения: здесь она со *щипчиками,* и притом *щипчиками холодненькими, тепленькими, горяченькими* и *с пылу горячими,* которые доставались проигравшему. Без щипчиков играла самая молодая, самая зеленая *приходчина,* а при щипчиках с пылу горячих присутствует теперь читатель.

Между тем *матка* (главный камень) летала в воздухе, а Тавля своими здоровенными руками скручивал кожу на руке партнера и дергал ее с ожесточением. После двадцати щипчиков рука сильно покраснела; после пятидесяти появилась синева.

— Любо ли? — спрашивает Тавля, заглядывая ему в глаза.



Противник молчит.

— Любо ли?

Опять ответа нет.

— Взъерепень, взъерепень его! — говорят окружающие.

— Заплачь, так прощу! — говорит Тавля.

— Смотри, чтобы самому плакать не пришлось! — ответил Гороблагодатский. Здоровый детина выносил сильную боль в руке, но только мрачный взгляд обнаруживал, что он чувствует.

— Что, дядя, больно?

Тавля дал такого щипка, что Гороблагодатский невольно стиснул зубы. Все захохотали.

— Живота аль смерти?

Сильный щипок повторился при хохоте зрителей. В этом хохоте не слышалось злорадованья или неприязненной насмешки; товарищи видели во всем только ко-

мическую сторону. Один лишь Семенов улыбался как-то особенно; его удовольствие не походило на удовольствие других, и действительно, он затаенно повторял в душе:

«Так и надо, так и надо!»

Дошло до ста...

— Ну, черт с тобой! — заключил наконец Тавля.

Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю и решился на игру с ним в надежде остаться победителем и задать ему более чем с пылу горячих. Оба они были *второкурсные*. Каждое учебное заведение имеет свои предания. Аборигены училища, насильно посаженные за книгу, образовали из себя *товарищество,* которое стало во враждебные отношения к *начальству* и завещало своим потомкам ненависть к нему. Начальство, со своей стороны, также стало во враждебные отношения к товариществу и, чтобы сдерживать его в границах *училищной инструкции* (кодекс правил для поведения и учения), изобрело целую бурсацко-бюрократическую систему. Зная, что всякое царство, раздельшееся на ся, не устоит, оно отдало одних товарищей под власть другим, желая внести в среду их междуусобие. Такими властями были: *старшие спальные* — из второуездных; *старшие дежурные* — из спальных, справляя недельную очередь по всему училищу; *цензора* — надзирающие за поведением в классе; *авдитора* — выслушивающие по утрам уроки и отмечающие баллы в *нотатах* (особой тетради для баллов); наконец, последняя власть и едва ли не самая страшная — *секундатор,* ученик, который, по приказанию учителя, сек своих товарищей. Все эти власти выбирались из *второкурсных.* Ученик, просидев за партою два года, за леность и малоуспешность оставался в том же классе еще на два: этот и назывался второкурсным. Очень естественно, что такой ученик что-нибудь да выносил из уроков учителей и потому больше знал, чем первокурсный; это бралось начальством во внимание, и расчет был верен: второкурсные, желая удержать власть в своих руках, учились усердно, и большинство из них заняло первые места, потому что не бездарность, а лень делала их второкурсными. Вот основы училищной бюрократии, при помощи которой начальство хотело разрушить товарищество.

Изо всего этого вышла одна гадость. Ко второкурсным было полное доверие начальства; жалоба на них была оскорблением для смотрителя и инспектора; деспотизм их развился в высшей степени, и ничто так не оподляет дух учебного заведения, как власть товарища над товарищем; цензора, авдитора, старшие и секундаторы получили полную возможность делать что угодно. Цензор был чем-то вроде царька в своем царстве, авдитора составляли придворный штат, а второкурсные — аристократию. Притом второкурсные, просидев лишних два года, понятно, делались взрослыми, а потому и физическая сила была на их стороне. Наконец, по той же причине они знали обряды и формы своего класса, характер учителей, уменье надувать их. Новичок без помощи второкурсного не умел ступить шагу. Начальство, вводя такой деспотизм, думало, что оно поселит в товариществе ябеду и донос. Случилось совсем не то: при училищном *второкурсии* только народились в товариществе такие гадины, отвратительные гадины, как Тавля, и такие дикие характеры, как Гороблагодатский. Они ненавидели друг друга, потому что воспользовались данною им властью для разных целей. Тавлю ненавидели и другие силачи — Лашезин и Бенелявдов; его все ненавидели и презирали.

Тавля, в качестве второкурсного авдитора, притом в качестве силача, был нестерпимый взяточник, драл с подчиненных деньгами, булкой, порциями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля был ростовщик. Рост в училище, при нелепом его педагогическом устройстве, был бессовестен, нагл и жесток. В таких размерах он нигде и никогда не был и не будет. Вовсе не редкость, а напротив — норма, когда *десять копеек,* взятые на *недельный срок,* оплачивались *пятнадцатью копейками,* то есть, по общепринятому займу на год, это выйдет *двадцать пять раз капитал на капитал.* При этом должно заметить, если должник не приносил, по условию, долгу через неделю, то через следующую неделю он обязан был принести вместо пятнадцати двадцать копеек. Такой рост неизвестно с каких пор вошел в обычай бурсы; не один Тавля живодерничал; он был только виднее других. Необходимость в займе всегда существовала. Цензор или авдитор требовали взятки; не дать — беда, а денег нет, вот и идет первокурсный к своему же товари-

щу, но ростовщику, согласен на какой угодно процент, лишь бы избавиться от прежестоких грядущих розгачей. Кредит обыкновенно гарантируется кулаком либо всегдашнею возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на рост только второкурсники. Надо заметить, что большая часть тягостей в этом отношении падала на городских, потому что они каждое воскресенье ходили домой и приносили с собою деньжонки; поэтому на городских налегали все, хотя и из них считался уже богачом, кто получал на неделю какой-нибудь гривенник. Поэтому многие были в неоплатном долгу и нередко состояли в бегах. Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли проявилась вся при деспотизме второкурсия. Он жил барином, никого знать не хотел; ему писались записки и вокабулы, по которым он учился; сам не встанет для того, чтобы напиться воды, а кричит: «Эй, Катька, пить!» Подавдиторные чесали ему пятки, а не то велит взять перочинный нож и скоблить ему между волосами в голове, очищая эту поганую голову от перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлял говорить ему сказки, да непременно страшные, а не страшно, так отдует; да и чем только при глубоком разврате Тавли не служили для него подавдиторные! При всем этом он был жесток с теми, кто служил ему. «Хочешь, говорит, Катька, *рябчика съесть?*» — и начинает щипать подчиненного за волоса. «Тебя маменька вот так гладила по головке; постой же, я покажу, как папенька гладит»; после этого, уставив палец против *шерсти* (волос), он плотно проводил им от начала лба и до конца затылка. «Видал ли ты Москву?» — спрашивает он ученика и прикладывает свои широкие, потные, скверные ладони к ушам подавдиторного, сжимает между ними голову его и потом, приподняв на воздух, говорит: «Теперь видишь ли Москву? вон она!» Он загибал своим товарищам *салазки*, то есть положит уче-





ника на сиденье парты лицом вверх, поднимет его ноги и гнет их к лицу. Плюнуть в лицо товарищу, ударить его и всячески изобидеть составляло потребность его души. Известно было товарищам, что он однажды добыл из гнезда неоперившихся воробьиных птенцов, взял за тонкие ноги и разорвал воробьев на части. Меньшинство его ненавидело; большинство боялось и ненавидело.

Гороблагодатский был сильная, но дикая натура. Второкурсие отразилось на нем совершенно иначе, нежели на Тавле. Он был положительным доказательством, что начальство ошиблось в расчете, вводя деспотизм ученика над учеником и через то желая внести в товарищество ябеду и донос. Товарищество в самом деспотизме нашло себе опору. Второкурсные сделались хранителями преданий и, получив по наследству ненависть к начальству, употребляли власть, им данную, на то, чтобы гадить тому же начальству. Цензор, авдитора, секундатор стали на стороне товарищества, а во главе их всех, в тот курс, который описываем мы, стоял Гороблагодатский. Пьянство, нюханье табаку, самовластные отлучки из училища, драки и шум, разные нелепые игры — все это было запрещено начальством, и все это нарушалось товариществом. Нелепая долбня и спартанские наказания ожесточали учеников, и никого они так не ожесточили, как Гороблагодатского.

Он был *отпетый.*

Отпетый характеристичен и по внутреннему и по внешнему складу. Он ходит, заломив козырь на шапке, руки накрест, правым плечом вперед, с отважным перевалом с ноги на ногу; вся его фигура так и говорит: «Хочешь, тресну в рожу? думаешь, не посмею!» — редко дает кому дорогу, обойдет начальника далеко, чтобы только избежать поклона. Гороблагодатский поддерживает самое неприличное дело, если оно относится ко вреду высших властей, *отмачивает* дикие штуки. Он ревнитель старины и преданий, стоит за свободу и вольность бурсака и, если нужно будет, не пощадит для этого

священного дела ни репутации, ни титулки. Он основной столп товарищества. Бурсаки с такими доблестями обыкновенно звались отпетыми. Но отпетые были разного рода: одни из них назывались *благими*; это были дураковатые господа, но держащиеся тех же принципов; другие назывались *отчвалыми*: эти были вообще не глупы, но лентяи бесшабашные; Гороблагодатский же был отпетый *башка*: он шел в первых по учению и в последних по поведению. Башка и отчвалый умно гадили начальству, а благой глупо: например, вдруг захохочет учителю в лицо и покажет ему кукиш; вздерут благого, а через несколько времени он опять выкинет какую-нибудь глупую дерзость. Но никто из отпетых так не солил начальству, как Гороблагодатский. Если вымазали эконому двери нестерпимой *размазней* (жидкая гречневая каша), нелюбимому учителю вшей[1] напустили в шубу, свинье инспектора переломали ноги или оторвали хвост, обокрали погреб смотрителя, выбили ночью целый ряд стекол, — все это были дела Гороблагодатского, который смело вел за собою на пакость начальству благих и отчвалых. Когда требовалось устроить стачку против начальства, то опять коноводом был Гороблагодатский: под его влиянием отпетые настраивали недавно сеченных и вообще недовольных; эти волнуют весь класс, самые смиренные и кроткие начинают шуметь и грозить, товарищество возбуждено — и зреет бурсацкий скандал, который на местном языке называется *бунтом*. Протестанты наперед знают, что они ничего не добьются от начальства: если, например, их кормили *убоиной*, похожей на падаль, то они уверены, что и после возмущения будут есть ту же убоину; но они по крайней мере гнев сорвут, а там пори себе десятого.

Гороблагодатскому, как отпетому, часто доставалось от начальства; в продолжение семи лет он был сечен раз триста и бесконечное число раз подвергался другим разнообразным наказаниям бурсы; но, во всяком

---

[1] Этих насекомых было огромное количество в бурсе. Не поверят, что один ученик был почти съеден ими; он служил каким-то огромным гнездом для паразитов; целые стада на виду ходили в его нестриженой и нечесаной голове; когда однажды сняли с него рубашку и вынесли ее на снег, то снег зачернелся от них. Вообще неопрятность бурсы была поразительна; золотуха, чесотка и грязь ели тело бурсака. — *Прим. автора.*

случае, должно сказать, что его все-таки мало секли: за его разные проделки ему следовало бы подвергнуться наказаниям по крайней мере в пять раз больше, но он был ловок и хитер. В бурсе отпетыми было изобретено много способов, чтобы надувать начальство. Особенно замечателен был прием под названием — *пустить в круговую*. Например, отнимут табакерку у А.; А. говорит, что она не его, а В.; В. ссылается на Д., Д. на А., А. опять на В. — вот и круговая: разыщите, чья табакерка. В круговую вводилось человек тридцать, и тогда сам Соломон не разберет, кого следует выпороть. При бунтах всегда прибегали к круговой. «Ты зачем кричал во время класса?» — «Меня научил такой-то». — «А ты зачем?» Тот ссылается на другого, и пошла коловоротица, в которой сам черт ногу сломит. Надуть товарищество считалось преступлением, надуть начальство — подвигом и добродетелью. Случалось, что секли не того, кого следует, но наказываемый редко выдавал виноватого. Добровольное сознание в проступке ученики признавали за пошлость и трусость; напротив, кто больше и наглее лгал перед начальником, бессовестно запирался, путал дело мастерски, божился и клялся на чем свет стоит, тот высоко стоял в глазах бурсацкой общины. Но и в этом отношении Гороблагодатский стоял выше всех; после долгой практики в скандалах разного рода он приобрел навык в самом изворотливом запирательстве. Другие только не сознавались в проступке, а он с самоуверенной дерзостью, глядя прямо в глаза начальнику, огрызался, и в то время такая оскорбленная невинность была написана на его лице, что опытный физиономист и психолог сбился бы с толку. Он входил до того в роль невинного, что сам считал себя невинным и под лозами никогда не сознавался. Все, что исходило от начальства, он презирал и ставил ни во что: поэтому розги, оплеухи, лишения обеда, стоянье на коленях, земные поклоны и т. п. для него положительно не имели никакого морального значения. Наказание было до такой степени дело не позорное, лишенное смыслу и полное только боли и крику, что Гороблагодатский, сеченный публично в столовой, пред лицом пятисот человек, не только не стеснялся сряду же после порки явиться перед товарищами, но даже похвалялся перед ними. Полное бесстыдство пред начальнической розгой создало местную пого-

ворку: *не репу сеют, а секут только*. Да чего лучше: секундатор, товарищ, секущий своих товарищей, уважаем и любим был ими, потому что и он служил в их видах: искусный в своем деле, он сильно драл своих товарищей, и свистели лозы по воздуху, когда под ними лежала добрая голова. Гороблагодатского много секли; случалось ему вкушать даже до ста ударов, и потому он переносил розги легче, нежели его товарищи, вследствие чего с абсолютным презрением относился к какому бы то ни было наказанию. Ставили его коленями на покатой доске парты, на выдающееся ребро ее, заставляли в двух шубах волчьих делать до двухсот земных поклонов, приговаривали держать в поднятой руке, не опуская ее, тяжелый камень по получасу и более (нечего сказать, изобретательно было начальство), жарили его линейкой по ладони, били по щекам, посыпали сеченное тело солью (верьте, что это факты) — все он переносил спартански: лицо его делалось после наказания свирепо и дико, а на душе копилась ненависть к начальству. Мы видели в Гороблагодатском переносчивость физической боли, когда Тавля задавал ему с пылу горячих.

Но кража, сплетня, порча чужих вещей и всякая гадость не считались пороками только относительно начальства, а в себе самом товарищество было честно, и с этой стороны Гороблагодатский является в новом свете. Он не взял ни одной взятки, беспристрастно и справедливо отмечал подавдиторным баллы, не куражился над ними, часто защищал слабосильных, любил вмешиваться в ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо решал их; он постоянно солил ростовщикам и взяточникам. Товарищество его любило и уважало.

Мы сказали, что Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю за его гнусную натуру; но он с ним играет в камешки: ему хочется выиграть и помучить Тавлю.

Кончив щипчики, Тавля предложил лукаво:

— Не хочешь ли еще?

Тавля отлично играл в камешки и надеялся на себя.

— Давай! — упорно отвечал Гороблагодатский.

Камни опять защелкали.

Семенов издали наблюдал за игроками. Семенов был третий тип училищный, созданный тою же бурсацкою администрациею. Товарищество сегодня огласило его *фискалом*.

Начальство понимало, что через свое педагогическое устройство бурсы оно не достигло цели, но вместо того, чтобы отказаться от училищных порядков, оно пошло по пути нелепостей далее. Явилось новое должностное лицо — фискал, который тайно сообщал начальству все, что делалось в товариществе. Понятно, какую ненависть питали ученики к наушнику; и действительно, требовался громадный запас подлости, чтобы решиться на фискальство. Способные и прилежные ученики не наушничали никогда, они и без того занимали видное место в списке; тайными доносчиками всегда были люди бездарные и подловатенькие трусы; за низкую послугу начальство переводило их из класса в класс, как дельных учеников. Но мы сказали, что товарищество само в себе было честно и потому не уважало тех учеников, которые за взятку начальнику, по родственным связям, по протекции, а тем более за фискальство, занимали не свое место в списке. Кроме того, ученики вполне справедливо были уверены, что наушник переносил не только то, что в самом деле было в товариществе, но и клеветал на них, потому что фискал должен был всячески доказать свое усердие к начальству. Но когда он передавал инспектору или смотрителю даже правду, и тогда он возбуждал в классе ненависть и злобу: например, дети собираются устроить попойку, оторвать хвост экономской свинье, улизнуть к знакомой прачке или чем иным развлечься, и вдруг инспектор, предуведомленный заранее, вместо развлечения драл их не на живот, а на смерть. Правда, в большинстве случаев, при непобедимом упорстве бурсаков, доносы не вели к наказанию, но начальство из доносов все-таки умело сделать полезное для себя употребление. Как объяснить, отчего инспектор за одинаковое преступление двоих учеников наказывал неодинаково? Это большею частью объяснялось тем, что на ученика сильно наказанного были доносы через фискалов. Начальство особенно не терпело тех лиц, которые ненавидели и преследовали наушников. Вся ябеда, добытая через наушников, вносилась в *черную книгу*. Эта книга имела огромное значение при переводе из класса в класс; тогда многим неожиданно вручались *волчьи паспорты*: это те же титулки, только с отметкою в них о дурном поведении; такие титулки объяснялись единственно черною книгою.



Семенов чувствовал, но страшно верить ему было, что товарищество догадалось, что он фискал. Он ясно заметил, что с ним никто не хочет слова сказать, а первой мерой против наушника было *молчание*: целый класс, а иногда все училище соглашалось не говорить ни слова, исключая брани, с фискалом. Положение ужасное: жить целые недели среди живых людей и не услышать ни одного приветливого звука, видеть на всех лицах отталкивающее презрение и отвращение, вполне быть уверену, что никто ни в чем не поможет, а напротив — с радостью сделает зло... И действительно, фискал становится в товариществе вне покровительства всяких законов: на него клеветали, подводили под наказания, крали и ломали его вещи, рвали одежду и книги, били его и мучили. Иное поведение относительно фискала считалось *бесчестным*.

Но начальство все-таки напрасно развратило навеки несколько десятков человек, сделав из них наушников: училищная жизнь развивалась в своих нелепых формах, и товарищество делало что хотело.

Семенов, смотря на играющих в камешки, злорадостно усмехнулся.

— С пылу горячие! — закричал Гороблагодатский.

В его голосе было что-то зловещее. Тавля струсил и побледнел на минуту. Около стола опять толпа. Опять камень летает в воздухе, но теперь Тавлина рука лежит на столе; напрасно он понадеялся на себя: Гороблагодатский в один прием взял все восемь конов, а Тавля срезался на пятом...

— Конца не будет! — сказал сурово Гороблагодатский.

Тавля видимо трусил. Окружающие не смеялись: они видели, что дело идет не на шутку, что Гороблагодатский мстит.

Дошло до ста. От здоровенных щипчиков вспухла рука Тавли. Он выносил страшную боль, наконец не вытерпел и проговорил просительно:

— Да ну, полно же!..

— После двухсот проси пощады, — отвечал Гороблагодатский.

— Ведь больно!..

— Еще больнее будет.

На сто семидесятом щипке у Тавли рука покрылась темно-синим цветом. Он чувствовал лом до самого плеча...

— Довольно же, Ваня... что же это будет?

Гороблагодатский вместо ответа с ожесточением щипнул Тавлю.

Тавля знал, что слово Гороблагодатского ненарушимо, однако он ощущал до того сильную боль во всей руке, что не мог не просить:

— Оставь... ведь натешился.

— Скажи только слово, еще двести закачу!..

Гороблагодатский дал щипчик более чем с пылу горячий. Тавля не вынес: по щекам его потекли слезы.

Наконец двести.

— Теперь прощенья проси!

Как ни больно Тавле, а стыдно прощенья просить.

— Да ну, оставь же!

— Зачем насмехался давечь?

— Так то ведь шутка!

— Так ты смеешь, животное, надо мной шутить?

Жестоко щипнул он Тавлю.

— Ну прости меня, Ваня...

Гороблагодатскому точно жаль было прекратить мучения ненавистного для него Тавли. Он собрал все силы, и от последнего щипка рука Тавли почернела.

— Будет с тебя. Сыт ли?.. — спросил Гороблагодатский.

Лишь только освободился Тавля, страх в душе его сменился бешенством и злостью.

— Подлец! — проговорил он. — Слышь, не задевай! в зубы съезжу!

— Ты?

— Я.

— А вот и харя, съезди, — сказал Гороблагодатский, подставляя свое лицо...

Тавля забылся в бешенстве и залепил оглушительную плюху своему врагу, но в ответ получил еще здоровейшую. Завязалась драка...

«Так и надо, так и надо!..» — шевелилось в душе Семенова...

Тавля так ошалел от злости, что, несмотря на истерзанную свою руку, не уступал Гороблагодатскому, хотя тот был сильнее его. Злость до того охмелила Тавлю и увеличила его силы, что трудно было решить, на чьей стороне осталась победа... Гороблагодатский затаил и эту обиду в душе.

Гороблагодатский после драки пошел к ведру напиться; на дороге ему попался Семенов. Он дал Семенову затрещину и, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь. Семенов со злостью посмотрел на него, но не смел пикнуть слова.

Постояв немного посреди класса, Семенов стал бесцельно шляться из угла в угол между партами, останавливаясь то здесь, то там.

Посмотрел он, как играют в *чехарду*, — игра, вероятно, всем известная, а потому и не будем ее описывать. В другом месте два парня *ломали пряники*, то есть, встав спинами один к другому и сцепившись руками около локтей, поочередно взваливали себе на спину друг друга; это делалось быстро, отчего и составлялась из двух лиц одна качающаяся фигура. У печки секундатор, по прозванию Супина, учился своему мастерству: в руках его отличные лозы; он помахивал ими и выстегивал в воздухе полосы, которые должны будут лечь на тело его товарища. На третьей парте играли в *швычки*: эта деликатная игра состоит в том, что одному игроку закрывают глаза, наклоняют голову и сыплют в голову щелчки, а он должен угадать, кто его ударил; не угадал — опять ложись; угадал — на смену его ляжет угаданный. Семенов увидел, как его товарищу пустили в голову целый заряд швычков и как тот, вставая, схватился руками за голову.

«Так и надо!» — повторил он в душе и пошел к пятой парте.

Там одна партия дулась в три листика, а другая в носки: известная игра в карты, в которой проигравшему бьют по носу колодой карт.

Семенов перешел к седьмой парте и полюбовался, как шесть *нахаживали*. Эти шестеро, взявшись руками за парту, качались взад и вперед.

На следующей парте Митаха выделывал *богородичен на швычках*, то есть он пел благим гласом «Всемирную славу» и в такт подщелкивал пальцами. Тут же

Ерундия (прозвище) играл *на белендрясах,* перебирая свои жирные губы, которые, шлепаясь одна о другую, по местному выражению, *белендрясили.* Третий артист старался возможно быстро выговаривать: «Под потолком полком полколпака гороху», «Нашего пономаря не перепономаривать стать», «Сыворотка из-под простокваши».

Наконец Семенов пробрался до стены. Здесь Омега и Шестиухая Чабря играли в *плевки.* Оба старались как можно выше плюнуть на стену. Игра шла на *смазь.* Шестиухая Чабря плюнул выше.

— Подставляй! — сказал он, расправляя в воздухе свою пятерню.

Омега выпятил свою *лупетку* (лицо).

— Надувайся! — сказал Чабря.

Омега надул щеки.

— Шире бери!

Омега до того надулся, что покраснел.

— *Верховая,* — начал Чабря, прикладывая свою руку ко лбу Омеги, — *низовая,* — прикладывая к подбородку, — две *боковых,* — прикладывая к одной и другой щеке. — Надувайся!

Омега надулся.

— И *всеобщая!* — торжественно вскрикнул Шестиухая Чабря.

После этого он забрал лицо Омеги в пясть, так что оно между пальцами проступило жирными и лоснящимися складками, и тряс его за упитанные мордасы и кверху и книзу.

Семенову было скучно. Он не знал, что делать...

— Леденцов, пряников! Пряников, леденчиков!

Это был голос Элпахи, который обыкновенно торговал пряниками и леденцами, отчего получал немалую выгоду, потому что покупал фунтами, а продавал по мелочи.

Семенов очутился около него.

— На сколько? — спросил его Элпаха, оглядываясь вокруг и около, потому что товарищество запрещало говорить с Семеновым, но купецкая корысть Элпахи взяла свое.

— На пять копеек.

— Деньги?

— Вот!

— Держись.

— Что ж ты обсосанных даешь?

— Лучший сорт.

— Перемени, Элпаха.

— Леденчиков, пряников! — закричал Элпаха, отворачиваясь в сторону.

Семенов, держа на ладони, рассматривал леденцы, не зная, съесть их или бросить, и уже решился съесть, как кто-то сзади подкрался, схватил с руки лакомство и быстро скрылся. Семенов со злобой посмотрел на товарищей, но бессильна была его злоба, и в то же время одурь брала его от скуки.

— Давай играть в *костяшки*, — сказал ему Хорь.

Семенов сам удивился, что с ним заговорил товарищ. Он недоверчиво смотрел на Хоря.

— Что *гляделы*-то пучишь? не бойся!

— Надуешь...

— Ну вот дурак... что ты!

— Побожись.

— Ей-богу, вот те Христос!

— Право, не надуешь?

— Побожился! чего ж тебе еще?

— Ну ладно, — ответил Семенов, от души обрадовавшись, что с ним заговорило живое существо, хоть это живое существо и было Хорь.

В училище была своя монета — *костяшки* от брюк, жилетов и сюртуков. За единицу принималась *однодырочная* костяшка; две однодырочных равнялись *четырехдырочной*, или *паре*, пять пар *куче*, или *грошу*, пять куч *великой куче*. Костяшки имели цену, определенную раз навсегда, и во всякое время за пять пар можно было получить грош. Огромное количество костяной монеты обращалось в бурсе. Ею платили при игре *в юлу* и *в чет-нечет*. Бывали владетели сотни великих куч и более; их можно узнать по тому, что они всегда держат руку в кармане и роются там в костяном богатстве. Употребление костяной монеты породило особого рода промышленников, которые по ночам обрезывали костяшки на одежде товарищей или делали это во время классов, под партами, спарывая бурсацкую монету сзади сюртуков.

Хорь был один из таких промышленников. У Хоря ничего не было своего — все казенное, и, если бы не казна, вы увидели бы в лице его возможность на Руси

совершенно голого человека. У него почти никогда не водилось денег. В продолжение семи лет у него не перебывало и семи рублей, так что настоящая монета для него была менее действительна, чем костяшки. Это был нищий второуездного класса, и мастер же он был *кальячить*. Узнав, что у товарища есть булка или какое-нибудь лакомство, он приставал к нему как с ножом к горлу, канючил и выпрашивал до тех пор, пока не удовлетворят его желание. Будучи без роду и племени, круглый сирота, он безвыходно жил в училище, на каникулы никогда не ездил и до того втянулся во все формы бурсацкой жизни, что, кроме ее, другой не существовало для него. Только в каникулярное время посещал он базар соседний, реку да лес: здесь был конец его света. Учиться Хорь терпеть не мог, но учился, потому что не мог терпеть и розги: из двух зол (а бурсацкое ученье — зло) приходилось выбирать меньшее. Он был страстный игрок в костяшки; но наживши кое-как великую кучу, он либо выменивал ее на деньги и проедал их с жадностью нищего, либо опять проигрывал, потому что играл не совсем счастливо. Тогда с перочинным ножом он промышлял под партами, либо по ночам под подушками товарищей, куда ученики прятали свою одежду. У одного товарища таким образом он спорол с одежды все костяшки, так что не на что было застегнуться — все валилось долой, хоть умирай. Однажды Бенелявдов, первый силач класса, во время урока, при учителе, поймал его за волоса под партой и задал ему *волосянку*. Просить пощады нельзя было: заметит учитель. После долго смеялись над Хорем, говоря, что у него волоса распухли. Теперь у Хоря только и было полпары, то есть однодырочная.

— Чет аль нечет? — спросил он, загадывая.

— Пусть нечет, — отвечал Семенов.

— Твое. Теперь ты.

Семенов загадал, но лишь только открыл он ладонь, чтобы сосчитать, верно ли Хорь сказал «нечет», как хищный Хорь схватил костяшки и спрятал их себе в карман.

— Что же это, Хорь? — говорил Семенов.

— Я тебе Хорь?.. а в ухо хочешь?

— Оплетохом, — сказал один из товарищей.

— Беззаконновахом, — прибавил другой.

— И неправдовахом, — заключил третий.

— Отдай, Хорь; право, отдай.

— Опять Хорь?.. Рожу растворожу, зубы на зубы помножу!

Семенов не стал более разговаривать. Несчастный отошел в сторону. Нигде не было для него приюта. Он вспомнил, что у него в парте есть горбушка с кашей. Семенов хотел позавтракать, но горбушки не оказалось. Раздраженный постоянными столкновениями с товарищами, он обратился к ним со словами:

— Господа, это подло, наконец!

— Что такое?

— Кто взял горбушку?

— С кашей? — отвечали ему насмешливо.

— *Стибрили?*

— *Сбондили?*

— *Сляпсили?*

— *Сперли?*

— *Лафа,* брат!..

Все эти слова в переводе с бурсацкого на человеческий язык означали: украли, а *лафа* — лихо!

— Комедо! — раздался голос Тавли.

— Иду! — было ответом.

Семенов еще после обеда подслушал, что у Комеды с Тавлей состоялся странный спор на пари, и потому поспешил на голос Тавли, забыв о своей горбушке.

— Готово? — спросил Комедо.

— Есть! — отвечал Тавля и развязал узел, в котором оказалось шесть трехкопеечных булок.

— Сожрешь?

— Сказано.

Толпа любопытных обступила их. Комедо был парень лет девятнадцати, высокого роста, худощавый, с старообразным лицом, сгорбленный.

— Условия?

— Не стрескаешь — за булки деньги заплати, а стрескаешь — с меня двадцать копеек.

— Давай.

— Смотри, ничего не пить, пока не съешь.

Вместо ответа Комедо стал уплетать белый хлеб, который так редко едят бурсаки.

— Раз! — считали в толпе. — Два, три, четыре...

— Ну-ка пятую...

Комедо улыбнулся и съел пятую.

— Хоть на шестой-то подавись!

Комедо улыбнулся и съел шестую.

— Прорва! — говорил Тавля, отдавая двадцать копеек.

— Теперь и напиться можно, — сказал Комедо.

Когда он напился, его спрашивали:

— А еще можешь съесть что-нибудь?

— Хлеба с маслом съел бы.

Достали ломоть хлеба и масла достали.

— Ну-ка попробуй!

Он съел.

— А еще?

— Горбушку с кашей съел бы.

Добыли и горбушку. Его кормили из любопытства. Он съел и горбушку.

— Эка тварь!.. Куда это лезет в тебя, животина ты эдакая! Скот! Как ты не лопнешь, подлец?

— А что брюхо? — спросил кто-то.

— Тугое, — отвечал Комедо, тупо глядя на всех...

— Очень?

— Пощупай.

Стали брюхо щупать у Комеды.

— Ишь ты, стерва!.. как барабан!..

— А что, два фунта патоки съешь?

— Съем.

— А четыре миски каши?

— Съем...

— А пять редек?

— А четыре ковша воды выпьешь?

— Не знаю... не пробовал... Я спать хочу...

Комедо отправился в Камчатку. Долго толпа ругала Комеду и стервой, и прорвой, и всячески...

Между тем Тавля, накормив на свой счет Комеду, по обыкновению озлился. Одному из первокурсных попала от него затрещина, другому он загнул салазки, третьему сделал смазь. Гороблагодатский видел это и в душе называл Тавлю скотиной. Потом Тавля посмотрел на игру в *скоромные*. Васенда наводил: он выставляет руку на парте, а Гришкец со всего маху ладонью бьет его по руке. Васенда старается отдернуть руку, чтобы Гришкец дал промах: тогда уже будет подставлять руку Гришкец. Это Тавлю не развлекло.

— Не *садануть* ли в *постные?* — пробормотал он.

Он стал оглядываться, желая узнать, не играют ли где в постные.

— А, вон где! — сказал он, отыскав то, что требовалось.

Около задних парт, подле Камчатки, собралось человек восемь. Один из них, положив голову на руки, так что не мог видеть окружающих, наводил; спина его была открыта и выпячена вперед. Поднялись над спиной руки и с треском опустились на нее. К ударам других присоединился и удар Тавли. По силе удара наводивший догадался, чей он был...

— Тавля ударил, — сказал он.

Тавля лег под удары.

Гороблагодатский между тем направлялся правым плечом вперед, по-медвежьи, к той же кучке. Увидев, что Тавля наводит, он присоединился к играющим.

Ударили Тавлю.

— Хлестко! — говорили в толпе.

— Ты восчувствуй, дорогая, я за что тебя люблю!

— Кто ударил?

— Ты.

— Вали его... вали снова!..

Тавля наклонился...

— Взбутетень его!

— Взъерепень его!

— Чтоб насквозь прошло!

Трехпудовый удар упал на спину Тавли.

— Гороблагодатский, — сказал Тавля, едва переводя дух...

— Растянуть его снова!

Опять повторился сильный удар...

— Бенелявдов, — указал Тавля.

— Вали еще!

— Что ж, братцы, эдак убить можно человека...

— Зачем мало каши ел?

— Жарь ему в становой!

Опять сильный удар, и опять не угадал Тавля.

— Что ж это, братцы?.. убить, что ли, хотите?

— Значит, любим тебя, почитаем, — сказал Гороблагодатский.

— Братцы, я не лягу... что же такое!.. других так не бьют...



— А тебя вот бьют!
— Жилить?
— Вздуем!
— Морду расквашу! — сказал Гороблагодатский.
— Братцы...
— Ну! — крикнул грозно Бенелявдов.

Тавля угадал наконец... Игроки захохотали, когда он сказал:

— Я не хочу больше играть...

— Отчего же, душа моя? — спросил Гороблагодатский.

Тавля взглянул на него с ненавистью, но, не сказав ни слова, удалился потешаться над первокурсными... Кучка продолжала игру в постные. Но вдруг один из играющих поднял нос и понюхал воздух.

— Кто это? — спросил он.

Поднялись носы и других игроков. Потом все подозрительно посмотрели на Хорька.

— Ей-богу, братцы, не я... вот те Христос, не я... хоть обыщите...

— Чичер!.. — провозгласил Гороблагодатский.

Человек десять вцепились Хорьку в волоса, а один из них запел:

— Чичер, ячер, на́ вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью. Кочена иль пирога?

— Пирога, — пищал Хорь...

— Не проси пирога, мука дорога. Чичер, ячер, на́ вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью... Кочена иль пирога?

— Кочена.

Снова почали и опять пропели «чичер»...

— Кок или вилки в бок?

— Кок! — отвечал истасканный Хорь.

После этого, отпустив в его голову несколько щелчков, отпустили его с миром, говоря:

— Не бесчинствуй!..

— Черти эдакие! — отвечал Хорь. — Я в другой раз еще не так!

Семенов, видя, как таскали Хоря, шептал:

— Так и надо, так и надо!

Но Гороблагодатский схватил Семенова сзади и положил на парту вместо того, кто должен был наводить; с другой стороны придерживали Семенова за голову. На спину его обрушились жесточайшие удары. Он шатался, когда поднялся. Не его спине было переносить такую тяжесть здоровых ладоней. Осмотрелся он бессмысленно кругом. Кто бил? за что?.. Семенов упал на парту и зарыдал. Темнело в классе; еще несколько минут, и зги не увидишь.

— Братцы, — заговорил Семенов, опомнившись, — за что вы меня ненавидите?.. все!.. все!..

Голос его был заглушен хоровою песней. Сумерки развивались быстро; едва можно рассмотреть лица; цвета и линии пропадают в воздухе, остаются одни звуки.

Семенов пробрался к окну и с гнетущей тоской и злобой на сердце смотрел на неприветливый двор, в непроглядную тьму зимнего скверного вечера. Припомнилась ему родная семья. Отец давно уже встал от послеобеденного сна; добрая мать, которой он был любимцем, вносит теперь самовар в гостиную; брат и две сестренки уже около стола, щебечут и смеются; звенят чайные ложки и блюдца, и легкий пар идет от живительной влаги. «Домой бы теперь!..» Он закрыл лицо руками, прислонился к стеклу и опять зарыдал... Но вдруг плач его пресекся... Ужас напал на него, и он задрожал всем телом. Страшна такая жизнь, какую он испытал сегодня. Он забыл физическую боль тела, лишь только в груди залегло что-то и мешало дышать. Отупел он от страху, и неотразимо ясно представилось ему: «Отверженец!.. тебя все ненавидят! и даже предвидеть нельзя, что с тобой сделают! быть может, сейчас ударят в спину, вырвут клок волос из головы, плюнут в лицо...» В классе совершенно темно, потому что начальство из экономического расчета зажигало лампу только в часы занятий. В этой темноте могут сделать с ним что угодно, и не узнаешь, кто над тобой сорвет гнев свой и отомстит за товарищество. «Не буду больше», — прошептал он, и не было тени злобы в его душе. «Того и стою!» — прокрадывалось в его сознание. Он желал примириться с товариществом и душевно просил пощады. Он уже ненавидел начальство, сделавшее его фискалом, и готов был сам вырвать клок волос из головы того товарища, который займет его место. Семенов решился просить у всего класса прощения и публично отказаться от шпионства. Но вдруг он услышал, что будто кто-то крадется к нему; он в страхе поспешно оставил окно и неизвестно куда скрылся в темноте.

В классе так темно, что за два шага не распознать лица человеческого. Всякие игры прекращались в эти часы, и бурсак мог развлекаться только звуками, странными и разнообразными. Общее впечатление было дико...

Звуки мешаются и переплетаются. Раздается крик какого-то несчастного, которому, вероятно, *въехали в загорбок*; слышен напев на *«Господи воззвах, глас осьмый»*; вырывается из концерта патетическая нота в *верхнее ге*; кого-то еще треснули по роже; у печки поют: «Отроцы семинарстии, посреде кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадим, тебе деньги отдадим»; слышен плач; *грегочет* какая-то тварь, то есть ржет по-лошадиному, выделывая «и-и-го-го-го-го!» Ругань висит в воздухе, крики и хохот, козлоглагольствуют, грегочут и поют на гласы и вкушают затрещины. В Камчатке, под управлением заматорелого Митахи, хранителя училищных преданий, поется стих, сложенный еще аборигенами бурсы:

Сколь блаженны те народы,
Коих крепкие природы
Не знали наших мук,
Не ведали наук!

Тут в столовую заглянешь,
Щей негодных похлебаешь,
Опять в свой класс идешь,
Идешь, хоть и воешь...

А тут архангелы подскочат,
Из-за парты поволочат,
Давай раба терзать,
Лозой его стегать...

Бедняги! недаром же так дико в вашем классе. Вас волочат, терзают, стегают!.. Сочувственно подстают к голосу Митахи голоса его товарищей. К сожалению, конец песни, которая пелась каким-то замогильным, грустным напевом, забылся и не дошел до нас...

В другом месте слышно:

На поповой-то на даче
Мужичок едет на кляче,
Хлибушку везе,
Хлибушку везе...

Мужичье к возью бежали,
Кулачьем в возье совали:
— Щё, бра', продаешь?
Щё, бра', продаешь?

Им сказали, щё овес;
Мужик вынул да потрес
На горсти своей,
На горсти своей.

Еще слышно:

А как взяли козла
Поперек живота,
Как ударили козла
О сырую мать-землю;

Его ноженьки
При дороженьки,
Голова его, язык
Под колодою лежит...

После каждого двустишия припевалось:

Ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли

и потом повторение второго стиха.

А вот и еще отрывок:

Любимцы... Аполлона
Сидят беспечно in caupona.
Едят селедки, merum пьют
И Вакху дифирамб поют:
«О, как ты силен, добрый Вакх!
Мы tuum regnum чтим в мозгах:
Dum caput nostrum посещаешь,
Оттуда curas выгоняешь,
Блаженство в наши льешь сердца
И dignus domini отца.
Мы любим Феба, любим муз:
Они с богами нас равняют,
Они путь к счастью прокладают,
Они дают нам лучший вкус;
Sed omnes haec плоды ученья
Conjunctae sunt всегда с томленьем...
Давно б наш юный цвет увял,
Когда б ты нас не подкреплял! [1]

Восьмипесенная «Семинариада» составлена давно и переходит по преданию от одного поколения к другому. В местных песнях и стихах отразилось, как товарищество смотрело на науку и на своих начальников...

Из общего же всем репертуара певались здесь либо жестокие романсы: «Стонет сизый голубочек», «Ночною темнотою», «Я бедная пастушка», «Уж солнце зашло, вверх горя» и т. п., либо чисто народные песни: «Ах вы,

---

[1] In caupona — в кабачке, в харчевне; merum — чистое, неразбавленное вино; tuum regnum — твое царство; dum caput nostrum — пока нашу голову; curas — заботы; dignus domini — достойный господа; sed omnes haec — но все эти; conjunctae sunt — соединены *(лат.)*. — *Ред.*

сени», «Вниз по матушке по Волге», «Как за реченькою, как за быстрою», «Полно, полно нам, ребята, чужо пиво пити» и т. п.

Но вот какой-то отпетый возглашает еще стих домашнего изделия:

В восьмом часу по утрам,
Лишь лампы блеснут на стенах,
Мужик Суковатов несется,
Несется в личных сапогах...

Повисли в воздухе хохот, остроты и крепкая ругань против начальства... Опять какая-то шельма грегочет... десятеро загреготали... двадцать человек... счету нет... Появились лай, мяуканье и кряканье, свист и визг... Ко всей этой ерунде присоединилась голосов в сорок бурсацкая *разноголосица*: участвующие в ней разбирают между собою все тоны, употребляемые в пении, и все ноты берут сразу. Между тем сырость и холод пронимают приходчину до костей; благим матом затягивается: «Холодно, холодно!» — это призывный к согреванию звук, после которого ученики начинают махать руками наподобие тому, как греются извозчики, и стонут — душу надрывают: «Холодно, холодно!» — «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?» Пастей во сто вырабатывается бесшабашный гвалт, и все это совершается в непроглядной темноте. Если бы привести в класс свежего человека, не слыхавшего стенаний бурсака, он подумал бы, что это грешные души воют в аду. Грегочут, тянут «холодно», дуют разноголосицу во все ноты; в вопиющих и взывающих звуках растут-разрастаются голоса и отдаются дрожью в оконных стеклах... Существует ли на свете еще какой-нибудь нелепый звук, который не отыскался бы в этой массе крика, пенья и гуденья! Но вот что-то новое зарождается в душном, промозглом воздухе кромешного класса; что-то встало над всеми голосами. Заслышали товарищи знаменитый громадный бас Великосвятского, гласящего «благоденственное и мирное житие»; с неудержимою силою оглушаются товарищи последними словами: «Благополучно ныне почивающему на лаврах курсу многая лета!» На необъятной нотище разрешается последний звук... В одно мгновение, точно по одному темпу, смолкли все... Товарищество наслаждается; оно страстно любит крепкий

звук... Но минута — и стоголосое «многая лета!» отвечало басу... Надо заметить, что товарищество уважало, кроме отпетых, потом силачей, потом голов, выносящих многоградусный хмель, — уважало и обширных басов. Бурса любит хорошие голоса, бережет их, лелеет, выручает из всякой беды. Ученики еще дома привыкли петь в церкви, славить Христа, служить панихиды и молебны, читать часы и апостол, отчего у них развиваются голоса и любовь к пению. В училищах часто бывают превосходные певческие хоры. Около Великосвятского слышно одобрение.

— Господа, концерт! — предложил кто-то.

— «На реках вавилонских».

— Да нот нет!..

— На память!..

— Зови маленьких певчих.

Через несколько минут поется концерт. Ни одного дикого звука нет в классе. Дисканты плачут детскими голосами; бас, как подавленная сила, гудит и сдержанно ропщет; слышен крик вавилонянина: «Воспойте нам от песней сионских!»; чудится, как в гневе и нетерпении топает ногами грозный деспот... «Како воспоем на земле чуждей песнь господню?» — отвечают плачущие, робкие голоса детей; женские слезы слышны в грудных дискантах. Высокими, тихими и страстными нотами восходит плач и наконец переходит в сильные, грозные голоса: «Дщи вавилоня, окаянная! блажен, кто возьмет твоих младенцев и расшибет их головы о камень!»

После концерта все стихло. Ученики, укрощенные на время стройным пением, рассказывают друг другу сказки, вспоминают каникулы, толкуют о начальстве и товариществе. Изредка кого-нибудь треснут по шее. Митаха, хранитель преданий, поет заунывным голосом:

А как взяли козла
Поперек живота...

Но ученики недолго сидели скромно и тихо.

— Приходчину дуть! — раздался чей-то голос.

— Идет! — отвечают на голос.

Собирается партия человек двадцать, и ноябрьским вечером крадутся через двор, в класс приходских учеников. Приходчина, тоже сидящая в сени смертней, ничего не ожидала. Второуездные, сделавши набег, рассы-

пались по классу, бьют приходчину в лицо, загибают ей салазки, делают смази, рассыпают постные и скоромные, швычки и подзатыльники. Кто бьет? за что бьет? Черт их знает и черт их носит!.. Плач, вопль, избиение младенцев! На партах и под партами уничтожается горе-злосчастная приходчина. Больно ей. В этих диких побиениях приходчины, совершаемых в потемках, выражалась, с одной стороны, какая-то нелепая удаль: «Раззудись, плечо, размахнись, кулак!», а с другой стороны — «Трепещи, приходчина, и покоряйся!» Впрочем, в таких случаях большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать вытряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалять, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовалось, что в твоих руках пищит что-то живое, страдает и просит пощады, и все это делается не из мести, не из вражды, а просто из любви к искусству. Натешившись вдоволь и всласть, рыцари с торжественным хохотом отправляются восвояси. Истрепанная приходчина охает, плачет и щупает бока свои.

Когда рыцари вернулись в класс, там шла новая забава.

— Мала куча! — кричало несколько человек.

Среди класса, в темноте, шла какая-то возня — не то игра, не то драка... Смех и брань раздавались оттуда.

Усиливается возня. Обыкновенно, когда кричали «мала куча», то это значило, что кого-нибудь повалили на пол, на этого другого, потом третьего и т. д. Упавшим не дают вставать. Человек тридцать роются в куче, сплетаясь руками и ногами и тиская друг другу животы. Успевшие выбиться из кучи и встать на ноги стараются повалить других, еще не упавших на пол, и постоянно раздается в несколько голосов:

— Мала куча!

Не окончилась еще эта возня, как затеялась новая.

— Масло жать! — кричали из угла у печки.

Слышно, как толпа пробирается в угол, напирает и давит своею массою попавших к стене, при криках:

— Михалка, вали!

— Васенда, при!

— Работай, Шестиухая Чабря...

— Тисни, Хорь, тисни!

Попавшие к стене еле дышат, силятся выбиться наружу, а выбившись, в свою очередь жмут масло.

Но обе игры неожиданно прекратились... Раздался пронзительный, умоляющий вопль, который, однако, слышался не оттуда, где игралась «мала куча», и не оттуда, где «жали масло».

— Братцы, что это? братцы, оставьте!.. караул!..

Товарищи не сразу узнали, чей это голос... Кому-то зажали рот... вот повалили на пол... слышно только мычанье... Что там такое творится? Прошло минуты три мертвой тишины... потом ясно обозначился свист розог в воздухе и удары их по телу человека. Очевидно, кого-то секут. Сначала была мертвая тишина в классе, а потом едва слышный шепот:

— Десять... двадцать... тридцать...

Идет счет ударов.

— Сорок... пятьдесят...

— А-я-яй! — вырвался крик.

Теперь все узнали голос Семенова и поняли, в чем дело...

— Ты, сволочь, кусаться! — Это был голос Тавли.

— Ай, братцы, простите!.. не буду! ей-богу, не бу...

Ему опять зажали рот...

— Так и следует, — шептались в товариществе...

— Не фискаль вперед!..

Уже семьдесят...

Боже мой, наконец-то кончили!

Семенов рыдал сначала, не говоря ни слова... В классе было тихо, потому что всячески совершилось дело из ряду вон... Облегчившись несколько слезами, но все-таки не переставая рыдать, Семенов, потеряв всякий страх от обиды и позора, кричал на весь класс:

— Подлецы вы эдакие!.. Чтобы вам всем... — И при этом он прибавил непечатную брань.

— Полайся!

— Назло же расскажу все инспектору... про всех...

Неизвестно от кого он получил затрещину и опять зарыдал на весь класс благим воем. Некоторые захохотали, но многим было жутко... отчего? Потому что при подобных случаях товарищество возбуждалось сильно, отыскивало в потемках своих нелюбимцев и крепко било их.

Между тем рыдал Семенов. Невыразимая злость на обиду душила его; он в клочья разорвал чью-то попавшуюся под руку книгу, кусал свои пальцы, драл себя

за волосы и не находил слов, какими бы следовало изругаться на чем свет стоит. Измученный, избитый, иссеченный, несколько раз в продолжение вечера оскорбленный и обиженный, он теперь совершенно одурел от горя. Жаль и страшно было слышать, как он шептал:

— Сбегу... сбегу... зарежусь... жить нельзя!..

Надобно честь отдать товарищам: большая часть, особенно первокурсные, в эту минуту сочувствовали горю Семенова. У некоторых были даже слезы на глазах — благо темно, не заметят. Второкурсные храбрились, но и на них напала тоска, смешанная со страхом. Все понимали, что такое дело даром не пройдет и что великого сеченья должна ожидать бурса. Тихо было в классе; лишь Семенов рыдал... Что-то злое было в его рыданиях... но вот они вдруг прекратились, и настала мертвая тишина.

— Что с ним? — спрашивали ученики.

— Не случилось ли беды?

— Да жив ли он?

— Братцы, — закричал Гороблагодатский, освидетельствовав парту, на которой сидел Семенов, — он пошел жаловаться!

— Опять фискалить! — раздалось несколько голосов.

Расположение товарищей мгновенно переменилось; посыпалась на Семенова злая брань.

— Смотрите, не выдавать, ребята!

— Э, не репу сеять!.. — слышались ответные голоса.

— А ты как же, Тавля?

— Я скажу, что хотел заступиться за него и в то время, как отдергивал от его рта чью-то руку, он и укусил мою.

— Молодец Тавля.

Однако Тавля дрожал как осиновый лист.

— А что цензор будет говорить? Он должен донести, а то ему придется отвечать.

— А скажу, что меня не было в классе, — вот и все!

В это время раздался звонок, возвестивший час занятий. Отворилась дверь, и в комнату внесли лампу о трех рожках. От столбов полосами легли тени по классу, и осветились неуклюжие здоровенные парты, голые и ржавые стены, грязные окна, осветились угрюмым и неприветливым светом.

Второкурсные собрались на первых партах и вели совещания о текущих событиях. Начались занятия; но странно, несмотря на прежестокие розги учителей, по крайней мере человек сорок и не думали взяться за книжку. Иные надеялись получить в нотате хорошую отметку, подкупив авдитора взяткой; иные думали беспечно: «Авось-либо и так сойдет!», а человек пятнадцать, на задних партах, в Камчатке, ничего не боялись, зная, что учителя не тронут их: учителя давно махнули на них рукой, испытав на деле, что никакое сеченье не заставит их учиться; эти счастливцы готовились к исключению и знать ничего не хотели. Лень была развита в высшей степени, а отсутствие всякой деятельности во время занятных часов заставило ученика выработать тот элемент училищной жизни, который известен под именем школьничества, элемент, общий всякому воспитательному заведению, но который здесь, как и всё в бурсе, является в оригинальных формах.

Сидящие в Камчатке пользовались некоторыми привилегиями; на их шалости цензор, наблюдающий тишину и порядок, смотрел сквозь пальцы, лишь бы не шумели камчадалы. Пользуясь такими льготами, камчадалы развлекались, как умели. Гришкец толкает Васенду и шепчет: «Следующему», Васенда толкает Карася, Карась Шестиухую Чабрю, передавая то же слово; этот передает дальнейшему, толчок переходит на другую парту, потом на третью и так перебирает всех учеников. Вон Комедо, объевшись, спит, а Хорь, нажевав бумаги, сделал комок, который называется *жевком*, и пустил его в лицо спящего товарища. Комедо проснулся и пишет к Хорю записку: «После занятия тебе я спину сломаю, потому что не приставай, если к тебе не пристают», и опять засыпает. Записок много пересылается по комнате; в одной можно читать: «Дай ножичка или карандаша», в другой: «Эй, Рабыня! (прозвище ученика) я ужо с тобой на матках в чехарду», в третьей: «Пришли, дружище, табачку понюшку, после, ей-богу, отдам»; а вот Хитонов получил безымянную ругательную записку: «Ты, Хитонов, рыжий, а рыжий-красный — человек опасный; рыжий-пламенный сожег дом каменный». Ответы и требуемые вещи идут по той же почте. Дети развлекаются по мере возможности. Многие корчат гримасы, ловят нос языком, косят глаза, пялят рот пальцами, показывая ис-

кривленное лицо другим или рассматривая его в трехкопеечное зеркальце. Плюнь умеет корчить рожи на номера: он высунул язык в левую сторону, нос подпер пальцем к правой щеке, глаза выпучил, щеки отдул — это номер пятый. Всех номеров двенадцать. Авдитор, по прозванью Богиня, жует резину, третий день не выпуская ее изо рта; она скоро превратится в мягкую массу; потом надо надуть ее воздухом, сжать пальцами, вследствие чего образуется пузырек; пузырьком великовозрастный ударит себя по лбу и услышит легкий треск; чтобы насладиться таким счастьем, он работает усердно, не щадя своих челюстей, а когда устанет, то дает пожевать подавдиторному. Мямля сделал панораму из конфетных картинок и любуется ею целый час и в сотый раз; у него же из билетиков от леденцов сделан оракул: по леденечным билетикам красны девицы гадают о женихах, а он — вспорют его завтра или нет. Сосед его сделал *пильщика*, то есть деревянную куклу с пилою, и, отыскав равновесие, поставил ее на краю парты и заставляет ее качаться. Чеснок запихнул себе в нос нитку, под сильным вдыханием воздуха проводит ее в рот и, передергивая нитку взад и вперед, показывает эту штуку своему *закоперщику* (другу) Мямле. Один великовозрастный камчадал оттачивает перочинный нож и потом бреет верхнюю губу и щеки. Выбрившись, он начинает долбить в парте ящичек. Другой великовозрастный делает цепочку из сутуги. Третий великовозрастный свернул бумагу в тонкую трубочку и щекочет ею себе в носу; рожа его сморщилась, он чихнул громко, и ему весело. Двое камчадалов учатся иностранным языкам; один говорит: «Хер-я, хер-ни, хер-че, хер-го, хер-не, хер-зна, хер-ю, хер-к зав, хер-тро, хер-му»; следует лишь вставить после каждого слога «хер», и выйдет не по-русски, а *по херам*. Другой отвечает ему еще хитрее: «Ши-чего ни-цы, ши-йся не бо-цы», то есть «Ничего не бойся». Это опять не по-русски, а *по-шицы*; здесь слово делится на две половины, например: ро-зга, к последней прибавляется *ши*, и произносится она сначала, а к первой *цы*, и произносится она после; выходит *ши-зга ро-цы*. Пентюх на последней парте занимается типографским искусством: он слюнит кость на суставе пальца, прикладывает сустав на печатную букву в учебнике и потом вырывает ее; снявши букву с пальца, он переводит ее на бумагу;

таким образом печатается какое-нибудь слово. Под последними партами улеглись на постланные на пол шубы человек пять и рассказывают сказки и побывальщины. На многих скучное, монотонное, без всякого содержания занятное время нагнало непобедимый сон; спят на пятой парте, спят на седьмой, спят на двенадцатой, спят под партами. Так камчатники и второкурсные, приготовившие уроки, проводят занятные часы. Веселая жизнь!

Но только записные, безнадежные лентяи, готовящиеся получить титулку, пользовались правом развлекаться в занятные часы. Кроме их, было еще много лентяев, кандидатов в камчадалы, но еще не камчадалов. Провождение времени этими учениками было еще бесцветнее. Они тоже развлекались по-своему, но так как им необходимо было притворяться, будто они дело делают, то и развлечения их были другие. Цапля со всеусердием пишет что-то; со стороны посмотреть, он прилежнейший ученик, а между тем он вот что делает: напишет цифру, под ней другую, потом умножит их; под произведением опять подпишет первую цифру, опять умножит числа и т. д., работает, желая узнать, что из этого выйдет. Порося придавил глаз пальцем и любуется, как перед ним двоятся и троятся предметы; потом, затыкая и оттыкая уши, слушает жужжанье и легкий говор в классе, как оно прерывающимися звуками отдается в его ушах; а не то он приставит ухо к парте и рассуждает, отчего это через дерево усиливается звук. Один первокурсный нащипывает себе руку, желая приучить ее хоть к тепленьким щипчикам. Другой завязал конец пальца ниткой и любуется на затекшийся кровью палец. Третий насасывает руку до крови... Изобретают самые пустые и, кажется, неинтересные занятия, например, прислушиваются, как бьется пульс, заберут в легкие воздуху и усиливаются как можно дольше удержать его в груди, задают себе задачу — не мигнуть ни разу, пока не сосчитают тысячу, сбирают слюну во рту и потом выплевывают на пол, читают страницу сзаду наперед и притом снизу вверх, положат натаскать из головы сотню волос и натаскают; кто болтает ногами, кто ковыряет в носу, перемигиваются, передают друг другу разные знаки, руками выделывают разные акробатические штуки... Иной сидит, положив голову на ладони, и смотрит в воздух беспредметно: он мечтает о матери, сестрах, о соседнем саде помещика,

о пруде, в котором ловил карасей... и урок ему нейдет на ум. Некоторые, зажмурив глаза и стараясь попасть пальцем в палец, гадают, будет ли сечь завтра учитель или нет, и когда выходит — будет, то соображают, где бы взять денег в долг, чтобы подкупить авдитора, а за книжку и не думают браться. Иные сидят обессмыслевши и млеют в тоске неисходной, ожидая, скоро ли пройдут три узаконенных часа и ударит благодатный звонок, возвещающий ужин, тупо глядя на тускло горящую лампу. У этих бурсаков не хватает силы воли взяться за урок. Но что это значит? — спросит читатель. — Неужели занимательнее читать страничку снизу вверх, как это делают некоторые для развлечения, нежели сверху вниз?.. Да пожалуй, что и занимательнее. Недаром же сложилась в бурсе песня, которая говорит, что «блаженны народы, не ведающие наук», что нужно иметь «крепкую природу» для училищных «мук», что ученик, идя в класс, «воет», он «раб», его «терзают». Песня, переходящая от поколения к поколению, недаром сложилась.

Главное свойство педагогической системы в бурсе — это долбня, долбня ужасающая и мертвящая. Она проникала в кровь и кости ученика. Пропустить букву, переставить слово считалось преступлением. Ученики, сидя над книгою, повторяли без конца и без смыслу: «Стыд и срам, стыд и срам, стыд и срам... потом, потом... постигли, стигли, стигли... стыд и срам потом постигли...» Такая египетская работа продолжалась до тех пор, пока навеки нерушимо не запечатлевалось в голове ученика «стыд и срам». Сильно мучился воспитанник во время урока, так что учение здесь является физическим страданием, которое и выразилось в песне: «Сколь блаженны те народы». При глухой долбне замечательны в училищной науке возражения. Педагоги получали воспитание схоластическое, произошли всевозможную синекдоху и гиперболу, острием священной хрии вскормлены, воспитаны тою философией, которая учит, что «все люди смертны, Кай — человек, следовательно Кай смертен» или что «все люди бессмертны, Кай — человек, следовательно Кай бессмертен», что «душа соединяется с телом по однажды установленному закону», что «законы тожества и противоречия неукоснительно вытекают из нашего *я* или из нашего самосознания», что «где является свет, там уничтожается тьма», что «смирение есть источник

всякого блага, а вольнодумство пагубно и зазорно» и т. п. Они упражнялись в диалектике, разрешая такие, например, вопросы: «Может ли диавол согрешить?», «Сущность духа подлежит ли в загробной жизни мертвенному состоянию?», «Первородный грех содержит ли в себе, как в зародыше, грехи смертные, произвольные и невольные?», «Что чему предшествует: вера любви или любовь вере?» и т. п. Окончательно же окрепли их мозги в диспутах, когда они победоносно витийствовали на одну и ту же тему pro и contra,[1] смотря по тому, как прикажет начальство, причем пускались в дело все сто форм схоластических предложений, все роды и виды софизмов и паралогизмов. Еще во время детства у них явилось расположение разрешать: «Что такое сущность?», «Что такое целое?», «Спасется ли Сократ и другие благочестивые философы язычества или нет?», и им очень хотелось, чтобы нет. Особенно же любили учителя доказывать, что человек есть существо бессмертное, одаренное свободноразумной душою, царь вселенной, — хотя странно, в действительной жизни они едва ли не обнаруживали того убеждения, что человек есть не более не менее, как бесперый петух. Все это слышалось в возражениях педагогов. Ученик до боли в висках напрягал голову, когда приходилось разрешать великие вопросы педагогов-философов, но, к благополучию его, возражения давались редко и вообще считались ученою роскошью. Над всем царила всепоглощающая долбня... Что же удивительного, что такая наука поселяла только отвращение в ученике и что он скорее начнет играть в плевки или проденет из носу в рот нитку, нежели станет учить урок? Ученик, вступая в училище из-под родительского крова, скоро чувствовал, что с ним совершается что-то новое, никогда им не испытанное, как будто пред глазами его опускаются сети одна за другою, в бесконечном ряде, и мешают видеть предметы ясно; что голова его перестала действовать любознательно и смело и сделалась похожа на какой-то препарат, в котором стоит пожать пружину — и вот рот раскрывается и начинает выкидывать слова, а в словах — удивительно! — нет мысли, как бывало прежде. Только ученики, соединившие в себе способность долбить со способностью отвечать на возраже-

[1] За и против (*лат.*). — *Ред.*

ния, никогда не задумывались над уроком. Но для этого надо было родиться *башкой*. Бывали удивительные башки. Так, некто Светозаров выучил из латинского лексикона Розанова слова и фразы на четыре буквы; начав с «А, ab, abc», он отхватывал несколько печатных листов, не пропуская ни одного слова, и такой подвиг был предпринят единственно из любви к искусству. Но немногие были способны к училищным работам; большинству они давались трудно, и лишь розги заставляли заниматься. Вон Данило Песков, мальчик умный и прилежный, но решительно неспособный долбить слово в слово, просидев над книгой два часа с половиной, поводит помутившимися глазами... и что же?.. он видит, многие измучились еще более, чем он, многие еще доканчивают свою порцию из учебников, озабоченно вычитывая урок и подняв голову кверху, как пьющие куры. Иные чуть не плачут, потому что невысокий балл будет выставлен против их фамилии в нотате. Один, желая возбудить в себе энергию, треплет сам себя за волоса... Э, бедняга, хоть сам-то пожалей себя! брось ты книгу под парту либо наплюй в нее — все равно завтра твое тело будет страдать под лозами... ступай-ка, дружище, в Камчатку — там легче живется; а дельных знаний у камчатников, право, не меньше, нежели у самого закаленного башки. Ученик, вглядываясь в измученные долбнею лица товарищей, невольно спрашивает себя: «Зачем эти труды и страдания? к чему эта возня с утра до вечера над опротивевшим учебником? разве мы не люди?» Среди таких размышлений выскочит без спросу, сам собою, кончик урока и простучит всеми словами в голове. Под конец занятия у прилежного ученика голова измается; в ней не слышно ни одной мысли, хотя и являются они, послушные сцеплению идей, как это бывает с человеком во сне. Невесела картина класса... Лица у всех скучные и апатические, а последние полчаса идут тихо, и, кажется, конца не будет занятию... Счастлив, кто уснуть сумел, сидя за партой: он и не заметит, как подойдет минута, возвещающая ужин.

Но вечер кончился очень занимательно. Минут за тридцать до звонка явился в классе Семенов. Бледный и дрожащий от волнения, вошел он в комнату и, потупясь, ни на кого не глядя, отправился на свое место. Занятная оживилась: все смотрели на него. Семенов чувствовал,

что на него обращены сотни любопытных и злобных глаз, холодно было у него на душе, и замер он в каком-то окаменелом состоянии. Он ждал чего-то. Минуты через четыре снова отворилась дверь; среди холодного пара, ворвавшегося с улицы в комнату, показались четыре солдатские фигуры — служителя при училище: один из них был Захаренко, другой Кропченко — на них была обязанность сечь учеников; двое других, Цепка и Еловый, обыкновенно держали учеников за ноги и за голову во время сечения. Мертвая тишина настала в классе... Тавля побледнел и тяжело дышал. Скоро явился инспектор, огромного роста и мрачного вида. Все встали. Он, ни слова не говоря, прошелся по классу, по временам останавливаясь у парт, и ученик, около которого он останавливался, дрожал и трепетал всем телом... Наконец инспектор остановился около Тавли... Тавля готов был провалиться сквозь землю.

— К порогу! — сказал ему инспектор после некоторого молчания.

— Я... — хотел было оправдываться Тавля.

— К порогу! — крикнул инспектор.

— Я заступался за него... он не понял...

Инспектор был сильнее всякого бурсака. Он схватил Тавлю за волосы и дал ему трепку; потом наклонил его за волоса лбом к парте, а другой рукой, кулаком, ударил ему в спину, так что гул раздался от здорового удара по крепкой спине; потом, откинув Тавлю назад, инспектор закричал:

— К порогу!

Тавля после этого не смел рта разинуть. Он отправился к порогу, разделся медленно, лег на грязный пол голым брюхом; на плеча и ноги его сели Цепка и Еловый...

— Хорошенько его! — сказал инспектор.

Захаренко и Кропченко взмахнули с двух сторон лозами; лозы впились в тело Тавли, и он, дико крича, стал оправдываться, говоря, что он хотел заступиться за Семенова, а тот не понял, в чем дело, и укусил ему руку. Инспектор не обращал внимания на его вопли. Долго секли Тавлю и жестоко. Инспектор с сосредоточенной злобой ходил по классу, ни слова не говоря, а это был дурной признак: когда он кричал и ругался, тогда криком и руганью истощался гнев... Ученики шепотом счи-

тали число ударов и насчитали уже восемьдесят. Тавля все кричал «не виноват!», божился господом богом, клялся отцом и матерью под лозами. Гороблагодатский злобно смотрел то на инспектора, то на Семенова; Семенов не понимал сам себя: и тени наслаждения местью не было в его сердце, он почти трясся всем телом от предчувствия чего-то страшного, необъяснимого. Бог знает на что бы он согласился, чтобы только не секли Тавлю в эту минуту. Тавля вынес уже более ста ударов, голос его от крику начал хрипнуть, но все он продолжал кричать: «Не виноват, ей-богу, не виноват... напрасно!» Но он должен был вынести полтораста.

— Довольно, — сказал инспектор и прошелся по комнате. Все ожидали, что будет далее.

— Цензор! — сказал инспектор.

— Здесь, — отозвался цензор.

— Кто еще сек Семенова?

— Я не знаю... меня...

— Что? — крикнул грозно инспектор.

— Меня не было в классе...

— А, тебя не было, скот эдакой, в классе!.. Завтра буду сечь десятого, а начну с тебя... И тебя отпорю, — сказал он Гороблагодатскому, — и тебя, — сказал он Хорю. Потом инспектор указал еще на несколько лиц. Гороблагодатский грубовато ответил:

— Я не виноват ни в чем...

— Ты всегда виноват, подлец ты эдакой, и каждую минуту тебя драть следует...

— Я не виноват, — ответил резко Гороблагодатский.

— Ты грубить еще вздумал, скотина? — закричал инспектор с яростью.

Гороблагодатский замолчал, но все-таки, стиснув зубы, взглянул с ненавистью на инспектора...



Выругав весь класс, инспектор отправился домой. На товарищество напал панический страх. В училище бывали случаи, что не только секли десятого, но секли поголовно весь класс. Никто не мог сказать наверное, бу-

дут его завтра сечь или нет. Лица вытянулись; некоторые были бледны; двое городских тихонько от товарищей плакали: что, если по счету придешься в списке инспектора десятым?.. Только Гороблагодатский проворчал: «Не репу сеять!», и остервенился в душе своей, и с наслаждением смотрел на Тавлю, который не мог ни стать, ни сесть после экзекуции. Гороблагодатский намеревался идти к Семенову и избить его окончательно; он уже сказал себе: «Семь бед — один ответ»; но вдруг лицо его озарилось новой мыслью, он злорадостно усмехнулся и проговорил:

— *Пфимфа!*

Семенов совершенно замер... Он был в том состоянии, когда человек чувствует, что над ним поднят кулак, готовый упасть на его темя каждую минуту, и он каждую минуту ждет удара тяжелого. Он был точно стиснут и сдавлен со всех сторон... дышать почти нельзя... Черти, черти! какие минуты приходилось переживать бурсаку...

— Пфимфа! — сказал Гороблагодатский, подходя к цензору, и стали они шептаться...

Ударил звонок к ужину. Сердца несколько повеселели...

— Становись в пары! — закричал цензор...

Минуты через две ученики отправились в столовую и, пропевши в пятьсот голосов «Отче наш», принялись за скудную пищу... Когда толпа обратно валила из столовой, цензор подошел в Бенелявдову и повторил загадочное слово:

— Пфимфа!

— Следует! — ответил Бенелявдов.

. . . . . . . . . . . .

Уже в обители священной
Привратник запер крепко вход,
И схимник в келье единенной
На сон грядущий preces[1] чтет...
Морфей на город сыплет маки,
Заснул народ мастеровой;
Одни не дремлют лишь собаки,
Да кой-где вскрикнет часовой...
Вторично петухи кричали...
Был ночи час; все крепко спали...

Так «Семинариада» описывает ночь...

---

[1] Молитвы (*лат.*). — *Ред.*

Во втором этаже, по правую руку огромного училищного двора, помещаются 6, 7, 8, 9 и 10-й номера спален. Эти спальни соединены между собою. Задний отдел трех номеров носил название *Сапога*. Это были спальни своекоштных; поэтому утром и вечером, особенно в первые недели после больших праздников, в Сапоге и других двух комнатах открывался чисто обжорный ряд. Сюда стекалось все училище; ученики толпами переходили от одной кровати к другой; из-под кроватей, числом до двухсот в этих номерах, выдвигались сундуки, наполненные, кроме книг, разными съестными припасами. С дома, особенно с деревень, привозились в запас огромные белые хлебы, масло, толокно, грибы в сметане, моченые яблоки. От этих припасов отделялись особого рода запахи и наполняли собою воздух; с этими запахами мешались нецензурные миазмы; от стен, промерзавших зимою в сильные морозы насквозь, несла сырость, сальные свечи в шандалах делали атмосферу горькою и едкою, и ко всему этому надо прибавить, что в углу у дверей стоял огромный ушат, наполненный до половины какою-то жидкостью и заменявший место нечистот. К такой ядовитой атмосфере должен был привыкать ученик, и поверит ли кто, что большинство, живя в зараженном воздухе, утрачивало наконец способность чувствовать отвращение к нему!.. Другая беда — холод был для ученика более невыносим. Начальство печей не топило по неделе; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась под холодные одеяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями. Огромные комнаты спален, со столбами посредине, как и в классах, слабо освещались, и темные тени ложились полосами по кроватям. Ученики храпели и бредили; некоторые во сне скрипели зубами.

Доскажем последние события зимнего вечера в бурсе. Из комнат Сапога неожиданно появилась фигура и отправилась в угол девятого номера; там поднялись еще две фигуры... Между ними начались совещания.

— У тебя пфимфа? — спрашивал один.

— У меня.

— Давай сюда.

Все три фигуры отправились в угол и там остановились около кровати Семенова... Один из участников держал в руках сверток бумаги в виде конуса, набитый

хлопчаткою. Это и была пфимфа, одно из варварских изобретений бурсы. Державший пфимфу босыми ногами подкрался к Семенову. Он зажег вату с широкого отверстия свертка, а узким осторожно вставил в нос Семенову. Семенов было сделал во сне движение, но державший пфимфу сильно дунул в горящую вату; густая струя серного дыму охватила мозги Семенова; он застонал в беспамятстве. После второго, еще сильнейшего дуновения он соскочил, как сумасшедший. Он усиливался крикнуть, но вся внутренность его груди была обожжена и прокопчена дымом. Задыхаясь, он упал на кровать. Участники этого инквизиторского дела тотчас же скрылись. Слышалось глубокое храпенье Семенова, прерываемое тяжкими стонами. На другой день его замертво стащили в больницу. Доктор понять не мог, что такое случилось с Семеновым, а когда сам Семенов очувствовался и получил способность говорить, то оказалось, что он сам не помнит, что с ним было. Начальство подозревало, что враги Семенова что-нибудь да сделали с ним, но разыскать ничего не могло. На другой день были многие пересечены в училище, и многие напрасно...

*1862*



# Бурсацкие типы

## Очерк второй

Три часа утра. В спальне, именуемой *Сапог*, все покоится. Слышится храп и легкий бред; некоторые скрипят во сне зубами, чего терпеть не могли бурсаки и за что нередко набивали рот скрипевшего золою с целью отучить от дурной привычки; иные стонут от прилившей крови к голове и груди, а завтра рассказывать будут, как их домовой душил. Только после усиленного вглядыванья в мрак, наполняющий воздух Сапога, можно рассмотреть множество бурсацких тел, брошенных на кровати и покрытых поверх одеял шубами, халатами, накидками и обносками разного рода.

В углу кто-то поднялся и на босую ногу, крадучись осторожно, начал обходить кровати. Он останавливался изредка там и сям и потом продолжал путь далее. Это был училищный вор, знаменитый некогда Аксютка. Один спящий юноша был покрыт волчьей шубой. В той шубе много было паразитов, которые наконец доняли бурсака. Он разбросался, шуба свесилась на пол, одной лишь половиной покрывая спящего. Аксютка наклонился к изголовью товарища, отыскал ворот шубы и, сдернув ее с бурсака в один миг, мгновенно скрылся. Искусанное тело окраденного горело огнем, прохладный воздух освежил его, и он благодаря Аксютке уснул сладко и спокойно. Аксютка между тем успел запрятать шубу впредь до распоряжения ею, после чего отправился в свой угол, где и заснул невинным сном праведника.

Четыре часа. Вошел Захаренко. (На нем, кроме обязанности сечь учеников, лежала еще обязанность будить

их и возвещать колокольчиком начало и конец классов.) Он, проходя по рядам между кроватями, звонил яро над головами спящих направо и налево.

Ученики вскакивали, чесали бока и *овчину* на голове, отплевывались, зевали или крестили рты; иные тупо глядели, не понимая сразу, зачем их будят в такую рань, и опять тяжело падали на постели.

— В баню! в баню! — провозглашал Захаренко.

— Эй, вы!.. И-го-го-го! — загреготал кто-то.

В баню пускали по утрам раным-ранешько. Срам было днем выпустить в город эту массу бурсаков, точно сволочь Петра Амьенского, грязных, истасканных, в разнородной одежде, никогда не ходивших скромно, но всегда с нахальством, присвистом и греготом, стремящихся рассыпать скандалы на всю окрестность. В продолжение всей истории училищной жизни только и был один случай, когда днем отпустили бурсаков в баню, но после начальство долго раскаивалось в своем распоряжении. Но об этом после.

— Живо! — крикнул спальный старший.

— Подымайся! — кто-то заревел неистовым, раздирающим уши и душу голосом.

— Грешные тела мыть! — отвечали еще неистовее.

Спальня Сапога наполнилась шумом. Скоро и охотно одевались бурсаки, потому что баня для учеников была чем-то вроде праздника. Выдвигаются сундуки; у кого есть чистое белье, связывают узлы; у кого есть деньжонки, запасаются грошами; всем весело, потому что хоть раз в две недели бурсаки подышат свежим воздухом и увидят иные, не казенные лица, а главное — день бани для бурсака был днем разнообразных промыслов и похождений.

— В пары! — командовал старший.

Установились в пары.

— Марш!

Длинной вереницей отправились из спальни Сапога. На лестнице они повстречали еще своекоштных, к хвосту их пристали еще несколько номеров; у ворот их ожидали номера казенных учеников. Только городские остались в училище. Они ходили в баню дома, по субботам. Во главе ополчения стоял *Еловый*, солдат из училищной прислуги. Ему было поручено от начальства наблюдать порядок и тишину. Понятно, что порядку и тишины не

могло быть под надзором такого педагога, как солдат Еловый. Огромной змеей извивались по мосткам пар двести с лишком, заворачивая из училищных ворот на монастырский двор. Гвалт, смех и неприличные остроты потрясли воздух святыни. Схимник *в келье единенной,* заслыша гуденье и шум мирской, усерднее и теплее стал молиться о грехах людского рода.

Ученикам повстречался рыжий монастырский сторож, до безобразия огромного роста. Сторож редко упускал случай посмеяться над бурсаками, когда бурсаки шли в баню либо по праздникам в город. Ученики насолили чем-то ему.

— А, вот и вшивая команда! — сказал он проходившим мимо него ученикам.

— Блином подавился! — отвечали ему.

Ученикам известно было, что сторож однажды на масленице, не сходя с места, съел семьдесят три блина и выпил четверть ведра *сиводеру*, то есть водки.

— Отчего это леса вздорожали? — спрашивал сторож.

— Тебе блины пекли.

— Черти! на порку вам пошло!

— Рыжий, да ты никак на коне? Али вправду такой длинный?

— Златорунный!

— Веха!

— Каланча!

На сторожа градом сыпались насмешки. Где ж одному человеку переговорить более двухсот крепко острящих бурсаков? Он едва успел вставить свое слово:

— Слышь, паршивая команда, не воровать на базаре!

В него *Сатана* пустил ком грязи. Сторож стал лаяться на чем свет стоит.

Когда проходили последние пар семьдесят, затеялась оркестрованная брань.

— Блин, блин, блин! — запел кто-то.

Сторож не знал, что предпринять; голосу его не было слышно. Когда мимо его прошли все, когда слово *блин* раздавалось далеко, он крикнул вслед утекающей бурсы:

— Сволочь отпетая! Всех вас перепороть следует!

Издалека откуда-то едва слышно донеслось:

— Бли-и-н!



Сторож плюнул; ударили в колокол, он перекрестился набожно и пошел к утрени.

Бурса двигалась, большинство правым плечом вперед, по базару. Город спал еще. Бурсаки рассыпали целую серию скандалов. Собаки, которых такое обилие в наших святорусских городах, ищут спозаранку, чем бы напитать свое животное чрево; бурсак не упустит случая и непременно метнет в собаку камнем. Шествие их знаменуется порчею разных предметов, без всякого смысла и пользы для себя, а просто из эстетического наслаждения разрушать и пакостить. Вон *Мехалка* раскачал тумбу, выдер-

нул ее из земли и бросил на середину улицы. Хохочет животное. Идут ученики мимо дома с окнами в нижнем этаже и барабанят в рамы, нарушая мирный сон горожан. Старушка плетется куда-то и, повстречавшись с бурсой, крестится, спешит на другую сторону улицы и шепчет:

— Господи! да это никак бурса тронулась!

Хорошо, что она догадалась перейти на другую сторону, а то нашлись бы охотники сделать ей *смазь*, и *верховую*, и *боковую*, и *всеобщую*.

Едет ломовой извозчик. Аксютка пресерьезно обратился к нему:

— Дядя, а дядя!

— Чаво тебе? — отвечал тот благодушно.

— А зачем, братец, ты гужи-то съел?

Крючники, лабазники и ломовой народ терпеть не могут, когда их обзывают гужеедами.

— Рукавицей закусил! — прибавил кто-то.

Мужик озлился и загнул им крутую брань.

Когда шли по берегу реки, на которой уже стояли весенние суда, Сатана сделал предложение:

— Господа, крикнемте «посматривай!»

— Начинай!

Сатана начал, и вслед за ним пастей в сорок раздалось над рекой: «Посматривай!»

На барках мужики с переполоху повскакали, не понимая, что бы значил такой громадный крик. Когда они разобрали, в чем дело, начали ругаться; слышалось даже:

— Эх, ребята, в колье их!

На это им ответом было:

— Тупорылые! Аншпуг съели!

— Посматривай! — хватили бурсаки что есть силы. Над рекой повисла крепкая ругань.

Наконец под предводительством солдата-педагога Елового ученики добрались и до торговых бань. Пары остановились. Еловый у двери пропускал по паре, выдавая казеннокоштным по миньятюрному кусочку мыла. Своекоштным не полагалось. Затем пары отправлялись в предбанник, по дороге покупая веник и мочалку, потому что ни того, ни другого казна не давала ученикам. Пары бегом бежали одна за другой, бросаясь в двери предбанника. В дверях была давка: всякий спешил

захватить шайку, которых не хватало по крайней мере для третьей части учеников, вследствие чего они должны были сидеть около часу, дожидаясь, пока кто-нибудь не освободится. При этом Аксютка с Сатаной, разумеется, были с шайками. Чрез четверть часа баня наполнилась народом, огласившим воздух бесшабашным гвалтом. Негде было яблоку упасть; все скамейки заняты; иные сидят на полу, иные забрались в ящики, устраиваемые для одежды моющихся. Старшие, цензора и прочие власти занимают отдельную, довольно чистенькую комнатку, назначаемую содержателем для лиц почетных. Дети, потешаясь, хлещут друг друга ладонями по голому телу. Большинство отправилось в паровую баню. Бурсаки страстно любят париться. Полок брали приступом; изредка слышались затрещины, которых бурсак вкушает при всяком случае достаточное количество. Тавля стащил кого-то за волоса *со своего,* как он говорил, места.

— Катька! — кричит Тавля.

— Что? — отвечает тот подобострастно.

— Поддай еще!

— Не надо, — отвечают голоса.

— Я вам дам не надо!

— А в *рождество* (лицо) хочешь?

Это был голос Бенелявдова. С ним Тавля не стал разговаривать. Он опять кричит:

— Катька! встань предо мной, как лист перед травой!

Катька явился.

— Окати меня.

Окатил.

— Парь меня!

Катька парит его. Тавля от удовольствия страшно грегочет.

На полке продолжалась возня; стонут, грегочут, визг с присвистом и хлест горячего березняка. Вот пробирается несчастный *Лягва.* Он был пария бурсы. У Лягвы какое-то скверное, точно гнилое лицо, в пятнах, рябое; про это лицо бурсаки говорили, что на нем ножи точить можно. Куда он ни приходил, воздух делался противным и вредным для легких, потому что этот запах у него был и за пазухой, и на спине, и в карманах, и в волосах. Это несчастное существо, право, кажется, перестало быть человеком, было просто живое и ходячее тело человечье.

Проклятая бурса сгноила Лягву, буквально сгноила Лягву. Товарищи не то чтобы ненавидели его, а чувствовали к нему отвращение, и даже редко кто находил удовольствие обижать его. Не поверят, что из пятисот человек в продолжение восьми лет не нашлось никого, кто бы решился не только дать ему руку, но и сказать ласковое сло́во. Не только ученики его презирали, но даже начальство и прислуга. Мы сказали, что бурса сгноила его тело: это в собственном смысле надо понимать. Он должен был по приговору начальства и товарищества жить и ночевать в спальне, которая была отведена для таких же, как он, отторженников бурсы, двенадцати человек. Дело в том, что были ученики, страдавшие известною болезнью, которая в детском возрасте не составляет еще болезни, а зависит от неразвитости организма. Никто о них не заботился, не лечил. Бурсацкая казна не купила для них даже клеенки, чтобы предохранить тюфяки от сырости и гнили; вместо этого страдавших этой болезнью имели обыкновение в училище сечь голенищами. Честное слово, что в тюфяках заводились черви, и несчастные должны были спать чисто на гноищах. Спросят, отчего же эти ученики сами себя не жалели и не просушивали своих тюфяков по утрам? Попадая в каторжный номер, в котором приходилось дышать положительно зараженным, ядовитым воздухом, ощущать под своим телом ежедневно рой червей, быть в презрении у всех, — они делались до цинизма неопрятны и вполне равнодушны к своей личности; они сами себя презирали. Вот факт: Лягва дошел до того, что глотал мух и других насекомых, съел однажды лист бумаги, вымазанный деревянным маслом, ел сальные огарки.

Лягва уныло шатался по бане, высматривал, где бы добыть шайку. Он подошел к Хорю, тоскливо и каким-то дряблым голосом проговорил:

— Дай шаечки, когда вымоешься.

Нищий второуездного класса Хорь даже по отношению к Лягве сумел выдержать роль нищего. Он отвечал:

— Три копейки, так дам.

— У меня самого только две.

— Давай их.

— Что же у меня останется?

— Ну, давай пять пар костяшек.

— У меня их нет.

— Убирайся же к черту, fraterculus (братец)!

Он подошел к Сатане, которому, кроме этого, было другое прозвище: Ipse (сам). Его никогда не звали собственным именем, и мы не будем звать его. Черти, смотря по тому, к какой нации они принадлежат, бывают разного рода. Есть черт немецкий, черт английский, черт французский и проч. Он ни на одного из них не походит. Ipse был даже и не русский черт; наш национальный бес честен, весел и отчасти глуповат: так он представляется в народных сказках и легендах. Ipse был черт-самородок, дух того ада, которому имя бурса. В качестве черта он и служил такому человеку, каков вор Аксютка. Его прозвали Сатаной за его характерец. В училище существовал нелепый обычай *дразнить* товарищей, особенно новичков. Я сейчас объясню, что это значит. Соглашались трое или четверо подразнить кого-нибудь. Они приставали к своей жертве. Сначала насмехались над ней и ругали ее, потом начинались пощипыванья, наконец дело кончалось швычками, смазями, плюходействием. Задача таких невинных развлечений состояла в том, чтобы довести свою жертву до бешенства и слез. Когда цель достигалась, мучители с хохотом бросали свою жертву, которую часто доводили до самозабвения и остервенения; так *Asinus* (осел) прошиб кочергой голову *Идола*, который вывел его из себя. В такого рода потехах всегда принимал деятельное участие Сатана; вряд ли был другой мастер дразнить, как Ipse. Он решался раздражать даже тех, кто был сильнее его. Назойливее, неотвязчивее Сатаны трудно себе представить что-нибудь. Иногда он систематически привязывался с утра до вечера, в продолжение трех дней и более, не давая ни на минуту покоя. Его часто бивали, и жестоко, но ему все было нипочем. Он был какой-то околоченный, деревянный. Только Аксютка мог укрощать его, но и то потому, что Сатана благоговел перед бурсацким гением Аксютки.

К такого рода господину обратился с просьбою о шайке Лягва.

— А *вывернись!* — отвечал ему Сатана.

— Мне не вывернуться.

— Волоса ведь мокрые?

— Я не окачивался.

— Окатись! вот и шайку дам.

— Нет, не могу.

Лягва встал в раздумье, не зная, вывернуться или нет. Когда предлагали *вывернуться*, то ученик подставлял свои волоса, которые партнер и забирал в пясть. Ученик должен был высвободить свои волоса. Державший за волоса имел право запустить свою пятерню только раз в голову товарища, и когда мало-помалу освобождались волоса, он не имел права углубляться в них вторично. Мокрые волоса многие вывертывали очень ловко. Впрочем, бывали артисты, которые решались вывертываться и с сухими волосами: к числу таких принадлежал сам Сатана. Ipse, видя, что Лягва не решается, сказал:

— Ну ладно, подожди, только вымоюсь.

— Вот спасибо-то! — отвечал Лягва радостно.

Он носил воду Сатане, окачивал его, стараясь выслужиться и получить шайку; наконец Сатана вымылся, и Лягва с радостным выражением лица протянул руку к шайке.

— Эй, ребята! — закричал Сатана.

— Что же ты, Ipse?

Но голос Лягвы вопиял, как в пустыне. Человек пятнадцать налетело на призыв Сатаны.

— На шарап!

Сатана покатил шайку по скользкому полу. Все бросились на нее самым хищным образом.

Толкотня, шум, ругань и затрещины.

Наконец, когда вымылись многие, шаек освободилось достаточное количество. Лягва добыл шайку и начал с ожесточением намыливать голову, но лишь только волоса его и лицо покрылись густой пеной мыла, как Сатана, вернувшийся зачем-то в баню, вырвал у него шайку и сделал ему смазь всеобщую. Лягва в испуге раскрыл широко глаза, пена пробралась за ресницы, и он ощутил в них едкое щипанье, но делать было нечего; прищуриваясь и протирая глаза, он добрался кое-как до крана и промыл здесь их.

Между тем многие уже вымылись; сделалось гораздо тише в бане, хотя и слышны были иногда греготанье, брань и проч., чтó читатель, ознакомясь несколько с бытом бурсы, сам уже может вообразить себе.

Перейдемте в предбанник. Гардеробщик выдавал казенным белье. Ученики отправлялись в училище не парами, а кто успел вымыться, тот и убирался восвояси.

Вот тут-то и наступал праздник бурсы.

— Теперь, дедушка, следует *двинуть от всех скорбей*, — говорил Бенелявдов Гороблагодатскому.

— То есть *столбуху* водки, яже паче всякого глаголемого бога или чтилища?

— В *Зеленецкий* (кабак) *дерганем.*

— Только вот что: первая перемена Долбежина.

— Так что же?

— Заметит — *отчехвостит* (высечет).

— С какой стати он заметит?

— Развезет после бани-то натощак.

— А мы сначала потрескаем, а потом разопьем одну лишь *штофендию.*

— А, была не была, идет!

— Так *наяривай* (действуй), живо!

При банях всегда бывают торговцы, которые продают сбитень, молоко, кислые щи, квас, булки, сайки, кренделя и пряники. Здесь идет великое столованье. Человек двадцать едят и пьют. Второкурсные бесстыдно, а напротив — важно и с сознанием своего достоинства, пожирают и пьют чужое. Докрасна распаренные лица бурсаков дышат наслаждением. Нищий второуездного класса Хорь шатается между гостями и, по обыкновению, *кальячит.* Ему сегодня везет: там ему отщипнут кусочек булки, здесь он просит: «Дай, голубчик, разок хлебнуть» — и ему дают благосклонно, после чего датель продолжает пить из того же стакана. Только аристократы заседают в трактире, виноторговле или кабаке, смотря по вкусу и расположению духа. Огромное большинство не может полакомиться и двухгрошовым стаканом сбитня или полуторакопеечною булкою. Оно смотрит с завистью и жадностью на угощающихся, особенно на второкурсных, и щелкает зубами. Из этого большинства выделилась довольно большая масса учеников, которые не останавливались глазеть около лавочки предбанника или *кальячить*, а отправлялись на промысел, высматривая по улицам и базару, нельзя ли где-нибудь что-либо стянуть. Аксютка, однако, успел стащить сайку в лавочке же.

Шли кучками и вразбивку ученики. В эти минуту вся торговля окрест трепетала. Надобно заметить характеристическую черту бурсацкой морали: воровство считалось предосудительным только относительно товарище-

ства. Было три сферы, которые по нравственному отношению к ним бурсака были совершенно отличны одна от другой. Первая сфера — товарищество, вторая — общество, то есть все, что было вне стен училищных, за воротами его: здесь воровство и скандалы одобрялись бурсацкой коммуной, особенно когда дело велось хитро, ловко и остроумно. Но в таких отношениях к обществу не было злости или мести; позволялось красть только съедобное: поэтому обокрасть лавочника, разносчика, сидельца уличного — ничего, а украсть, хоть бы на стороне, деньги, одежду и тому подобное считалось и в самом товариществе мерзостью. Третья сфера — начальство: ученики гадили ему злорадостно и с местию. Так сложилась бурсацкая этика. Теперь понятно, отчего это, когда Аксютка стянул сайку, никто из видевших его товарищей не остановил его: то было бы в глазах бурсы фискальством. Теперь также понятно, отчего это в бурсацком языке так много самобытных фраз и речений, выражающих понятие кражи: вот откуда все эти *сбондили, сляпсили, сперли, стибрили, объегорили* и тому подобные.

Наши герои и пошли бондить, ляпсить, переть, тибрить, объегоривать.

Главными героями были Аксютка и Сатана — *единый* и как бы *единственный* (выражение из одного нелепого, варварским языком изложенного учебника бурсы).

— Сатана!

— Что тебе?

— Ipse! — крикнул Аксютка.

— Да что тебе?

— Потирай руки!

— Значит, на *левую ногу можно обделать* (надуть кого-нибудь, украсть)?

— Уж ты помалчивай.

— *Купим на пятак, сожрем на четвертак!*

— Вот тебе гривенник, — сказал Аксютка.

— Что расщедрился вдруг?

— Пойдем в мелочную: видишь, отворена уж. Ты торгуйся, да, смотри, по мелочам; муки, скажи, для прибoлтки в суп, на *кипеечку* (копеечку), цикорьицы на грош, перечку на кипеечку, лучку на грош, клею на кипеечку, махорки на грош, леденчиков и постного маслица уже на две.

— Во что же масла-то брать?

— Да ты Сатана ли? Ты ли мой любезный Ipse?

Аксютка сделал ему смазь всеобщую. Сатана не рассердился на него, предвидя поживу. Он только, по обыкновению, сделал из фалд нанкового сюртука хвост и описал им три круга в воздухе, приговаривая:

— Я Ipse.

Аксютка стал объяснять ему:

— По мелочам будешь брать, дольше времени пройдет. Когда спросишь маслица, скажи, что забыл дома бутылочку, и не отставай, проси посудинки.

— *Облапошим!* Аксен, ты умнее Сатаны!

— Ты должен звать меня: Аксен Иваныч.

Сатане была пожалована при этом смазь. Сатана вытянулся во фрунт, сделал себе на голове пальцами рожки, сделал на своей широкой роже смазь *вселенскую* и в заключение вернул хвостом трижды. Прозвали его Сатаной, и недаром: как есть сатана, с хвостом и рогами.

План их вполне удался. У Аксютки через четверть часа оказалось краденого: две булки, банка малинового варенья, краюха полубелого хлеба и десятка два картофелю. Ноздри Аксютки раздувались, как маленькие паруса, — всегдашний признак того, что он либо хочет украсть, либо украл уже.

— Теперь, *скакая играше веселыми ногами, в кабачару!* — скомандовал невинный мальчик Аксюша.

Другое невинное дитя, мальчик Ipse, скорчил рожу на номер седьмой, на которой выразились радость и одобрение.

— Знаешь, что я *отмочил?*

— Что?

— Наплевал в кадушку с капустой.

— И-го-го-го! — заржало *сатанинское* горло.

Училищный и уличный тать Аксютка был человек необыкновенный, талантливый, человек сильной воли и крепкого ума, но его сгубила бурса (впрочем, отчасти и домашнее воспитание), как она сгубила сотни и сотни несчастных людей. В самой системе и характере его воровства сказалась сильная натура, — сильная, но погибшая нравственно. Он воровал артистически. Этот каторгорожденный не мог стянуть без того, чтобы зло не подшутить над тем, у кого он крал. Когда он забирался в сундук, *ляпсил* булку, *тибрил* бумагу, *бондил* книгу



и проч., — где бы другому бежать, а он не то: он сходит за каменьями или грязью и накладет их в сундук вместо краденого. Иные, зная его как вора и желая задобрить (случается, у нас и не в бурсе задобривают воров, чтоб они не нагадили), приходили к нему с приношениями, но он отказывался от приношений, играя роль честного человека, которого оскорбляет взятка. Вот пример. Прислали из деревни одному ученику мешочек толокна. Он знал, что Аксютка видел присылку, и был вполне убежден, что Аксютка украдет толокно; поэтому ученик забежал к Аксютке с акциденцией, предлагая ему около двух горстей толокна. Аксютка сказал: «Я не могу есть толокна». А у самого ноздри поднялись и опустились. Аксютка пожелал сыграть остроумно-воровскую штуку. Когда успокоенный товарищ задвинул в парту мешок с толокном, Аксютка подкрался легче, нежели блоха скачет по полу, под парту *толоконника* и выкрал мешок. Сряду же после этого он подошел к *толоконнику* и уми-

ляющим голосом сказал ему: «Братец, ты обещал мне толоконца, так дай». Тот полез в парту; толокна не оказалось. Аксютка обругал его, сказав: «Свинья! обещал, а не даешь; я за это тебе отплачу!» — отвернулся; ноздри его раздувались, как паруса, а на роже отсвечивалось сознание своей силы в воровстве. Через полчаса он подошел к окраденному им товарищу и сказал: «Не хочешь ли толоконца?» Аксютка держал на ладони толокно. «Это мое?» — «Нет, мне самому мамаша прислала». — «Скотина, ведь у тебя и матери-то нет!» — «Я говорю про крестную мамашу». Таков был Аксютка. Особенно он был искусник *меняться ножами.* Здесь мы опишем еще один характеристический обычай бурсы. Обыкновенно кто-нибудь кричал: «С кем ножичками меняться?» Когда выискивался охотник на мену, тогда между ними начиналась следующая проделка. Оба они выставляли напоказ друг другу только концы ножей; тогда следовало угадать, стоит ли решаться на мену, чтобы вместо хорошего ножа не пришлось получить дурной. Вот в этом-то деле был особенно искусен Аксютка.

Мы убеждены, что его участь — каторга. По исключении из училища он сначала поселился на постоялом дворе, где за три копейки суточного жалованья, при ночлеге и харчах хозяйских, он рубил капусту, таскал дрова, топил печи, месил хлебы и тому подобное. Но ему скоро наскучил честный труд, он обокрал своего хозяина и утек от него. После того его встречали один раз в подряснике, другой — в тулупе, третий раз во фраке, — словом, он из училищного вора сделался всесветным мошенником. Напрактиковавшись в *девятой школе* (так древними бурсаками называлась школа жизненного опыта, которая следовала за восьмиклассным обучением в бурсе), он поступил на службу в качестве дьячка, но скоро за пьянство и буйство (он расшиб стекла у городничего) был сослан на тяжелую работу в какой-то бедный монастырь. Выдержав курс церковного покаяния, Аксютка поступил в соборный хор певчим, но его протурили оттуда едва ли не за разбой. Аксютка при этом должен был переменить духовное звание на мещанское. Самое важное дело Аксютки то, что он хотел зарезать бывшего своего благочинного. По этому делу он был оставлен в подозрении. Страшен этот человек, но наперед можно сказать, что ему осталась одна

торная дорога — Владимировка, по которой идут сотни наших каторжников, и посреди этих сотен Аксютка будет один из самых отпетых.

Теперь мы будем продолжать о других.

Хищная бурса рассыпалась повсюду.

Старая оборванная баба, бывшая некогда камелией низшего сорта, которых прозвище — ночные крысы, торгует для поддержания своего дряхлого тела ободранными лимонами, растрескавшимися, как сухая глина, пряниками, серо-пегими булками и другим неудобоваримым отребьем. Когда она завидела возвращавшуюся домой бурсу, то, как мать, защищая свое детище от волка, она прикрыла гнилое сухоястие грязной тряпицей и дырявым передником.

Ее однажды обокрали, но теперь бурсакам не удалось утащить ни одной черствой булки из-под вретища отживающей женщины. Бурсаки на этот раз ограничились одной лишь бранью с несчастной женщиной.

В другом месте промыслы учеников были удачны.



Саепеки открыли длинное и широкое окно. На досках дышат легким паром только что испеченные сайки. Хотя зоркий, воровской глаз бурсаков сразу же заметил, что тут трудно было поживиться, но ученики все-таки обнюхивают местность и вот с радостью делают открытие, что в другом отделении саечной пекарни на досках разложено сырое тесто. Саепеки не ожидали нападения с этого пункта и не защищали его от воров. Бурсаки, под предводительством хищного Хорька, прокрались в пекарню и стали хватать тесто, торопливо пряча его в карманы сюртуков и брюк. Едва они заслышали шаги саепеков, мгновенно скрылись, и через минуту их не было даже на базаре. Спросят, к чему бы ученикам нужно было сырое тесто: неужели они съедят его сырым? Нет, они ухитрятся спечь его на вьюшках в трубах поутру топленных печей, и хотя оно выйдет с сажей — ничего! бурсаку и то на руку.

Теперь расскажем еще событие.

Трое великовозрастных зашли по дороге к певчему, своему исключенному товарищу. Певчего нашли они лежащего на постеле и страдающего похмельем. К нему в то время должен был зайти сапожник, затем чтобы получить с него долгу три рубля. Певчий накануне того дня с клятвою и божбою обещался ему заплатить непременно, но из запасных денег у певца осталось около половины.

— Что, братцы, делать? — вскричал встревоженный певчий.

— Живо сюда! — отвечал ему один из великовозрастных.

— А что?

— *Объегорим*. Ложись сейчас на стол.

— Зачем?

— Не разговаривай, а ложись.

Поставили стол в переднем углу, под образами. Певчий улегся на стол, в головах его зажгли восковую свечку, покрыли его белой простыней; один великовозрастный взял псалтырь, подошел к певчему и сказал ему:

— Умри!

Тот притворился мертвым. Бурсак стал читать над ним псалтырь, как над покойником, скорчив великопостную харю.

Вошел сапожник и, услышав монотонное чтение, понял, что в доме есть мертвый. Он набожно перекрестился.

— Кто это? — спросил он.

— Товарищ, — отвечали ему печально.

— Который это?

— Барсук.

Сапожник сначала почесал в затылке, подумав про себя: «Эх, пропали мои денежки!», но потом умилился духом и сказал бурсакам:

— Ведь вот, господа, за покойником-то должишко остался, да уж бог с ним: грех на мертвом искать.

— Вот и видно доброго человека! — было ответом. — Его, признаться, и похоронить не на что. Начал, брат, ты доброе дело, так и кончил бы: дай что-нибудь на поминки бедному человеку.

Сапожник вынул полтину и подал им. Те благодарили его.

Сапожнику, естественно, захотелось взглянуть на мертвого. Он, перекрестясь, проговорил:

— Дай хоть взгляну на него.

Барсук до того притворился мертвым, что хоть сейчас тащи на кладбище. Открыли его лицо: с похмелья оно было бледно и имело мертвенный вид.

Сапожник, по православному обычаю, приложился губами ко лбу певчего, а тот, сделав под простыней фигу, думал про себя:

«Вот те кукиш! а не свечка».

Когда сапожник удалился, мертвый воскрес и с диким хохотом вскочил на стол.

— Теперь, ребята, поминки справлять.

— Четвертную!

— Огурцов да селедку!

То и другое было мигом добыто, и, поя разные духовные канты, перемешивая их смехом и остротами, справляли поминальную тризну о упокоении раба божия Барсука.

Бурсаки с торжеством и гордостью передавали друг другу рассказ об этом событии.

Но дело этим не кончилось.

Спустя месяц времени сапожник встретил под вечер Барсука.

Барсук и тут нашелся.

Скрестив руки и сверкая глазами, он грозно приблизился к сапожнику и диким голосом возопил:

— Неправедные да погибнут!

Сапожник растерялся: ему представилось, что он видит покойника, который воротился с того света, чтобы наказать его за то, что он дерзнул прийти к мертвому и требовать от него свой долг. Он перекрестился и с ужасом бросился бежать куда глаза глядят. Долго он потом рассказывал, как являлся к нему мертвец и хотел утащить его едва ли не в тартарары.

Этот случай еще более утешил бурсу.

Последний скандал из банных похождений бурсаков.

Мехалка, воровски пробираясь по базару и увидев, что в пряничной лавке отворена дверь, заглянул в нее. Он увидел в ней торговца, который стоял в дальнем углу, к двери спиною. Мехалка был не тактик, а стратегик и, много не рассуждая, стремительно бросился на пряник из стычных ковриг, который был величиною с добрую доску, и потом выбежал вон из лавки. За ним с криком «грабят!» устремился торговец. Мехалка, обремененный ношею, бежал медленно и был в опасности человека, которого сейчас треснут по шее. Он употребил следующий стратегический прием: выждал приближения к себе торговца и, неожиданно обернувшись к нему, поднял над головой ковригу и ударил ею в лицо торговца. Потом пустился с обломком ковриги, оставшимся в его руках.

Мехалка был замечательная личность. Это не вор, а чисто разбойник. Известно было, что он, выходя из церкви, схватил попавшуюся ему навстречу собачонку и расшиб ей голову о тумбу, а потом закусил свой подвиг сальною свечою. За то хотели его отпороть не на живот, а на смерть. Но по случаю страстной недели и пасхальной экзекуция была отложена до фоминой. Когда наступил день возмездия и под предводительством смотрителя вошли в класс четыре солдата с огромным количеством розог, у Мехалки засверкали глаза, как у дикого зверя, и он, энергически сжав кулаки и стиснув зубы, бросился к отворенному окну и вскочил на подоконник с быстротою кошки. (Класс был во втором этаже.)

— Только подступись, размозжу себе голову о камни! — вскричал он. На убеждения смотрителя покорить-

ся он отвечал, что бросится с высоты второго этажа и тем накажет начальство. Смотритель плюнул и ушел. Мехалке за такие дикости вручили волчий паспорт.

Известно, что впоследствии он, Аксютка и еще один артист нанялись в кузницу чернорабочими. Мехалка, работая здоровым молотом по наковальне, добывал себе грош на свой образец вместе со своими товарищами. Забрался он на соседний двор, разломал там извозчичьи дрожки и все железо утащил к себе в кузницу. Карьера его кончилась дьячеством, и он сделался истинным мучителем своего священника.

Вот вам, господа, веселая картинка бурсацкой бани, в повести о которой одни лишь голые факты. К ним нечего прибавлять, они сами за себя говорят.

После бани бурсаки, поев всего краденого, были в добром расположении духа; меньше раздавалось швычков и подзатыльников, реже творилось всеобщих смазей, и вообще в классе сравнительно было довольно тихо и скромно.

В Камчатке собралось несколько человек и ведут беседу о старине и древних героях бурсы. Митаха занимал среди них первое место.

— Эх, господа! то ли дело было в старину!

— В старину живали деды веселей своих внучат.

— Зато, брат, и пороли, — сказал Митаха.

— А что?

— Да вот вам случай.

— Расскажи, брат Митаха, расскажи.

— Только чур не перебивать.

Митаха начал:

— Были у нас три брата: *Каля*, *Миля* и *Жуля*. Это были силачи тогдашнего времени и обыкновенно занимались шитьем сапогов. Они однажды отправились в город с товарищами, чтобы кутнуть хорошенько на стороне. Кутнули добре. Когда шли назад, то орали песни на пять улиц и встретились с казаками. Те пригласили их молчать. Наша братия ругаться. Драка. Бурсаки отдули казаков на обе корки и утекли в училище, будучи уверены, что их дело шито-крыто. Ан нет: на другой день начались розыски. Все всплыло наружу. Вот была

порка-то! Драли тогда под колокольчиком, среди двора, слева и справа, закачивали штук по триста.

— Братцы, я вот тоже знаю... — заговорил один.

— Сказано, не перебивать! — ответили ему.

— Сволочь!

— Животина!

— *Мазепа!*

Замечательно, что в бурсе *Мазепа* было ругательное слово, и, вероятно, основание тому историческое; но во времена нами описываемой бурсы из пятисот человек вряд ли пятеро знали о существовании Мазепы. Здесь это имя было слово нарицательное, а не собственное. По преимуществу называли *мазепами* толсторожих. В бурсе все своеобразно и оригинально.

Бурсак, перебивший рассказ, замолчал.

— Ну так что же, Митаха?

— А вот слушайте. Собрались все ученики на двор, пришел инспектор, явились сторожа, и принесена огромная куча распаренных лоз. Каля, Миля и Жуля стояли в толпе. Им, братцы, успели товарищи вкатить перед сечением по полштофу водки. Растянули Калю, потом Милю, потом Жулю. Но хотя и драли их пьяных, хоть они и закусывали себе руку до крови, однако после порки их отливали водой и на рогожке стащили в больницу замертво. Вот так *чехвостили!*

— А зачем они закусывали руку?

— Фаля!

— Бардадым!

— Ведь закуси руку, так оттягивает: укусишь руку, руке больно, а сзаду и не слышишь в то время.

— Тогда же, братцы, вышел дивный случай.

— Ну-ка.

— При этой страшной порке был один приходский ученик, только что привезенный из дому, которого мамаша гладила по головке, а здесь он увидел, что гладят по другому месту. Он был мальчик худенький, маленький, бледненький, одним словом, вовсе не бурсак, а сволочь. Как он увидел такую знатную порку, так чуть не умер со страху. Он стал учиться отлично и каждый шаг следил за собою, чтобы не заслужить розгу. Когда секли кого-нибудь, он дрожал и бледнел. Учитель заметил это и возненавидел его, потому что терпеть не мог, когда кто-нибудь сильно кричал под лозами. Учителю

захотелось попробовать, каков новичок под розгами. Придравшись к какому-то случаю, он отпорол новичка так, что тот долго после того таскал из тела своего прутья. Ученик после порки упал в обморок. Этим он окончательно вооружил против себя учителя, который стал преследовать его и каждый раз порол жестоко. Ученику до того тяжко было жить, что он решился бежать из училища. Его поймали. Тогда он сначала хотел повеситься, но потом решился на следующую штуку. Дождался он ночи, достал перочинный нож, разрезал себе руку и своей кровью написал на бумажке: «Дьявол, продаю тебе свою душу, только избавь меня от сеченья».

Внимание слушателей чрезвычайно было напряжено.

— С этой бумажкой, — продолжал Митаха, — он залез ночью в двенадцать часов под печь. Что там с ним было, неизвестно. Оттуда его вытащили замертво. Он говорил, что видел черта. Начальство, узнав его проделку, высекло его под колоколом, после чего, говорят, он был снесен в больницу, где отдал душу богу.

Такой рассказ подействовал даже на крепкое воображение бурсаков. Разговоры смолкли, и все впали в раздумье. Ученики понимали, а в эту минуту особенно ясно сознали, что и при их житье-бытье подчас хоть продавай душу черту.

Когда впечатление несколько ослабело, кто-то спросил:

— А кто из вас, братцы, видел дьявола?

Никто не отозвался.

— А домового видел кто?

Оказалось, что домовых видели многие, а если кто сам не видел, то знал таких, которые видели. В бурсе предрассудки и суеверие были так же сильны, как и в простом народе: верили в леших, домовых, водяных русалок, ведьм, колдунов, заговоры и приметы. Словом, эта сторона бурсацкой личности выражала глубокое невежество, которое начальство и не думало искоренять, потому что и само не всегда было свободно от суеверия.

В бурсе была даже доморощенная кабалистика. Так, почти вся бурса верила, что если вынуть из пера сухую перепонку и положить ее в книгу, то забудешь урок из той книги; если же такую перепонку положить под тюфяк спящего, то с ним случится грех, за который заставят поцеловать Лягву. Считалось дурным — книгу

после урока оставить открытою, потому что урок забудешь. Когда кто-нибудь мистифировал, говоря, что идет учитель, ему кричали: «Чего, сволочь, врешь-то? хочется, чтоб злым пришел!» Для того же, чтобы не спросил учитель, была примета у некоторых учеников держаться за какую-нибудь часть своего тела... В училище одно время был даже свой туземный колдун. Это был ученик, прибывший в местную бурсу из Киева, некто *Бегути*. Его прозвали так за то, что он, рассказывая сказку, выговаривал вместо «бежали, бежали» — «бегути, бегути». Он брался угадывать, у кого сколько в деревне коров, в семействе сестер, в кармане денег и т. д. Многие серьезно верили ему.

Кстати, мы расскажем проделку Аксютки над Гришкецом. Аксютка вот уже целую неделю подговаривает товарищей, чтобы они показывали Гришкецу, что серьезно считают его за колдуна. Когда это состоялось, многие стали обращаться к нему с просьбою поворожить им. Гришкец сначала принимал это за шутку, но товарищи выдерживали свою роль отлично, так что Гришкец наконец принял их затею за чистую монету. Тогда он перепугался и стал умолять товарищей, чтобы они не считали его за колдуна. Но они, видя его тревогу, усилили свою назойливость. Гришкец едва не потерял рассудка. Когда Аксютка, сидя подле него в столовой, умолял Гришкеца научить его колдовать, то Гришкец обратился к инспектору с такими словами: «Я, ей-богу, господин инспектор, не умею колдовать. Возьму ли я такой грех на душу?» И он, крестясь, уверял, что Аксютка врет все.

Чертовщина для разговоров бурсаков — предмет неистощимый.

Но мы, однако, незаметно перешли опять к воспоминаниям давних дней. Мы приведем два рассказа.

Ученикам было запрещено начальством купаться, и, по его приказанию, полиция преследовала бурсаков на реке. Надзиратель, видя, что ученики не унимаются, решился во что бы то ни стало изловить их и представить к начальству. Каля, Миля и Жуля взбесились и, взяв с собою несколько товарищей, на другой же день нарочно отправились купаться. Нагрянул надзиратель и накрыл их на месте преступления; но они схватили его, зажали ему рот, чтобы не кричал, и потом выкупали его. После этой операции они завязали его брюки у са-

ног, так что из них образовались два мешка, и набили брюки песком до самого пояса; после этого с хохотом бросили его и утекли восвояси. Несчастный долго барахтался, не могши подняться с земли. Когда его освободили, он закаялся беспокоить учеников.

Одному из товарищей надобно было справить именины, а денег было всего пять рублей. Это было летом. Идет наш бедняга со своими друзьями по берегу реки да горюет. В одном месте они натолкнулись на кучку рабочих, которые оставили свою барку и на берегу варили кашу. «Хлеб да соль!» — говорят. — «Хлеба-соли кушать». — «Но без водки что за еда?» — «Где же ее взять?» — «А вот деньги», — сказал бурсак, подавая на полведерную. Мужики обрадовались и тотчас добыли водки. Бурсаки напоили их допьяна, и когда они удалились спать в барку, то угнали ее и вместе с мужиками продали.

Такие рассказы и воспоминания о подвигах бурсаков ученики всегда выслушивали охотно и с полным одобрением.

Но ударил звонок, и начались классы.

Мы сказали, что начинаются классы, а начинаются они следующим образом.

— Поймал вошь! — сказал один из камчатников.

— Будет дождь.

— Я две рядом.

— Будет с градом.

— Вчетвером.

— Будет гром.

Какой-то великовозрастный ни к селу ни к городу стал подщелкивать словами:

— Раз-два — голова, три-четыре — прицепили, пять-шесть — в ряд снесть, семь-восемь — сено косим, девять-десять — сено весить, одиннадцать-двенадцать — на улице бранятся.

Потом другой великовозрастный, вытянув из сапога берестяную тавлинку, затянул благим гласом какой-то кант и зарядил нос с присвистом.

В училище нюханье табаку было развито в высшей степени. Иначе и нельзя: во время занятий, на которых одна лампа о трех рожках давала свет на сто и более

человек, поневоле рябило в глазах, а когда ученик заряжал понюшку табаку, то глаза его делались на несколько минут светлее. Во время классов, из которых каждый по два часа, монотонные ответы уроков учителю нагоняли непобедимый сон, — и вот когда ученик понюхает табаку, то поневоле раскроет глаза. Табак был запрещен начальством, но товарищество не хотело и знать этого запрещения. Табак покупался у Захаренки, который молол его из махорки и потому продавал довольно дешево. И в отношении нюханья табаку в бурсе были свои особенности. Так, нюхали со швычка, брали перстью, но особенно замечательно, когда табак раскладывался по указательному пальцу до кисти и вбирался в нос сильным вдыханием. Бывали пари, кто больше вынюхает в один прием, и случалось, что задорный нюхальщик, решившись на непосильную понюшку и приняв ее, падал в обморок.

До прихода учителя ученики успели сыграть *в краски*. Выбрали из среды себя *ангела* и *черта*, выбрали хозяина; другим участникам в игре были розданы названия той или другой краски, которые не сообщались ни ангелу, ни черту. Вот приходит ангел, и стучит он в двери.

— Кто тут? — спрашивает хозяин.

— Ангел.

— За чем?

— За краской.

— За какой?

— За зеленой.

— Кто зеленая краска, иди к ангелу.

В свою очередь приходит к хозяину черт, выбирает себе краску и уводит ее.

Так продолжается до тех пор, пока не разберутся все краски. Тогда сила ангела становится одесную от хозяина, а сила дьявола ошуюю. Каждая из партий образует из себя цепь, хватая друг друга сзади за животы. Ангел и черт сцепляются руками, — и вот взревели и ангелы и черти — и началась таскотня. Долго шла борьба, но черт таки одолел.

Вдруг отворилась дверь. В класс вошел господин огромного роста, в коричневой шинели. Все смолкло. Это был учитель Иван Михайлович Лобов. Цензор прочитал молитву «Царю небесный». Ученики стояли;

ожидая приказания сесть. Сели. Великий педагог отправился к столу, за которым и сел на грязном стуле. Он взял нотату. Многие вздрогнули. Немного помолчав, Лобов крикнул:

— Аксютка!

— Здесь, — смело отвечал Аксютка.

— Ты опять?

— Не могу учиться.

— А отчего до сих пор учился?

— Теперь не могу.

— К печке!.. *на воздусях его!*

Аксютка озлил учителя. Он с ним выделывал штуки, на которые никто не решался. Этот отчасти описанный нами вор имел отличные способности, память у него была обширнейшая, и, вероятно, он был умнее всех в классе; ничего не стоило ему прочитать урок раза два, и он отвечал его слово в слово. Учиться, значит, было легко ему. Но он вдруг прекращал заниматься, поддразнивая учителя назло. Его секли, но ничего не могли поделать с ним. Тогда его поселяли в Камчатку. Но лишь только он добивался своего, как опять начинал учиться отлично, его переводили на первую парту, и лишь только переводили, он опять запевал:

Ай люли, люли, люли!
А в нотате всё нули!

После такой песни Аксютка опять ничего не делал. Снова повторялось сечение. Он у Лобова несколько раз переходил из Камчатки на первую парту и обратно.

Наконец Лобов рассвирепел, и раздалось его грозное *на воздусях!*

Тотчас же выскочили четверо парней, схватили его, раздели, взяли за руки и ноги, так что он повис в горизонтальном положении, а справа и слева начался свист лоз.

Взвыл Аксютка, а все-таки кричит:

— Не могу учиться! ей-богу, не могу!

— Положите ему под нос книгу.

Положили.

— Учи!

— Не могу! хоть образ со стены снять, не могу.

— Сейчас же и учи!

На этот раз Аксютка правду кричал, что не может учиться, потому что лежал под розгами, и учитель это

сознавал, но все-таки продержал его висящим над книгой достаточно.

— Бросьте эту тварь.

Аксютка пробрался в Камчатку.

— Дать ему *сугубое раза!*

Товарищи повскакали с парт, бросились на Аксютку и зарядили ему в голову *картечи*, то есть швычков.

Взвыл Аксютка:

— Хоть убейте, не могу учиться!

Лобов имел обыкновение ходить в класс с длинным березовым хлыстом. Он поднялся с места и *вытянул* Аксютку вдоль спины, а тот взвыл:

— Ей-богу, не могу учиться!

Лобов мало-помалу успокоился, и класс продолжался обычным порядком. Спустя несколько времени он крикнул:

— Цензор, квасу!

Цензор отправился за квасом и принес его.

Лобов, прихлебывая из оловянной кружки квас, просматривал нотату и назначал по фамилиям, кому к печке для сеченья, кому к доске на колени, кому коленями на ребро парты, кому без обеда, кому в город не ходить. Класс Лобова разукрасился всевозможно расставленными фигурами. Потом он стал спрашивать знающих учеников, поправляя отвечающего, когда он отвечал не слово в слово, и запивая бурсацкую премудрость круто заваренным квасом. Он сидел обыкновенно в калошах, не снимая своей красноватого цвета шинели. Когда спрошенный им ученик кончил свой ответ, Лобов полез в карман шинели и вынул из него довольно большой пирог, который стал уписывать с аппетитом. Бурсаки с жадностью посмотрели на пожираемый пирог. Так Лобов имел обычай завтракать во время класса, мешая пищу духовную с пищей телесной.

После экзаменации пяти учеников он стал дремать и наконец заснул, легонько всхрапывая. Отвечавший ученик должен был дожидаться, пока не проснется великий педагог и не примется опять за дело. Лобов никогда уроков не объяснял — жирно, дескать, будет, а отмечал ногтем в книжке *с энтих до энтих*, предоставляя ученикам выучить урок *к следующему*, то есть классу.



Что этот великий педагог в своей юности — недосечен или пересечен?

Морфей легонько посвистывал себе через нос педагога, а ученики, наказанные на колени и столбом, воспользовались этим. Поднялся легкий шумок, и начались невинные игры бурсаков, как то в шашки, *святцы* (карты), костяшки, щипчики, швычки и т. п.

Ударил звонок, учитель проснулся, и после обычной молитвы и по выходе учителя класс наполнился обычным шумом.

Второй класс, латинский, занимал некто Долбежин. Долбежин был тоже огромного роста господин; он был человек чахоточный и раздражительный и строг до крайности. С ним шутить никто не любил, ругался он в классе до того неприлично, что и сказать нельзя. У него было положено за священнейшую обязанность в продолжение курса непременно пересечь всех — и прилежных и скромных, так чтобы ни один не ушел от лозы. Его мучил бес какой-то бурсацкой зависти, когда из его класса к концу курса остались все-таки несеченными ни разу двое, державших себя крайне осторожно. Придраться было не к чему, но он выискал-таки случай. Однажды он пропустил было уже свой класс, и ученики весело ожидали звонка, но вдруг минут за пять до него Долбежин показался на конце училищного двора; лицо его было как-то особенно грозно (он был сильно выпивши), взоры его были устремлены на окна своего класса. Многие струхнули. Один из несеченных в это время взглянул в окно и потом быстро скрылся в классе.

— Елеонский (несеченный)! — крикнул, входя в класс, Долбежин.

Елеонский, трясясь всем телом, подошел к нему.

Долбежин ударил его в лицо кулаком и окровавил его; из носу и рта потекла кровь.

Елеонский ни слова не отвечал. Бледный и дрожащий, он смотрел бессмысленно на учителя.

— Отодрать его!

Елеонского отодрали.

Остался один только несеченный. Того, напротив, отодрал Долбежин в самом веселом расположении духа.

— Душенька, — сказал он ему, улыбаясь, — поди к порогу.

— Да за что же?

— За то, что тебя ни разу не секли.

Тот и не думал отвечать, что это не причина, и отправился к порогу.

Не осталось ни одного несеченного в классе.

Но несмотря на все это, трудно поверить, его не только уважало товарищество, но и любило. Долбежин сам был точно отпетый. Он, как и товарищество, терпеть не мог городских и одному из них дал самое неприличное прозвище; фискала, пришедшего к нему наушничать, он отодрал не на живот, а на смерть; ученики вроде Гороблагодатского были его любимцами. Однажды *Блоха* решился изумить товарищество и под лозами Долбежина молчал, как будто и не его дерут: Долбежин при всех назвал его молодцом, тогда как за ту же проделку Лобов вознес его на воздусях, а потом просолил насквозь сеченное тело. Долбежин не брал с родителей взяток и до того был честен, что составленный им список учеников с отметками об их учении за треть он читал ученикам и позволял устраивать диспуты тем, которые претендовали на высшее место. Вот за это-то и любили его.

Сегодня были только два случая в классе. Вызван был *Копыта*. Он взял книжку латинскую и хотел было остаться переводить за партою.

— На средину! — сказал Долбежин.

*На середке* отвечать было хуже, чем за партой, потому что в первом случае товарищи *подсказывали* ученику. Отвечающий способен был расслышать самый тонкий звук, а если не расслыхивал, то, глядя искоса, он угадывал слово по движению губ.

Копыта вышел на *середку*. Здесь он *срезался* (то же, что в гимназии *провалился*) и не мог перевести одного пункта.

— Не так! — сказал Долбежин.

Тот перевел иначе.

— Не так!

Копыта на новый манер.

— К печке!

Копыте дали *всего* десять ударов. Он обрадовался, что так легко отделался, и уже направился за парту, но услышал голос Долбежина:

— Переводи снова.

Тот перевел ему на новый манер.

— Еще раз к печке!

Копыте дали еще десять лоз и снова заставили переводить. На этот раз Копыта сказал, что он не может и придумать еще новой варьяции, за что и услышал:

— К печке!

Десять дали, и снова переводить. Копыта напряг все усилия памяти и рассудка. Ничего не выходило.

— Ну! — сказал Долбежин, и уже палец указательный его поднялся по направлению к печке.

Способности Копыты были страшно напряжены, мозг работал в сто сил лошадиных, и вот, точно озарение свыше, сложилась в голове новая варьяция. Он сказал ее.

— Наконец-то! — одобрил его Долбежин. — Довольно с тебя. Пошел за парту. Вались дерево на дерево! — Вслед за тем Долбежин обратился к *Трезорке*:

— Вокабулы приготовил?

— Нет.

— Что? который это раз?

— Если угодно, приготовлю, — отвечал Трезорка бойко.

Трезорка был городской и привык к довольно свободному обращению. Его развязность взбесила Долбежина. Он побледнел, на лбу надулись жилы.

— Ах ты подлец! — закричал он и сильной рукой поднял в воздухе здоровый лексикон Кронеберга. Лексикон взвился и пролетел через класс; еще немного — так и влепился бы в голову бойкого мальчика. Он потом начал ругаться и плеваться; в его чахоточной груди клокотала мокрота; дерзость озадачила его, но он почему-то не посмел отпороть Трезорку, — вероятно, потому, что отец Трезорки был довольно значительное лицо в городе. И действительно, завязалось было дело, но кончилось все-таки ничем.

В классе после этого скандала наступила мертвая тишина. Все дрожали. Один только беззаботный Карась, притом еще сидевший на первой парте, на глазах разъяренного учителя ухитрился уснуть. Его вдруг спросил учитель, а он, не слыша этого, тихо всхрапывал. Товарищ его толкнул, но уже было поздно: у учителя сверкали глазки.

— К печке!

— Розог нет, — сказал секундатор.

— А давеча чем сек?

— Те изломались.

— Сходи за новыми.

Карась между тем клялся и божился, что встал в три часа, чтобы приготовить урок, что у него голова болит, а в существе дела на него одурь напала от латынщины, и он смежил свои карасиные очи.

— Я тебе!

Явился секундатор, но без розог.

— Розги все вышли, — сказал он.

Учитель опять вспыхнул, поднялся со стула и отправился к той парте, где сидел секундатор. Он отыскал свежие розги. Карась запищал:

— Простите!..

Но учитель в это время позабыл Карася, а направился к секундатору. Взяв пук длинных лоз за жидкий конец, он начал бить его комлем и по спине, и в брюхо, и в плечи, и по ногам.

Раздался звонок. Пропели молитву «Достойно есть...» Между тем Карась спасся. Этот же учитель, озлившийся на Трезорку за умеренный оттенок дерзости в его ответе, прощал и даже с удовольствием встречал дерзости очень крупные. Так, однажды на публичном экзамене пришлось держать ответ некоему *Ваксе*. Долбежин из-под стола показал ему кулак и проговорил тихо: «Только срежься, я тебе!» Вакса показал ему свой кулак и прошептал непечатную брань. Это только утешило учителя.

Наконец, Долбежин был циник. Он с тем же Ваксой рассуждал о самых грязных вещах. Тот ему отвечал не стесняясь и откровенно, и оба они импровизировали самым грязным образом на разные темы.

Заглянула бурса в столовую, «щей негодных похлебала и опять в свой класс идет». Кормили скверно; хлебная мука мешалась с мякиной; нередко порции говядины летели за окно и гнили потом на дворе; один только Комедо собирал порций по шести и потреблял их; в супе попадались маленькие беловатые червячки, в каше мышиный помет; только при одном экономе пища была безукоризненна, но такие экономы были редкость в бурсе. (Впрочем, в своем месте мы дойдем и до этого эконома.)

Лобов граничил по своему характеру к Тавле, Долбежин к Гороблагодатскому. Перейдем теперь к характеристике третьего лица, которое, собственно говоря, не составляло цельного типа, а было помесью двух названных нами. Этот господин носил имя Батьки.

Он был красавец собою, с открытым грудным и объемистым басом, лицо — кровь с молоком. Он, между прочим, преподавал так называемый *устав*, то есть науку, как править церковные службы. Эта наука излагалась им самым странным образом. Вместо того чтобы выдать церковные книги на руки учеников, ознакомить с теми книгами наглядным образом, показать по самым книгам, когда, что и где читалось и пелось, — вместо этого выдавались записочки, в которых по порядку службы обозначались только первые слова каждого чтения или пения. Таких заголовков целые листы писчей бумаги. До того трудно и тошно было ученье и зубренье, что изо ста с лишком учеников знало урок, случалось, только четверо. Кажется, ясно, что тут уже не ученики виноваты. Правда, могло случиться, что ученики назло учителю делали стачку не учить урока, но такие стачки назывались бунтом и разрешались великим сечением класса; но тут была не стачка, а просто физическая и умственная невозможность вызубрить все это. И это понимал сам Батька. Несмотря на все это, он поочередно сек весь класс: так парта за партой и выдвигалась к печке. Хотя в этих случаях секундаторы были крайне снисходительны, но снисходительны только к тем, кого любили. Секундаторы были очень изобретательны и свою профессию знали специально. Когда Батька заподозревал секундатора в мирволенье и шел свидетельствовать производство секуции, тогда оказывалось, что тело наказываемого было покрыто синими полосами: секрет в том, что секундатор намазывал лозы чернилами, потом стирал их слегка; достаточно было легкого прикосновения их, чтобы сделать фальшивый рубец. Черт знает на что расходовался ум воспитанника! Когда приходилось, что три описанные учителя занимали уроки в один и тот же день, то одного и того же ученика секли несколько раз. Так, Карася, случилось, отодрали четыре раза в один день (в продолжение училищной жизни непременно раз четыреста). Но сегодня не было устава. Занимались другим предметом. Беда,

когда Батька приходил пьян! Тогда лицо его было бледно, а черные огромные глаза особенно глубоки и блестящи. Сегодня эта беда и случилась. Все вздрогнули, как только он вошел. По лицу все узнали, что будет классу великое горе. Взял он нотату. Мучительную и страшную минуту пережил класс. Батька вызвал Элпаху. Элпаха, трясясь телом и содрогаясь душою, вышел на середину.

— Я... — голос его пресекся.

— Что ты? — спокойным, но глубоко сосредоточенно-злым голосом спросил его Батька.

— Я... сегодня... именинник...

— Так с ангелом! — Октава его упала на две ноты ниже, а сердце свирепело, и в нем развивались кровожадность и зверские инстинкты... Страшен он был в эту минуту.

— Я... — заговорил страдалец, — был в церкви...

— Доброе дело!

— Я потому и не успел выучить урока... — погасающим голосом продолжал Элпаха, видя, как с мертвенно-бледного лица смотрели на него неподвижные, блестящие сосредоточенной ненавистью глаза...

— Ты думаешь, что радуется твой ангел на небесах? Элпаха молчал; в его сердце пробивалась слабая надежда, что его не накажут, потому что Батькин гнев иногда истощался в нравоучениях, которыми увлекался он на полчаса и более. Элпаха ждал, что́ будет.

— Он плачет о твоей лености.

Элпаха ни жив ни мертв.

— И ты должен плакать. Поди сюда.

Элпаха ни с места.

— Поди же сюда! — тем же ровным, спокойным голосом повторил Батька.

Элпаха подошел к нему.

— Встань тут, около меня, на колени.

Дрожащий Элпаха встал.

— Твой ангел плачет, и ты заплачешь. Положи свою голову ко мне на колени.

Тот медленно исполнил это, не понимая, что с ним хотят делать. Но вот он сильно вскрикнул и поднял голову, за которую ухватился руками.

— Лежи, лежи! — сказал ему Батька.

Отчего вскрикнул Элпаха? А оттого, что Батька взял щепоть волос его, сильной рукой вздернул их кверху, вырвал с корнем и, постепенно разводя свои красивые пальцы, сдувал с них волоса и продолжал дуть, пока они летели в воздухе.

— Лежи, лежи! — повторил Батька.

Элпаха с воем опустил свою голову на колени его, как на эшафот...

Батька взял вторую щепоть Элпахиных волос, и опять выдернул их с корнем, и опять пустил их по воздуху.

— Простите, ради бога! — взмолился страдалец.

— Лежи, лежи! — отвечал Батька. Что-то сатанинское было в его ровных октавах...

Еще медленнее и хладнокровнее он повторил ту же операцию в третий раз.

Элпаха рыдал мучительно.

— Теперь поди встань на колени посреди класса! — сказал Батька, когда улетел последний волос Элпахи и пропал в воздухе.

Батька потом долго сидел, понуря голову. Не почувствовал ли он угрызений совести?

— Стой на коленях *целый год!*

Значит, совесть его была спокойна. Батька имел обыкновение ставить на колени на целый год, на целую треть, на месяц: как его класс, так и становись. Беспощадный человек!



В продолжение всего класса Батька разбойничал. Чего-чего он не придумывал: заставлял *кланяться печке, целовать розги,* сек и *солил сеченного,* одно слово — артист в своем деле, да под пьяную еще руку.

Но все-таки приходится сказать, что большая часть товарищества уважала его по тем же причинам, по каким и Долбежина, и только меньшинство ненавидело

его и боялось. В описываемый нами период бурсы нравственный уровень товарищества и начальства был почти одинаков. Но впоследствии увидим, что в товариществе и в лучшей половине начальства развились иные начала. Что описываю теперь — скверно, но что дальше, то лучше становилось товарищество и добрее люди из начальства. И жаль и досадно мне, что некоторые писатели заявили, будто я все исчерпал относительно бурсы в «Зимнем вечере бурсы». Уже в следующем очерке вы увидите добрые задатки для будущего в жизни бурсаков, хотя и там будет много гадкого и гадкого. Бурса будет в моих очерках, как и на деле было, постепенно улучшаться, — только позвольте описать так, как было, не прибавляя, не убавляя. Всякое дело строится не сразу, а должно пройти многие фазы развития. Еще очерков восемь, и бурса, даст бог, выяснится окончательно. Если придется ограничиться только этими двумя очерками — «Зимний вечер в бурсе» и «Бурсацкие типы», — то будет очень жаль, потому что читатель тогда не получит полного понятия о том, что такое бурса, и потому относительно составит о ней ложное представление.

*1862*



# Женихи бурсы

## Очерк третий

Наконец Аксютка доигрался с Лобовым до скверной шутки. Заглянула бурса в столовую, «щей негодных похлебала, и опять в свой класс идет». Один лишь Аксютка щелкает зубами.

Как бы то ни было, все более или менее подкрепились; один лишь Аксютка щелкает зубами от голода, или, по туземному выражению, у него *по брюху девятый вал ходит, в брюхе зорю бьют.* Положение Аксютки никогда не было так беспомощно, как теперь, и в моральном и в животном отношении. Он, потешаясь над Лобовым, по обыкновению своему, лишь только попал в Камчатку, как опять стал появляться в *нотате* с *пятка́ми,* то есть самыми лучшими баллами.

Это только сбесило учителя: «Ты, животное, — сказал ему Лобов, — потешаешься надо мною: когда тебя порют, у тебя в нотате нули; когда шлют в Камчатку — пятки́? Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейти на первую парту, чтобы потом снова бесить меня нулями? Врешь же! Не бывать тебе на первой парте, и пока у тебя снова не будут нули, до тех пор не ходи в столовую». Аксютка клялся и божился, что он раскаялся и теперь будет учиться постоянно. Лобов ничего слышать не хотел. «Не надо твоего ученья, — сказал он, — сиди в Камчатке». Аксюткино самолюбие было сильно задето, и, раздувая ноздри, он думал: «Посмотрим, чья возьмет!» И в нотате его были отличные баллы; но Лобов каждый раз говорил ему: «И сегодня не жри!»

В продолжение трех дней Аксютка кое-как перебивался, выкрадывая там или здесь булку, сайку, ломоть

хлеба, толокно, горох и тому подобное. Вчера он забрался в *сбитенную*, где *Ванька рыжий* продавал сбитень, сайки, булки, пеклеванные хлебы, сухари, крендели, яблоки, репу, патоку, мед и красную икру, а для избранных и *водчонку*, разумеется по двойной цене против откупной; здесь Аксютка успел украсть несколько булок, насадив на палку гвоздь, которым и добывал из-за залавка съедомое, когда Ванька рыжий отходил в другую сторону. Но сегодня была среда, а сбитенная наполнялась битком только по понедельникам и вторникам, пока у бурсачков держались деньжонки, принесенные из дому; а при безлюдстве в сбитенной опасно было рисковать на воровство в ней. Что было делать? Бурсаки, зная, что у Аксютки девятый вал в брюхе, бережно припрятывали ломти хлеба и зорко следили за ним. Большинство не желало делиться с ним запасным хлебом; впрочем, и делиться было не с чего: утренних и вечерних фриштиков в бурсе не полагалось; за обедом выдавали только по два ломтя хлеба, из которых один съедался в столовой, а другой уносился в кармане в запас.

Между тем все училище высыпало на двор. Ученики строили катальную гору. Так как досок взять было неоткуда, то вся гора была сплошь из снегу. Снежные комы величиною в рост человека двигались по огромному двору училища. Около каждого из них, под командою вожака, работало человек до десяти. Комы доставлялись к горе, около которой, как муравьи в муравейнике, кишели ученики. Дня через два по длинному расчищенному раскату, который был немного менее балаганных раскатов Петербурга, полетит бурса вниз головою на санках, салазках, подмороженных дощечках, рогожках, коньках, а то и просто на самородном самокате, то есть на брюхе вверх спиною. Бурсаки представляют веселый и радостный вид: раздается команда выбранного распорядителя, призыв к работе, звонкие басы и тенора, хохот, остроты. Весело.

Аксютка щелкает зубами.

На левой стороне двора около осьмидесяти человек играют *в килу* — кожаный, набитый волосом мяч величиною в человеческую голову. Две партии *сходились* стена на стену; один из учеников *вел килу*, медленно

подвигая ее ногами, в чем состоял верх искусства в игре, потому что от сильного удара мяч мог перейти в противоположную сторону, в лагерь неприятеля, где и завладели бы им. Запрещалось *бить с носка* — при этом можно было нанести удар в ногу противника. Запрещалось *бить с закилька*, то есть, забежав в лагерь неприятеля и выждав, когда перейдет на его сторону мяч, прогонять его *до города* — назначенной черты. Нарушающему правила игры *мылили шею*.

— Кила! — закричали ученики — это означало, что *город взят*.

Победители в восторге и с гордостью возвращались на свое место. Им весело.

Аксютка же щелкает зубами.

В углу двора, около сбитенной и хлебной пекарни, несколько человек прокапывали в огромной куче снега норы и проползали через те норы на своем брюхе. В другом углу двора играли в крепость, стараясь выбить друг друга из занятой на куче снега позиции, причем вместо картечи употреблялись в дело снежки. Гришкец и Васенда повалили Сашкеца на снег, зарыли его с руками и ногами в кучу снега, так что торчит одна лишь голова Сашкеца, — он беззащитен, и творят ему *смазь вселенскую*. Гришкец и Васенда хохочут, да и Сашкец хохочет — это была шутка полюбовная. Всем весело.

Аксютка щелкает зубами.

На двор училища вошли две женщины — одна старуха, другая лет тридцати с лишком. Спросивши, где живет *ишпехтор*, то есть инспектор, они направились к двухэтажному зданию, крыша которого заканчивалась шпилем со звездою. Скоро они уже стояли в зале инспектора. Старуха была женщина дряхлая, лицо в трещинах, до того обожженное летним солнцем, что и зимою не сходил с него загар; маленькие глазки ее бегали, как две перепуганных мыши, и тоскливое их выражение возбуждало жалость. Эта сгорбившаяся дама имела на седой, в висках плешивой голове шерстяной платок, на плечах поношенную шубейку, на ногах мужские сапоги. Другая женщина была лет тридцати двух, высокого роста, рябая, с длинными мозолистыми руками; она смотрела исподлобья с тем беспристрастьем, с которым

смотрят люди на что-либо неизбежное в их жизни и с чем они примирились. Одета она в новую заячью шубку, в новый платок, и на ногах ее не сапоги, а башмаки козловые.

Они прождали инспектора около получаса. Наконец инспектор вышел, но, очевидно, в дурном расположении духа.

— Что вам надо? — сказал он грубо.

Обе женщины повалились в ноги. Старая заплакала и тем напевом, каким голосят у нас по покойникам, стала приговаривать:

— Батюшка, отец ронной... Ох, кормилец, наше горе большое... лишились последнего хлебушка... батюшка, не погневайся!..

Старуха стукнула в пол головою.

Такое раболепие смягчило несколько инспектора; но дурное расположение его духа не миновалось окончательно.

— Говори, зачем пришли...

Старуха от грозного голоса начальника трепетала, терялась и понесла дичь:

— Помер голубчик наш... пришибло сердечного... испил кваску, сначала таково легко...

Инспектор вышел из себя:

— Чтобы черт вас побрал, паскудные бабы! — крикнул он, топнув ногою...

Обе женщины замерли...

— Сейчас на ноги и говори толком, а не то метлой выгнать велю!.. Шлюхи!.. и поспать не дадут!..

— Батюшка!.. — начала было опять старуха...

— Иван! — закричал инспектор. — Гони их в шею!..

Обе женщины вскочили на ноги. Старушка бросилась из приемного зала в переднюю. Все это со стороны казалось очень странным, особенно последний маневр старой женщины; теперь должно было, по-видимому, ожидать, что инспектор окончательно выйдет из себя, но, напротив, взгляд его прояснился, и он стал спокойно ходить вдоль комнаты, дожидаясь терпеливо старухи.

Та скоро вернулась, в одной руке с кульком, в другой — с узлом. То и другое она положила к ногам начальника...

— Что это? — спросил он.

— Не побрезгуй, батюшка, деревенским гостинцем, и...

— Покажи, что тут?

Старуха, торопливо развязывая кулек, вынимала из него сахар, чай, бутылку рому, сушеные грибы и яблоки, а в узле оказалось десятка четыре аршин холста...

Инспектор не без удовольствия, но и не без достоинства сказал:

— Хорошо, спасибо... В чем же твое дело?

— Это вот дочка моя, — говорила старуха, — сиротой осталась... были у преосвященного... закрепил за ней местечко... отцовское...

— Ну так что же?

— К тебе послал.

— *За женихами?*

— *За женихами*, батюшка, — и старуха опять чебурах в ноги.

— Хорошо, хорошо.

— Да не озорников каких, батюшка! — Старуха при этом вытянула свою руку, разжала кулак, и на ладони ее очутился серебряный рубль.

Инспектор взял старухин рубль и положил его себе в карман с полным спокойствием, точно так, как авдитор берет с подавдиторного взятку.

— У меня двое есть, а, может быть, найдутся и еще охотники.

После того инспектор расспросил, где место, какие обязательства, доходы, состав причта, спросил адрес старухи и обещал отпустить учеников на другой день на смотрины невесты.

Старуха и невеста, поблагодарив инспектора, отправились восвояси. Они остановились на дворе и посмотрели на пестреющую и кишащую толпу учеников.

«Кого-то из них бог пошлет кормильцем?» — подумала старуха.

«С кем-то из них под венец идти?» — подумала невеста.

Эта невеста была *закрепленная невеста*, вступавшая в брак единственно для того, чтобы не умереть с голоду. У нас на Руси не редкость, что брак устраивается потому, что жених получит повышение по службе и приданое, а невеста пристроится, получит имя жениха и чин

его. Но все это делается более или менее в приличных формах, так или иначе маскируется и потому не поражает сильно своим безобразием и извращением честных целей брака. Случаев таких везде немало. Но нигде святость брака так не попирается, как в сфере бурсацких типов. Здесь нарушение брака, извращение его узаконено и освящено обычаем. Бурсак, сеченный, быть может, раз четыреста, унижаемый и уродуемый нравственно, умственно и физически часто в продолжение четырнадцати лет, наконец после такой педагогической дрессировки заслуживший диплом, дающий, по-видимому, ему право получить место в приходе, — не иначе может достигнуть этого, как обязавшись взять *такую-то,* по назначению от *начальства, казенную, закрепленную девицу*. Выходит что-то вроде того, когда, бывало, *помещики женили* своих крестьян, а не то, чтобы крестьяне *сами женились*. Когда умирает то или другое лицо духовное и у него остается семейство, — куда ему деться? Хоть с голоду умирай!.. Дом (если он церковный), земля, сады, луга, родное пепелище — все должно перейти преемнику. Русские священники, диаконы, причетники — представители православного пролетариата... У них нет собственности... До поступления на место всякий поп наш гладен и хладен, при поступлении приход его кормит; умирает он всегда с тяжелой мыслью, что его сыновья и дочери пойдут по миру. Вот это-то пролетариатство духовенства, безземельность, необеспеченность извратили всю его жизнь. Чтобы не дать умереть с голоду осиротевшим семействам духовных лиц, решились пожертвовать одним из высочайших учреждений человеческих — браком. Места *закрепляют* — техническое, заметьте, чуть не официальное выражение. По смерти главы семейства место его остается за тем, кто согласится взять замуж его дочь либо родственницу. Кандидатам на места объявляется об открывшейся вакансии, со взятием *такой-то*. Начинается хождение женихов в дом невесты. Большею частию это делается на скорую руку, всегда назначается срок для выбора невесты, вследствие чего *посягающие* не имеют времени узнать один другого. И бывали такие случаи, что невеста, находясь за двести верст, не успевала ко времени приехать в главный епархиальный город; претендент на поповское место не имел средств

и времени съездить к невесте; тогда обе стороны списывались; давалось заочное согласие, и, получивши уже указ о поступлении на место, жених ехал к невесте; при таких порядках нередко выходили скандальные столкновения — невеста попадалась старая, рябая, сварливая девчина, и жених еще до свадьбы порывался побить ее. Но когда невеста приезжала в город, так и тогда умели обделывать дела и спускали залежалый и бракованный товар с удивительною ловкостию: щеки невесты штукатурились, смотрины назначались вечером, при слабом освещении, — и рябое выходило гладким, старое молодым... Бывало и то, что до самого венца роль невесты брала на себя ее родственница, молодая и недурная собою женщина, иногда замужняя, и уже только в церкви по левую руку жених видел какого-нибудь монстра вроде тех древних изображений, которые в старину сначала задымляли и коптили, а потом променивали на лук и яйца. Что было делать? Бурсак, наголодавшись после бурсы вдоволь, стиснув зубы и скрепив сердце, смотрел на свою будущую сожительницу, но... махнув рукою, поступал согласно внушению Ольги, сделанному ею князю Игорю, и, стоя под венцом, думал думу, как бы в первую же ночь изломать бока своей, черт бы ее взял, подруге жизни. Нечего говорить, что при подобном надуванье и фальше брак есть зло и поругание самых дорогих, самых святых прав человечества. Но когда при смотринах и сватовстве товар показывали лицом, и тогда редко-редко брак был счастливым. Если часто бывает, что после долгого знакомства брак неудачен, что сказать о том, когда он устраивался на авось... В светских искусственных браках большею частию оскорбляется и унижается женщина; но в бурсацких — и женщина и мужчина... В светских мужчина говорит: «Я сыт, и есть у меня имя, иди за меня — ты будешь сыта и получишь имя»; в бурсацких же не то; жених кричит: «Есть нечего»; невеста кричит: «С голоду умираю» — и исход один: соединиться обеим сторонам. Все это — порождение проклятого пролетариата в нашем духовенстве. Кого же тут винить?

Вот и дьячиха привезла по смерти своего мужа свою задеревенелую дочь и успела закрепить за ней место. Преосвященный послал ее в училище, чтобы из готовящихся к исключению выбрать жениха.



В те времена, когда в бурсе свирепствовали Лобов, Батька, Долбежин и тому подобные педагоги, в ней уже нарождался новый тип учителей, как будто более гуманных.

К ним принадлежал Павел Федорыч Краснов.

Павел Федорыч был из молодых, окончивших курс семинарии студентов. Это был мужчина красивый, с лицом симпатическим, по натуре своей человек добрый, деликатный. Хотелось бы нам отнестись к нему вполне сочувственно, но как это сделать?

Он и не думал изгонять розги, а напротив — защищал ее, как необходимый суррогат педагогического дела.

Но он, наказывая ученика, не давал никогда более десяти розог. Преподавая арифметику, географию и греческий язык, он не заставлял зубрить слово в слово, а это в бурсе почиталось едва ли не признаком близкого пришествия антихриста и кончины века сего. Он позволял ученикам делать себе вопросы, возражения, требовать объяснений по разным предметам и снисходил до ответов на них, а это уже окончательный либерализм для бурсы. Увлекаясь своим положительно добрым сердцем, он входил иногда в нужды своих учеников. Так, мы упомянули в первом очерке об одном несчастном, который был бы почти съеден чесотными клещами, если бы не Павел Федорыч: он сводил его в баню, вымыл, выпарил, остриг его голову, сжег всю его одежду, дал ему новую и обласкал беднягу. Был случай, что по классам Краснова, за его болезнию, пришлось справлять уроки Лобову. Лобов вознес Карася и *отчехвостил* его на воздусях. То же самое хотел он сделать с цензором класса, парнем лет под двадцать, но цензор утек от него; тогда Лобов записал его в журнал, и дело все-таки пахло розгой. Узнав о том, как в классе свирепствовал Лобов, Краснов вышел из себя, разорвал в клочья журнал и рассорился с Лобовым. Он был справедлив относительно списков, из которых не делал для учеников тайны, а напротив — вызывал недовольных на диспуты. Раз только случилось,

что Краснов избил своего ученика собственноручно и беспощадно; но и то по той причине, что бурсак решился острить во время ответа урока самым площадным образом, а Павел Федорыч был щекотлив на нервы. Словом, Краснов как частное лицо неоспоримо был честный и добрый человек.

Но посмотрите, чем он был как учитель бурсы.

— Иванов! — говорит он.

Иванов поднимается с заднего стола бурсацкой Камчатки, за которою Краснов следил постоянно и зорко, вследствие чего для желающих *почивать на лаврах*, то есть лентяев, он был нестерпимый учитель. Краснов донимал их не столько сеченьем, сколько систематическим преследованием; и вот это-то преследование, основанное на психологической тактике, сильно отзывалось иезуитством. Краснов в нотате видит, что у Иванова стоит сегодня ноль, но все-таки говорит:

— Прочитай урок, Иванов.

Но Иванов не отвечает ничего. Он думает про себя: «Ведь знает же Краснов, что у меня в нотате ноль... что же спрашивает? — только мучит!»

— Ну, что же ты?

Иванов молчит... Лучше бы ругали Иванова, тогда не было бы ему стыдно перед товарищами, потому что ругань начальства на вороту бурсака, ей же богу, не виснет; а теперь Иванов поставлен в комическое положение: над его замешательством потешаются свои же, и таким образом главная поддержка против начальства — товарищество — для него не существует в это время.

— Ты здоров ли? — спрашивает ласково Павел Федорыч.

Сбычившись и выглядывая исподлобья, Иванов говорит:

— Здоров.

— И ничего с тобой не случилось?

— Ничего.

— Ничего?

— Ничего, — слышится ответ Иванова каким-то псалтырно-панихидным голосом.

— Но ты точно расстроен чем-то?

От Иванова ни гласа, ни послушания.

— Да?

Но Иванову точно рот зашили.

— Что же ты молчишь?.. Ну, скажи же мне урок.

Наконец Иванов собирается с силами. Краснея и пыхтя, он дико вскрикивает:

— Я... я... не... зна-аю.

— Чего не знаешь?

— Я... урока.

Павел Федорыч притворяется, что недослышал.

— Что ты сказал?

— Урока... не знаю! — повторяет Иванов с натугой.

— Не слышу; скажи громче.

— Не знаю! — приходится еще раз сказать Иванову.

Товарищи хохочут.

Иванов же думает про себя: «Черти бы побрали его!.. привязался, леший!»

Учитель между тем прикидывается изумленным, что *даже* Иванов не приготовил уроков.

— Ты не знаешь? Да этого быть не может!

Новый хохот.

Иванов рад провалиться сквозь землю.

— Отчего же ты не знаешь?

Опять начинается травля, до тех пор, пока Иванов не начинает лгать.

— Голова болела.

— Угорел, верно?

— Угорел.

— А ты, может быть, простудился?

— Простудился.

— И угорел и простудился?.. Экая, братец ты мой, жалость!

Товарищи, видя, что Иванов сбился с толку, помирают со смеху. А мученик думает: «Господи ты боже мой, когда же отпорют наконец», и решается покончить дело разом:

— Не могу учиться.

— Отчего же, друг мой?

— Способностей нет.

— А ты пробовал учить вчера?

— Пробовал.

— О чем же ты учил?

Вот тут доходит дело до самой мучительной минуты: хоть убей, не разжать рта, точно губы с пробоем, а на пробое замок. Иванов не обеспокоился не только что выучить урок, но даже узнать, что следовало учить.

Павел Федорыч, боясь, что Иванову подскажут товарищи, встал со стула и подошел к нему с вопросом:

— Что ж ты не говоришь?

Иванов замкнулся, и не отомкнуться ему, несчастному.

Павел Федорыч кладет на него руку. Иванов переживает мучительную моральную пытку, да и другим камчатникам вчуже становится жутко.

— Зачем ты смотришь в парту? Смотри прямо на меня.

У Иванова нервная дрожь. Не поднять ему своей головы — тяжела она, точно пивной котел, который только был по плечам богатыря.

Между тем Павел Федорыч берет Иванова за подбородок.

— Не надо быть застенчивым, мой друг.

Мера душевных страданий переполнена. Иванов только тяжело вздыхает. Наконец, после долгого выпытывания, с тем глубоким отчаянием, с которым бросаются из третьего этажа вниз головой, Иванов принужден сознаться, что он не знает, что задано. Но у него была теперь надежда, что после этого начнутся только распекания и порка, значит, скоро и делу конец, — напрасная надежда.

— Зачем ты забрался в Камчатку? Посмотри, что здесь сидят за апостолы. Ну, хоть ты, Краснопевцев, скажи мне, что такое шхера?

Краснопевцеву что-то подсказывают.

— Шхера есть, — отвечает он бойко, — не что иное, как морская собака.

Все хохочут.

— Ну, ты, Воздвиженский... поди к карте и покажи мне, сколько частей света.

Воздвиженский подходит к висящей на классной доске ландкарте, берет в руки кий и начинает путешествовать по европейской территории.

— Ну, поезжай, мой друг.

— Европа, — начинает друг.

— Раз, — считает учитель.

— Азия.

— Два, — считает учитель.

— Гишпания,—продолжает камчатник, заезжая кием в Белое море, прямо к моржам и белым медведям.

Раздается общий хохот. Учитель считает.

— Три.

Но ученый муж остановился на Белом море, отыскивая здесь свою милую Гишпанию, и здесь зазимовал.

— Ну, путешествуй дальше. Али уже все пересчитал страны света?

— Все, — отвечал наш мудрый географ.

— Именно все. Ступай, вались дерево на дерево, — заключил Павел Федорыч.

Он нарочно вызывает самых ядреных лентяев, отличающихся крутым, безголовым невежеством.

— Березин, скажи, на котором месте стоят десятки?

— На десятом.

— И отлично. А сколько тебе лет?

— Двадцать с годом.

— А сколько времени ты учишься?

— Девятый год.

— И видно, что ты не без успеха учился восемь лет. И вперед старайся так же. А вот послушайте, как переводит у нас Тетерин. Следовало перевести: «Диоген, увидя маленький город с огромными воротами, сказал: «Мужи мидяне, запирайте ворота, чтобы ваш город не ушел». Мужи по-гречески ἄνδρες (андрес). Вот Тетерин и переводит: «Андрей, затворяй калитку — волк идет». Он же расписался в получении казенных сапогов следующим образом: «Петры Тетеры получили сапоги». — Ну, послушай, Петры Тетеры, что такое море?

— Вода.

— Какова она на вкус?

— Мокрая.

— Про Петры же Тетеры рассказывали, что он слово «maximus» переводил словом «Максим»; когда же ему стали подсказывать, что «maximus» означает «весьма большой», он махнул «весьма большой Максим». Ну, а ты, Потоцкий, проспрягай мне «богородица».

— Я богородица, ты богородица, он богородица, мы богородицы, вы богородицы, они, оне, богородицы.

— Дельно. Проспрягай «дубина».

— Я дубина...

— Именно. Довольно. Федоров, поди к доске и напиши «охота».

Тот пишет «охвота».

— Напиши «глина».

У того выходит «гнила».

Таким образом Павел Федорыч потешался над камчатниками, заставляя их нести дичь. Иванов радовался в душе, что учительское внимание было отвлечено от него. Напрасная радость: то был новый маневр, пущенный в ход учителем.

— Что, Иванов, хороши эти гуси?

Иванов опять приходит в ажитацию.

— Как бы ты назвал этих господ? Не назвал ли бы ты их дикарями? Платонов, что такое дикарь?

— Дикий человек.

— А умеешь ты говорить по-гречески?

— Нет.

— А я слышал, что да. Идет он с таким же, как сам, гусем. Один гусь говорит: «альфа, вита, гамма, дельта»; другой гусь говорит: «эпсилон, зита, ита, фита». Не правда, что ли? Тогда еще пирожник назвал вас язычниками. Вот вроде его один господин приезжает к отцу на каникулы. Отец его спрашивает: «Как сказать по-латыне: лошадь свалилась с моста?» — Молодец отвечает: «Лошадендус свалендус с мостендус».

Иванов опять оживился надеждой, что его забыли.

— И не стыдно тебе, Иванов, сидеть среди таких олухов? Я ведь знаю, что ты не станешь спрягать «дубину», не скажешь, что десятки стоят на десятом месте, не поедешь в Ледовитый океан с какой-то «Гишпанией», зачем же ты забрался к этим дикарям?

— Простите, — шептал Иванов.

— В чем тебя простить? — И Павел Федорыч опять добивается того, что Иванов сам себе делает приговор:

— Ленился...

— Дело ли будет, если я прощу тебя?

Пускается в ход новый маневр. Известно, что для школьника мучительна не столько самая минута возмездия, сколько ожидание его. Это понимал Павел Федорыч и пускал в ход всю практическую психологию.

— Простить тебя? А потом сам же будешь бранить за это, зачем дозволял тебе лениться; скажешь, не дурак же я был — учителя не хотели обратить на меня внимания.

— Простите! — говорил Иванов.

— Да ты знаешь ли, что с тобой может случиться,

если, чего избави боже, тебя исключат? Знаешь ли, что предстоит всем этим камчатникам?

Камчатка внимательно насторожила уши.

— Теперь по Руси множество шляется заштатных дьячков, пономарей, церковных и консисторских служек, выгнанных послушников, исключенных воспитанников,— знаете ли, что хочет сделать с ними начальство? — оно хочет верстать их в солдаты.

— Простите! — говорил Иванов, думая с тоскою: «Боже мой, скоро ли же сечь-то начнут?.. проклятый Краснов!.. всю душу вытянул».

— Я слышал за верное, что скоро набор, рекрутчина. Ожидайте беды...

Мы имели случай в первом очерке заметить, что не раз проносилась грозная весть о верстании в солдаты всех безместных исключенных. Теперь прибавим, что такой проект начальство действительно не раз хотело осуществить, но в духовенстве всегда в этом случае подымался ропот; оно и понятно: многие сильные мира были или сами дети причетников, или имели причетниками своих детей и других родственников. Однако, тем не менее, грозная весть о солдатчине часто заставляла трепетать бурсаков.

Павел Федорыч пользовался этим обстоятельством с полным успехом.

— Как же тебя простить, — говорит он Иванову, — неужели тебе хочется под красную шапку?

— Я буду учиться.

— Как же ты давеча говорил, что не можешь учиться?

Скверно на душе Иванова, потому что учитель доводит его до того, что он сам сознается:

— Лгал.

Травля продолжается далее. Приходилось после долгих выпытываний соглашаться, — что и делалось замогильным тоном, — в том, что он должен быть наказан; потом, сколькими ударами розог. Когда ученик был доводим до истомы нравственной и едва не до полупомешательства, тогда только учитель отсылал его к печке, где и давал десять ударов розгами, причем внушалось, что ученик каждый раз при незнании урока будет получать это ординарное количество стежков по тому месту, откуда ноги растут. Решившись обратить лентяя

на путь истины, Павел Федорыч всегда доводил свою работу до благоприятного результата, преследуя цель неутомимо и энергически.

— Иванов! после класса приходи ко мне на квартиру.

Пригласивши к себе на квартиру, Павел Федорыч заставляет Иванова учить урок в рекреационные часы, так что если и после этого захотел бы лениться, то ему пришлось бы всю училищную жизнь просидеть над книгой, не нашлось бы и в праздничные дни свободной минуты — вечно под носом проклятый учебник, и лентяй со скрежетом зубовным вгрызается в ненавистные строки. Мало-помалу долбня всасывает его и поглощает всецело.

Конец ли?

Нет, все-таки не конец. Павел Федорыч сносится с другими учителями относительно неофита. Долбежин и Батька говорят неофиту: «А, голубчик, у других ты учишься, а у меня нет?.. Запорю, животное, убью!» Те учителя в свою очередь начинали *досекать* лентяя, каждый *до своей науки*. Что тут станешь делать? Поневоле съешь всю бурсацкую науку, хотя в душе созреет и навек укоренится глубокая ненависть и беспощадное отвращение к той науке. Правда, ученик, досеченный до хорошего аттестата, будет благодарен, но все же не за бурсацкую науку, но за аттестат, дающий ему известные права.

Милостивые государи, как вам нравится подобное варварство в педагогике, к которому, однако, прибегал даже Павел Федорыч, человек с сердцем положительно добрым? Что же это значит? Если бы Лобов, Долбежин, Батька и Краснов не употребляли противоестественных и страшных мер преподавания, то, уверяю вас, редкий бурсак стал бы учиться, потому что наука в бурсе трудна и нелепа. Лобов, Долбежин, Батька и Краснов поневоле прибегали к насилию нравственному и физическому. Значит, вся причина главным образом не в учителях и не в бурсаках, а в бурсацкой науке, чтоб ей сгинуть с белого света. Мало-мальски развитый семинарист всегда вспоминает о ней с ужасом.

Камчатка *почивала на лаврах* до сего дня спокойно и беспечно; но сегодня в ней ярые толки и шум. Павел Федорыч возбудил те толки и шум своими угрозами о

солдатчине. Но не на всех камчатников грозная весть произвела одинаковое впечатление. Камчатники распадались на два типа по роду бурсацких наук. Науки были: *божественные*, которые ныне называются богословскими, и *внешние*, которые ныне называются светскими. Одни камчатники отрицали только *внешние* науки и с усердием занимались законом божиим, священною историею, церковным уставом и церковным пением. Эти специально готовились в дьячки и пономари. Представителями такого типа в особенности были двое — *Васенда* и *Азинус*. Васенда был великовозрастный, так что кончить курс ему пришлось бы не юношей, а тридцатилетним мужем. Он махнул на все рукою и принялся за божественные науки. Это был человек честный, добрый, обладавший громадною физическою силою, но, как все силачи, спокойный и сосредоточенный; но главное, он был замечательный скопидом и хозяин. Так он и выглядит кремнем-причетником, у которого хозяйство никак не будет хуже по крайней мере дьяконского. Заглянем в его ученический сундук, когда Васенда выдвигает его из-под кровати. В углу небольшой деревянный образок Василия Великого, благословение матери, вдовы-дьячихи; на внутренней стенке крышки сундука набиты два ремня, и за них вложено несколько дестей писчей бумаги; по краям, около бумаги, художественная выставка произведений конфетного и леденечного искусства: генерал, у которого нос чуть не поперек лица; голая женщина, кормящая грудью голубка, а за нею амур, как будто бы страдающий водяной болезнью; потом лубочная гравюра, вырезанная из Бовы и изображающая то, как сей богатырь побивает метлою рать несметную; далее картинка из священной истории, на которой вы можете видеть изгнание наших прародителей из рая, и тому подобные изображения; эти изображения перемешаны с леденечными билетиками; тут же, между прочим, налеплена числительница, показывающая дни и месяцы на целый год. Внутри сундука в одном углу кадушка, в которой грибы со сметаной, а в другой мешок с толокном. На дне лежат книги, всё божественные, ни одной внешней — их Васенда продал, как ненужные. В другой стороне сундука аккуратно уложено чистое белье и новенькая верхняя одежда. Кроме того, под образком на-

ходится маленький ящичек, в котором хранятся его деньги, письма, новейший песенник, нюхательный табак, пустая склянка, перочинный нож, гребенка, мыло и тому подобное. Вот вам сундук Васенды, окованный прочными железными полосами, с крепчайшим замком. У Васенды отличный дубленый тулуп и неизносимые осташи с голенищами по колено. Его скопидомство доходило даже до крайности: так, он целый год писал одним пером, едва касаясь бумаги и каждый раз бережно завертывая его в бумажку. Он уже и теперь так и выглядит степенным и практическим дьячком; и действительно, он умеет что угодно и купить и продать; походка у него важная, осташи блестят... Вот этот-то господин и был представителем лучшего типа бурсацкой Камчатки. В самом деле, из него вышел прекрасный зажиточный деревенский дьячок. Весть о солдатчине мало тревожила его: он верил в свою звезду.

Азинус был ученик высокого роста, сутуловатый, с выдавшимися лопатками на спине, на длинных ногах; широкие скулы, бойкие серые глаза и постоянно вздернутый кверху нос, вечно нюхающий что-то в воздухе, придавали лицу его выражение той хитрости, которою отличаются мелкие плуты с узким лбом. Он ходил в тиковом халате, в дырявых сапогах и в ватной шапке и зимой и летом. Азинус был сын заштатного пономаря, горького пьяницы, жившего подаянием. Мать Азинуса, бедная старуха, забитая своим мужем, переслала своего сына в училище с одним дальним своим родственником, но при этом, по неопытности или старческой рассеянности, не озаботилась передачею ему документов, необходимых для поступления в бурсу. Родственник привез Азинуса, тогда еще осьмилетнего мальчика, на огромный двор училища и пустил его на волю божью отыскивать самому себе науку. Азинус долго ходил по двору, не зная куда деться. К вечеру он проголодался и, увидя в восемь часов огромную массу воспитанников, примкнул к ним и очутился в столовой, где, долго не думая, принялся за щи и кашу. После ужина ученики отправились сначала на молитву, а потом по спальням, — он за ними; в спальне он нашел незанятую казенную кровать, где и уснул спокойно. Поутру он опять вместе с другими сходил на молитву, а потом попал в приходский класс;

тут он водворился на задней парте. Так он прожил около трех месяцев, пока наконец учитель не обратил на него внимания. Стали наводить справки, Азинуса в списках не оказалось. Его покормили в последний раз обедом и велели убираться за ворота на все четыре стороны. Вот так младенчество — лучшая пора нашей жизни! Он несколько дней питался милостынею, бог знает где ночуя, пока не наткнулся на другого нищего, своего отца, который отвел сынка к знакомому дьячку, окончательно определившему маленького Азинуса в бурсу, которая его окончательно изувечила. Он сначала оказывал успехи, но скоро плюнул на все и, выжив известный период сечения, засел в Камчатку навсегда. Здесь сложился его характер, в высшей степени безалаберный. Главным его занятием были чет и нечет, юла, три листика, мена ножами и тому подобные коммерческие игры бурсы. Он сделался настоящим цыганом училища, променивая и выменивая, продавая и покупая что угодно. Деньжонки и вещи, приобретаемые им, шли у него без толку. Все ученики, остающиеся на рождество или пасху в училище, умели чем-нибудь запастись для праздника; Азинус же часто проедал деньги накануне его, а потом шлялся по спальням, льстил, кланялся, прислуживался, ругался и лгал, выпрашивая кусок булки, яйцо или клок масла у своих товарищей. При таком характере он совершенно изолгался. До сих пор передают его рассказы. Так, он однажды говорил, что в страшную метель зимою ехал куда-то, на него напали волки. Что было делать? «Я, говорит, со страху спрятался в рожь». Когда его спрашивали, каким образом зимою попался он в рожь, тогда Азинус ругался, рассыпал смази и, свертывая из пол халата хвост, описывал им в воздухе круги. Нередко он сообщал своим слушателям о том, как он видел сам привидения, домовых, мертвецов и чертей. Но он не только что врал, но не прочь был и стянуть что-нибудь. Однажды он путешествовал на родину, верст за полтораста, с четырьмя копейками в кармане, спал в лесу, питался незрелыми ягодами, иногда заходил в харчевни, обедал в них и потом утекал, не заплативши денег за обед. Этот молодец когда прибыл на родину, то у него оставалась еще одна копейка в экономии. Азинус был во всех отношениях противоположность Васенде. Но и он не обратил внимания на весть о солдатчине, хотя

это сделал единственно по безалаберности своего характера.

Вообще Камчатка, отрицающая внешние науки и изучающая только божественные, не была сильно взволнована словами Павла Федорыча. К тому были основания. Начальство смотрело на божественную Камчатку довольно благосклонно: она что-нибудь да делала. Бывали проекты (и это знали камчатники) о преобразовании священных задних парт в специальный класс, так называемый *причетнический*. И потому ученики, подобные Васенде или Азинусу, были спокойны.

Но иное совсем происходило в другой половине Камчатки. Здесь почивали на лаврах абсолютные нигилисты, отрицавшие и внешние и божественные науки. Там сидели некоторые убогие личности, которые и сами убедились и начальство убедили, что не имеют способностей и учиться не могут, хотя странно считать кого бы то ни было неспособным даже к самому ограниченному, элементарному образованию. Так, был один ученик, сын финского священника, который просидел в приходском классе шесть лет и едва-едва научился читать, после чего его исключили. Его прозвище *Азбу́чка Забалдырь Евангильe Свитцы* — за то, что он азбуку называл азбу́чкой, а псалтырь — забалдырью. Такие примеры не редкость в бурсе. Столько же времени и в том же классе сидел Чабря. Иные до второуездного класса доплетались только через четырнадцать лет — время, которого достаточно для того, чтобы приготовиться на степень доктора какой угодно науки, срок, который одним годом только меньше срока нынешней солдатской службы. Эх, бедняги, какую ж лямку вы тянули: солдатскую, а вас еще солдатчиной стращали!.. Нашли чем испугать!.. Но вы все же так пеняли тогда на начальство, дрожали от страха за свою судьбу: вам, конечно, не хотелось такую же службу вынести вторично.

Мы видели, что действительно неспособные ученики были сегодня сильно встревожены. Но во внешней Камчатке были и способные ученики, сердце которых тоже дрогнуло от слов Краснова, не столько от того, что их головы хотели накрыть красной шапкой, — эти лентяи были народ беззаботный, мало думающий о будущем,— сколько от той беды, которую испытывал сегодня их товарищ, Иванов. Изленившись, они не могли взяться за

книжку, а с другой стороны, особенно умные из лентяев инстинктивно и, право, справедливо чувствовали отвращение к бурсацкой науке. Однако, тем не менее, нервная дрожь пробегала по их телу, когда они вспоминали Павла Федорыча. Они чувствовали, что вслед за Ивановым стоит их очередь, что зоркий глаз Краснова отыщет их в Камчатке и заставит их прочувствовать всю моральную пытку своей психолого-педагогической системы. Грустно, скучно сегодня в Камчатке; но, читатель, подождите немного, и вы увидите, что́ сегодня же радостно взволновало не только Камчатку божественную, не только Камчатку внешнюю, но и весь класс бурсаков.

Дайте только рассказать мне, какую штуку отмочил сегодня Аксютка в сообществе с Ipse, — иначе рассказ наш не будет вам понятен.

Аксютка все еще щелкает зубами.

Стемнело. Лампы, как мы уже имели случай заметить, не зажигались в классах до занятных часов. Аксютка пробрался в первоуездный класс, где в потемках обыскивал карманы и парты учеников.

— Где бы *стилибонить?* — шептал он.

Отправился он в приходские классы. Успех был тот же, и Аксютка со злости загнул какому-то несчастному трехэтажные салазки.

— Всё стрескали, подлецы! — проговорил он.

С голодом Аксютки естественно росло непобедимое его желание похитить что-нибудь и съесть, а вместе с тем увеличивались его хитрость, изворотливость и предприимчивость. Он отыскал своего друга и верного пажа Ipse и отправился вместе с ним в тот угол двора, у ворот, где была пекарня. Они пришли к пекарне; Ipse спрятался в темном углу ее, а Аксютка что есть силы стал ломиться в двери.

— Голубчик, Цепа, дай хлебца.

Цепка был солдат добрый. Он голодных бурсаков часто наделял хлебом, а кого любил — так и ржаными лепешками. Но этот хлебопек не мог терпеть Аксютку: он был уверен, что Аксютка стянул у него новые голенища.

Отметим здесь еще странное явление бурсы. Служители училища были чем-то вроде властей для учеников; у инспектора они имели значение гораздо большее,

нежели всякий второклассный старшой. Свидетельство *сторожа* (так ученики звали прислугу) или жалобы его всегда уважались начальством. Ученик против сторожа ничего предпринять не мог. Это объясняется тем, что вахтер, гардеробщик, повар, хлебник, привратник и секундатор из сторожей, очевидно, служили в видах начальства. Все они из урезанных продуктов, разумеется ученических, должны были во что бы то ни стало приготовить для начальства хлеб, мясо, крупу, холст, сукно и тому подобное. Естественно, что жалоба на каждого из них была как бы жалобою на самое начальство; например, сказать, что повар мало каши дает, значило сказать, что эконом крадет казенную крупу, что эконом делится с смотрителем, училищный смотритель с семинарским, этот с академическим и так далее: выйдет, что жалоба о каше есть жалоба против высшего начальства, чуть не заговор и бунт. Да, на бурсацком языке такие жалобы, действительно, и назывались бунтами и преследовались, как бунты.

Служители сознавали свое положение и пользовались им.

Они жили гораздо лучше тех, кому служили: одежду носили казенную, ели вволю и хорошо, могли высказывать свои неудовольствия и грозить оставлением службы, у них всегда бывали жирные щи со свежей говядиной, жирно промасленная каша, а хлеба не порциями, как бурсакам, но сколько угодно. Живя почти на всем готовом, они, кроме того, получали жалованья от восьми до двенадцати, а вахтер и семнадцать рублей ассигнациями, — они были богаче самых богатых бурсаков. Многие из них имели случай красть казенное. Повар получал от некоторых учеников еженедельную плату за то, что кормил их утром и вечером кашею. Захаренко, секундатор, открыто брал взятки; каждый праздник он обходил классы и объявлял: «Что же, господа, Алексею Григорьичу (так величали Захаренко) на табачок?» К нему сыпались на подставленную ладонь гроши и пятаки. За неделю, когда сбор был скуден, ученики замечали, что он сек их с большею исправностию и аппетитом. Кроме того, Захаренко продавал ученикам нюхательный табак, сам-тре. Словом, служители составляли низшее начальство. Если к этому прибавить, что некоторые из них наушничали инспектору, то понятно будет

их влияние на учеников. Поэтому ничего нет удивительного, когда Захаренко под пьяную руку проводил пальцем по голове ученика, как по бубну, приговаривая: «Эй, прокислая кутья, ваше дело гадить, наше убирать». Или что удивительного, если Еловый бил бурсака метлой по затылку, Трехполенный давал трепку и тому подобное? В большинстве случаев такие обиды терпеливо сносились учениками.

Но Аксютка, как отпетая личность, не обращал внимания на служительские власти. Он продолжал ломиться к Цепке в хлебную.

— Кто тут? — послышался голос Цепки.

— Это я, Цепа.

— Я тебе дам такого хлебца, что не съешь... прочь пошел!..

— Цепа, ей-богу, есть хочется!

— Ну, пошел, пошел!.. не проедайся!..

Аксютка переменил тон. Он стал ругаться:

— Цепка, черт, дай же хлеба! Жалко, что ли, тебе куска какого-нибудь? Собака ты этакая, чтоб подавиться тебе сапогом, который ты шьешь!

— Ах ты бесов сын! — проворчал Цепка.

Цепка воткнул шило в деревянный обрубок, служивший ему столом, и, стиснув зубы, схватил метлу и стремительно бросился к двери. Он приударил за Аксюткой. Аксютка бегал очень хорошо; он мастер был играть в пятнашки и на небольшом пространстве умел *увертываться*, делая неожиданные повороты то в ту, то в другую сторону. Двор был велик, и потому Цепке было бы трудно поймать Аксютку, но Аксютка побежал к воротам. Цепка крикнул привратнику, стоявшему там:

— Держи его!

Привратник схватил тоже метлу и бросился на Аксютку. Аксютка переменил рейс. К его несчастию, был шестой час вечера, час, в который служители мели спальные комнаты. Они теперь выходили с разных концов двора.

— Держи его!

Аксютку все знали. Служители ополчились на него со швабрами. Аксютке приходилось плохо. Его травили с четырех концов — он и озирался хищным волком. «Намнут, черти, шею!» — думал он. Но вот ноздри его поднялись и опустились. Он быстро бросился к Цепке. Цепка, не подозревая ничего в этом новом маневре, бежал

к нему с распростертыми руками. Другие служители, видя, что Аксютка почти в руках Цепки, опустив швабры, кричали:

— Хватай его!

Но Аксютка, налетев на Цепку, неожиданно упал ему под ноги. Разлетевшийся Цепка полетел кубарем вверх ногами. Аксютка направил свой бег к классу, который уже был освещен, потому что начались занятия. Цепка, человек бедовый в сердцах, стал клясться и божиться, что убьет Аксютку. Он поднялся с земли, схватил метлу и отправился к классу, куда скрылся Аксютка.

— Теперь поймает... попался! — говорили служители и разошлись в разные стороны.

Цепка ворвался в класс с страшными ругательствами и помахивая метлою. Аксютка, увидев его, вскочил на первую парту, с первой на вторую и полетел над головами товарищей. Цепка последовал его примеру, и огромный солдат носился с метлою в храме бурсацкой науки... Картина была великолепная... Ученикам стало весело, — такие спектакли приходилось видеть не часто. Из-под ног разъяренных врагов летели на пол дождем книги, грифельные доски, чернильницы и линейки.

— Го-го-го! — начали бурсаки.

— Ату его! — подхватили другие.

Третьи свистнули.

Кто-то книгой пустил в Цепку. Цепка не обращал внимания на крик, атуканье и рев бурсаков. Он распалился страшно. Двадцать две парты, как клавиши, играли под здоровенными его ступнями. Но вот Аксютка, соскочив на пол, скрылся под партой; Цепка хотел последовать его примеру, но какой-то бурсак дернул его за ногу, и он растянулся среди класса плашмя. Невозможно привести здесь той свирепой брани, которою он осыпал весь класс.

Аксютка, выглядывая из-под парты, говорил ему:

— Цепка, встань, да на другой бок.

Цепка бросился к нему; но Аксютка уже из-под другой парты:

— Право, Цепка, дай, — голенища подарю.

Цепка понял, что под партами ему не угоняться за врагом. Он, обозвав бурсаков прокислой кутьей и жеребячьей породой, направился к двери. Его проводили криком, свистом, атуканьем и крепкими остротами.

Покажется странным, каким образом подобный гвалт и рев мог не доходить до начальства. К тому способствовало самое устройство училища. Все здание разделялось на два корпуса — старый и новый. В *старом* года за три до описываемого нами периода помещалась семинария, а в *новом* училище. Семинария потом была переведена в новое здание, училище же осталось в прежнем. В училище из начальства жили только смотритель и инспектор, другие учителя помещались в старом корпусе.[1] Таким образом, училище, по необходимости, управлялось властями, выбранными из учеников же. Кроме того, квартира смотрителя и инспектора была на противоположном конце двора, далеко от классов, так что никакой гвалт и рев не доходили до начальства. Служители составляли, как мы уже имели случай сказать, нечто вроде начальства и, значит, были ненавидимы товариществом, вследствие чего скандалы вроде описанного не доходили до инспектора и смотрителя.

Мало-помалу все успокоились в классе. Аксютка пробрался в Камчатку. Скоро явился и Сатана (он же и Ipse)...

— Ну что, Сатана?

— Оплетохом!

— Лихо!.. Ну-ка, давай сюда!

Ipse вынул целый хлеб...

— Да ты молодец!.. я тебя за это жалую смазью...

Сатана принял смазь и проговорил:

— Аз есмь Ipse!

Аксютка уписывал хлеб с волчьим аппетитом. Но после завтрака он все-таки не успокоился духом. «Черт их побери, — думал Аксютка, — этак когда-нибудь и с голоду умрешь. Уж не закатить ли завтра нуль в нотате?

---

[1] Между прочим, описывая бурсу, мы опустили очень важное обстоятельство, что повело ко многим недоразумениям. Мы забыли сказать, что описываемая нами бурса — было закрытое учебное заведение. Ученики ее не жили, как в других бурсах, на вольных квартирах. Все, человек до пятисот, помещались в огромных каменных зданиях постройки времен Петра I. Эту черту не следует опускать из внимания, потому что в других бурсах вольные квартиры порождают типы и быт бурсацкой жизни такие, которых нет в закрытом заведении. Быть может, здесь же должно искать причину и того, что формы бурсацизма в нашем училище сложились так оригинально и так неискоренимо. Традиция, при закрытости заведения, имела полную силу и жизненность. — *Прим. автора.*

Э, нет, подожду — еще потешусь над Лобовым. А дело все-таки гадко. Но ладно, *«бог напитал, никто не видал; а кто и видел, так не обидел»,* — заключил Аксютка бурсацким присловьем. — «Утро вечера мудренее...»

— Эх, Аксен Иваныч, — сказал ему Ipse, как бы отвечая его мыслям, — воззри на птицы небесные: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но отец небесный питает их.

— Аминь! — сказал Аксютка и решился продолжать свои проделки с Лобовым.

Еще не утих гомерический хохот бурсы, как вошел в класс лакей инспектора и спросил:

— Где дежурный старшой?



— Здесь, — отвечал старшой.

— *Тебя* инспектор зовет.

Лакей ушел.

Сразу по всем головам прошла одна и та же мысль: верно, Цепка нажаловался инспектору на Аксютку, у которого уже дрожали от предчувствия беды поджилки, но и кроме его многие струхнули, потому что многие принимали участие в скандале.

Старшой застегнулся на все пуговицы и отправился к инспектору не без внутреннего трепета, потому что в его дежурство случилась эта милая шутка веселых бурсачков. На класс напало уныние. Минуты еле тянулись в ожидании дежурного. Наконец он явился. Его встретило мертвое молчание.

Дежурный окинул взором класс. Все ждали.

— Женихи! — крикнул он.

У всех отлегло от сердца.

— Женихи? — отвечали ему.

Класс наполнился радостным ропотом. Туман с физиономий исчез, по ним пробежала светлая полоса. Все приподняли головы. У всех была одна мысль: «Среди нас есть женихи, значит, мы не мальчики, а народ самостоятельный».

Но что сделалось с Камчаткой? Там воодушевленный говор, потому что настал час торжества, час величия Камчатки.

Взоры всех были обращены в эту счастливую страну.

Полно азбуке учиться,
Букварем башку ломать!
Не пора ли нам жениться,
В печку книги побросать?

Шум усиливался.

— Тише, — крикнул цензор.

В классе несколько стихло.

— Кто женихи?

Вышли Васенда, Азинус, Ерра-Кокста, Рябчик.

— И я жених. — С этими словами присоединился к ним Аксютка.

Класс захохотал.

Ipse от восторга вертел хвостом халата.

— Никого больше?

Больше никого не оказалось.

— Женихи к инспектору!.. живо!

Все пятеро отправились к инспектору. Класс, глядя на Аксютку, который с уморительными гримасами подпрыгивал и бил себя по бедрам, весело смеялся.

Когда женихи скрылись за дверями, класс наполнился сильным говором, точно на рыночной площади торг во всем разгаре. Но это не был тот бесшабашный гвалт, когда бурсаки тянули *холодно* или дули *разноголосицу*: он скорее походил на тот шум, который наполнял класс во время получения билетов на каникулы. В Камчатке же шло положительное ликование — она высылала от себя женихов, героев дня. Событие во всех головах поднимало мечты: «когда-нибудь и мы освободимся от бурсы». От двенадцатилетнего мальчика до двадцатидвухгодовалого парня, от последнего лентяя до первого ученика — все думали одну радостную думу. Все училище было охвачено трепетом. Бог весть каким образом магическое слово «женихи» быстрее ласточки облетело по всем классам, сладостно волнуя бурсацкие души. Урок нейдет на ум, книги в партах, ученики сбились в кучки, и цензор снисходителен на этот раз — не разгоняет их. Все сразу почему-то вспомнили свою родину, дом, отца с матерью, братьев с сестрами. Самые молодые бурсачки — и те рассуждают о невестах, о женитьбе, о поповских и дьяческих местах и доходах, о славленье и т. п. Многие толкуют о дне исключения их: кто собирается в дьячки, кто в послушники, кто в чиновники, а кто так и в военную службу.

Женихи вернулись от инспектора.

— Ну что? — спрашивали их с любопытством.

— Везет ли, Аксен Иваныч? — говорил Ipse.

— Вот тебе — читай.

Ipse взял из рук Аксютки осьмушку исписанной бумаги и начал по ней читать громко:

### БИЛЕТ

*Ученик Аксен Иванов уволен в город для свидания со своею невестою Ириною Вознесенскою, 18... года 23 октября, с 4 часов пополудни до 9 часов вечера.*

Далее следовала подпись инспектора.

— Браво, Аксютка! — кричали товарищи.

У Васенды и Азинуса были такие же билеты.

Но остальные два претендента пробирались на священные парты Камчатки с унылым и понуренным видом.

— Вы что?

— Их сначала будут румянить и уж потом на смотрины.

Раздался смех.

Униженные и оскорбленные, усевшись на место, положили с отчаянием свои победные головы на руки.

— Этому, — пояснял Аксютка, указывая на великовозрастного бурсака, — инспектор сказал: «Я тебя замечал в нетрезвом виде — какой же из тебя выйдет муж... Нет, вместо свадьбы устрою тебе баню».

— Поздравьте, господа, — дополнил Аксютка, — молодых с законным браком.

Хохот.

— А этому, — говорил Аксютка, указывая на другого отверженного жениха, — оказалось всего четырнадцать лет.

— Вот так жених!

— Смазь ему, ребята!

— Салазки жениху!

Несчастного окончательно унизили и оскорбили широчайшей смазью и беспощадными салазками. В другое время он протестовал бы, но теперь стыдно было, что он, четырнадцатилетний мальчик, задумал *брачиться* с тридцатидвухлетней древностью. Кроме того, его мучил страх грядущих румян. С горя, стыда и страха он заплакал.



К нему подошел Тавля, приподнял его голову, ущемил двумя перстами нос жениха и потянул через парту.

— У-у-у! — затянул он.

Класс захохотал.

— Молокосос!

Тавля после того еще надрал ему уши.

Бедняга рыдал, но от стыда не решился просить

пощады. С той поры его прозвали «мозглым женихом». Он в тот же вечер ударился в бега. Когда будем говорить о бегунах бурсы, расскажем и о его похождениях.

Около женихов были шум и толкотня. Расспрашивали о приходе, о невесте, о доходах, давали советы и снаряжали на завтрашний день к невесте. Общая внимательность и предупредительность показывали то напряженное состояние духа учеников, в котором они находились. Это выразилось тем, что товарищи охотно предлагали женихам кто новенький сюртучок, кто брюки, кто жилет, даже сапоги и белье. Азинус на другой день сбросил с себя тиковый халат и дырявые сапоги, у которых вместо подметок были привязаны дощечки деревянные, и явился франтом хоть куда. Все это напоминает нам тех беглых арестантов, которых г. Достоевский изобразил в «Мертвом доме». Как там товарищи радовались за освободившихся от каторги, так и здесь радовались за освободившихся от бурсы.

Вечер закончился блистательным скандалом. Тавля женился на Катьке. Достали свеч, купили пряников и леденцов, выбрали поезжан и поехали за Катькой в Камчатку. Здесь невеста, недурной мальчик лет четырнадцати, сидела одетая во что-то вроде импровизированного капота; голова была повязана платком по-бабьи, щеки ее были нарумянены линючей бумажкой от леденца. Поезжане, наряженные мужчинами и бабами, вместе с Тавлей отправились к невесте, а от ней к печке, которую Тавля заставил принять на себя роль церкви. Явились попы, дьяконы и дьяки, зажгли свечи, началось венчанье с пением «Исаие, ликуй!» Гороблагодатский *отломал апостол,* закричав во всю глотку на конце: «А жена да боится своего мужа». Тавля поцеловал у печки богом данную ему сожительницу. После того поезд направился опять в Камчатку, где и начался великий пир и столованье. Здесь гостям подавались леденцы, пряники, толокно, моченый горох, и даже часть украденного Аксюткою хлеба шла в угощение поезжан и молодых. Поднялись пляски и пенье. В конец занятных часов появилась и святая мать-сивуха. На другой день через фискалов все известно было инспектору, и последовало румяненье тех мест, откуда у бурсаков растут ноги.

---

На другой день у Васенды, Азинуса и Аксютки были действительные смотрины.

Васенда, как человек положительный и практический, нашел невыгодным закрепленное место, приданое и обязательства, а невесту чересчур заматоревшею во днех своих, на вид рябою, длинною и черствою. Он решился остаться в Камчатке до лучшей суженой.

Азинус, по безалаберности своего характера, а отчасти потому, что ему надоела и опротивела бурса, махнув на все рукою, решился вступить в законный брак с дамою, которая была старше его по крайней мере десятью годами. Впоследствии из него вышел мерзейший муж, а из его супруги того же достоинства баба.

Аксютка вовсе и не думал жениться. Он отправился на смотрины единственно из желанья потешиться, поесть у невесты, стянуть что-нибудь и погулять вне училища, на свободе. Он украл у «нареченной» шелковый платок и три медных гривны.

Один из женихов, как мы уже видели, удрал из училища и теперь состоял в бегах.

Пятый жених на другой день получил от инспектора румяны, то есть блистательную порку.

*1863*



# Бегуны и спасенные бурсы

### Очерк четвертый

Главное действующее лицо настоящего очерка — Карась. Что это за рыба?

Карась был довольно самолюбивая рыба. Два его брата, уже бурсаки, смотрели на него как на *маленького,* не допускали его не только в сериозные, по их понятию, предприятия, но даже и в простые игры, и именно на том основании, что он *не ел еще семинарской каши,* а между тем он слышал иногда от них рассказы о разного рода играх бурсаков, о бурсацких богатырях, их похождениях, проделках с начальством, — рассказы, которые казались ему очень привлекательны: все это породило в нем страстное желание как можно скорее, всецело, по самые уши окунуться в болото бурсацкой жизни.

Настал давно ожидаемый им день. Сняли с Карася детскую рубашонку и вместо ее надели сюртучок — с той минуты он почувствовал себя годом старше; он имел уже *свою* кровать, *свой* сундук, *свои* книжки — это еще прибавило ему росту; дали ему на булки двадцать копеек, капитал, редко бывавший в его руках, — тогда Карасиная гордость сделалась непомерна. Пришел час расставания с родным домом: помолились богу, благословили Карася, у матери слезы на глазах, отец сериозен, сестренки задумались, — лишь Карась радуется и скачет как сумасшедший, он блаженствует от той мысли, что еще несколько минут — и он будет бурсак, бурсак с головы до ног, вдоль и поперек.

Карася отвели в бурсу. Здесь он простился с отцом очень невнимательно. Ему хотелось поскорее присоеди-

ниться к ученикам, которые играли на большом дворе бурсы в *лапту, касло, отскок, свайку, рай и ад, казаки-разбойники, краденую палочку* и т. п. Долго не думая, он по уходе отца отправился на двор, где и присоединился к кучке бурсачков, игравших в *рай и ад*, то есть скакавших на одной ноге среди начерченной на земле фигуры, причем носком сапога они выбивали из разных ее отделений камешек...

«Это очень весело», — подумал Карась.

Но в то же время он услышал насмешливый голос:

— *Новичок!*

— *Городской!* — прибавил кто-то.

— *Маменькин сынок!*

«О ком это?» — думал Карась.

Его щипнули.

«Обо мне», — решил он. Сердце его замерло от предчувствия чего-то нехорошего...

— Смазь новичку!

«Это что такое?» — подумал Карась.

На него налетел довольно взрослый бурсак и схватил его лицо в свою грязную пясть. Карась вовсе не ожидал такого приветствия. Он озлился, но не ему, поступившему в училище на десятом году, было бороться с здоровыми бурсаками. Однако Карась не обратил внимания на свое слабосилие. Он размахнулся ногою и ударил ею своего обидчика в живот. Бурсак застонал и хотел дать трепку Карасю, но Карась ударился в бега.

— Ай да новичок! — слышал он сзади себя одобрение.

«Вона — еще хвалят!» — думал утекающий Карась.

В пять часов вечера братья отвели Карася во второй приходский класс, где он и водворился на задней парте и скоро познакомился со своим соседом, которого звали *Жирбасом*.

— Ты будешь учить урок? — спросил Жирбас.

— Буду.

— Зачем?

— А учитель спросит?

— Быть может, и не спросит.

— Так разве не учить?

— Не стоит.

— И не буду же учить.

Так Карась начал свое духовное образование.



Однако же чем развлечься? — впереди предстояли еще три учебных часа.

— Что же мы будем делать? — спросил Карась.

— Давай играть *в трубочисты.*

— Ладно.

Но лишь только Жирбас стал *загадывать,* пряча грифель, подходит к Карасю какая-то каналья и, показывая ему небольшую склянку, говорит:

— Хочешь, *посажу тебя в эту бутылочку?*

— В эту?.. Каким образом?..

— Да уж будешь сидеть... хочешь?

— Шутишь, брат!.. Ну-ка, сади!

— Вот тебе шапка — трись ею...

— И буду сидеть в бутылочке?

— Будешь.

Карась берет поданную ему шапку и начинает очень усердно тереться тою шапкой.

— Входишь в бутылочку, лезешь, — говорили окружающие Карася товарищи, а сами хохотали.

— Чего вам смешно? — спрашивал глупый Карась.

— Довольно! — говорят ему. — Сел в бутылочку.

— Как так? — спрашивает Карась, отнимая от лица шапку.

Раздался дружный веселый смех...

— Где ж я в бутылочке?

— Дайте ему зеркальце.

Подали зеркало. Заглянув в него, Карась не узнал своей рожицы: вся она была черна, как у трубочиста. Только тут Карась смекнул, что шапка, которою он терся, была вымазана сажею и ее трудно было приметить на черном сукне. Карасю было досадно и стыдно.

— Сам выпачкался, — говорили ему.

— Не на кого и жаловаться...

— Фискалить? да мы его *вздуем!*

— Не буду я фискалить, — ответил Карась, — а вы все-таки подлецы!

Карасю пришлось выносить насмешки своих товарищей. Вымыв рожицу из ведра, стоявшего в углу класса, Карась обратился к Жирбасу, надеясь на его сочувствие...

— Черти этакие! — сказал он...

Но Жирбас, услышав такие слова, отвечал на них оскорбительным для Карасиного уха смехом.

— Жирная скотина! — проворчал Карась...

Это было началом его раздора с Жирбасом. Этот раздор с каждой минутой развивался сильнее и сильнее при тех случаях, когда Карасю приходилось, как новичку, терпеть разного рода шутки и проделки со стороны своих товарищей.

К Карасю подошел цензор и спросил его:

— *Видал ли ты Москву?*

— Никогда не видал.

— Так я тебе покажу ее.

С этими словами цензор схватил Карасиную голову в свои руки, ущемил ее между ладонями и приподнял новичка в воздухе...

— Ай, пусти! — запищал Карась.

Цензор, потешившись над рыбою, опустил ее на парту. Жирбас опять смеялся. Его рожа для Карася становилась противна.

— Жирная харя! — сказал он вслух.

Это нисколько не обидело Жирбаса. Он только пуще захохотал. Карась нашел, что благоразумнее будет, если он и на этот раз смирится, — иначе его досада только усилит насмешки соседей.

Но вот спустя немного времени подходит к Карасю какой-то верзила. Строгим начальницким тоном он отдает ему приказ:

— Ступай на первую парту. Видишь, там сидит большой ученик. Ты спроси у него *волосянки.*

Карась повинуется.

— Дай *волосянки,* — говорит он, подходя к указанному ученику.

— Изволь, сколько хочешь, — отвечает тот и, вцепившись в волоса несчастного Карася, начинает трепать его очень чувствительно... Карась пищит, на глазах его слезы.

Вернувшись на свое место, он слышит новый смех Жирбаса. Рожа этого соседа делается для него ненавистна.

— Вот тебе! — говорит озлившаяся рыба и дает толчок по боку соседа.

Но и это не действует на Жирбаса.

— *Чкни* еще, — говорит он, подставляя другой бок, а сам заливается обидным смехом.

— Свинья, — приветствует его Карась и отворачивается в сторону с твердым намерением не говорить ни слова с соседом.

Карась сидит насупившись. *Смазь, бутылочка, Москва, волосянка* показались ему очень солоны... Он опасается, чтобы еще не провели его на чем-нибудь. К нему подходит один второкурсник. Карась смотрит на него подозрительно...

— Что, бедняга, тебя обижают? — говорит второкурсник ласково...

Карась отвечает на этот вопрос сердитым взглядом.

— Они новичков всегда обижают, — продолжал второкурсник. — Ты мне скажи, если кто тебя тронет.

Карась пойман был на ласковое слово...

— Чего они лезут ко мне, — проговорил он жалобно, — ведь я их не трогаю?..

— Теперь ничего не бойся: я заступлюсь...

— Заступись, брат...

Второкурсник сел подле него и стал расспрашивать, откуда он, где его отец, есть ли у него мать, братья и

сестры. Карась доверчиво раскрыл пред новым знакомцем свою душу: его приветливость была очень кстати и вовремя для огорченного Карася...

— Хочешь булки? — сказал он, развязывая узелок...

Второкурсник не отказался и стал еще ласковее.

— Давай, я тебе штуку покажу, — говорит он... — Напиши: *«я иду с мечем судия»*.

Карась написал.

— Читай теперь сзаду наперед, от правой руки к левой.

И от правой руки к левой выходит: *«я иду с мечем судия»*.

Это очень понравилось Карасю...

— Подожди, я тебе еще покажу штуку, — говорит второкурсник.

Он отлучился куда-то ненадолго и, вернувшись, опять садится подле Карася...

— Напиши, — говорит, — *«лей воду, лей; ей-богу, не скажу я никому»*.



Карась, в надежде, что еще увидит что-нибудь вроде «судии с мечем», взял карандаш и написал, что требовалось.

Но едва успел он кончить последнее слово, как второкурсник окатил его водою из ковша, который он держал за спиною. Мокрый Карась понять не мог, что это значит.

— Это еще что? — спросил он.

— Сам, — отвечал второкурсник, — дал расписку, что никому не скажешь...

— Ах ты подлец, подлец...

Но подлец лишь только смеялся. Отвратительный Жирбас вторил ему. Карась был унижен и оскорблен. Он не вынес смеха Жирбаса и, увлекшись злобой, довольно сильно ударил его по шее... Но, казалось, Жирбас был неуязвим. Он после удара, схватившись за живот, раскатился пущим смехом... Карась стиснул зубы и, закрыв лицо руками, сбирался плакать.

В то время проходил мимо его *Силыч*, парень лет осьмнадцати, товарищ ему, десятилетнему мальчугану. Силыч остановился около Карася, положил на его плечо руку, а другою ни с того ни с сего сильно ударил в его спину. Дух замер в Карасе, потому что удар пришелся против сердца. Он со стоном еле поднял свою голову.

— За что? — спросил он...

— *Так себе,* — ответил Силыч...

И действительно, Силыч, человек, как увидим далее, добрый, сам не знал, зачем сделал подобную гадость. Он ударил не по злости, не для потехи, не потому, что рука затеклась кровью и просила моциону, а именно *так себе,* бессознательно, как-то само ударилось, нечаянно... Он спокойно пошел далее, а Карась наконец не вынес и зарыдал...

Жирбаса при этом прорвало неудержимым смехом...

— Что, голубчик, верно, не едал еще таких штук...

В Карасе вспыхнула вся злость, накопившаяся в продолжение занятных часов...

— Подожди же, жирная тварь, — проговорил он, и с этими словами он, схватив в одну руку линейку, а в другую довольно толстую книгу, принялся отработывать Жирбаса — линейкой по бокам, а книгою по голове. Жирбас был старше Карася и сильнее, но оказался трусом. Он и не думал, в свою очередь, сделать нападение.

— Ай да новичок! — одобряли Карася.
— Молодчина!
— Ты корешком-то его!
Карась послушался доброго совета, повернул книгу корнем вниз и влепил ее в темя ненавистного Жирбаса.
— Браво!
— Хлестко!
— Свистни еще его!
Карась послушался и этого совета...
Наконец Жирбас вырвался из его рук и, закричав: «Я смотрителю пожалуюсь», скрылся за дверями.
Расположение товарищей к Карасю переменилось по уходе Жирбаса.
— Попался, голубчик! — говорили ему.
— Так что же?
— А то, что накормят *березовой кашей!*
Карась струсил, но, не желая обнаружить этого, проговорил храбро:
— Пусть кормят! — а сам думал: «Неужели меня в первый же день отпорют? только это не хватало!»
Чрез несколько минут Карася позвали к смотрителю, и, действительно, *в первый же день* крещения в бурсацкую веру он получил помазание в количестве пяти ударов розгами, причем ему было внушено: «Только на первый раз к тебе снисходительны; вперед будем драть больнее!» Соображая, в каком размере должна усилиться порка в будущее время, он в горьком раздумье возвращался в класс...
— Ну что? — спрашивали его товарищи...
Карась, опять не желая показаться трусом, отвечал:
— Отодрали — вот и все.
— И тебе нипочем?
— Дери сколько хочешь — мне все одно!
— Э, да ты молодец! — похваливали его товарищи.
Карасиное самолюбие ощутило приятное щекотание, и он продолжал врать:
— Меня хоть пополам раздери, не струшу!
— Полно, так ли?
— Ей-богу, мне нипочем.
— Ах ты поросенок, — осадил его один из второкурсников, — а дирали ль тебя *на воздусях?*
— *На воздусях?* — спросил с недоумением Карась...

— Да, ты вот откушай этой похлебки, тогда и говори, что *дерут — ведь не репу сеют*.

Карась, сделавшись на несколько минут предметом общего внимания, думал: «Значит, и мы не из последних?», но эту думу рефлектировала другая: «Что это такое *на воздусях*? что-нибудь слишком жестокое, если меня пугают такой деркой?» Но сила последнего вопроса скоро была ослаблена тем, что он за несколько минут до ужина подслушал мнение нескольких второкурсников о своей личности. Они говорили: «Из новичка, кажется, выйдет добрый парень. Фискалить он не любит, порки мало боится, Жирбасу отлично съездил по голове. Из него выйдет порядочный бурсак, только следует пошлифовать его хорошенько. Мы и пошлифуем его!» Такие речи настроили Карася на доброе расположение духа. Он соображал так: «Все эти смази, волосянки, треухи и бутылочки есть не что иное, как шлифованье. Это меня испытывают они. Значит, надо держать ухо востро!» Он решился показать себя молодцом и уже взыгрался духом, намереваясь заявить среди новых товарищей свой характер, вполне достойный бурсака. «Что такое на воздусях? и какое еще предстоит мне шлифованье?» — когда эти мысли приходили ему в голову, он старался прогонять их тем, что «из него, вероятно, выйдет добрый парень». «Посмотрим, что будет!» — говорил он себе.

Сходил он в училищную столовую, «щей негодных похлебал», поел каши и после молитвы пришел в спальную...

— Ты что?—спросил его брат, по прозванью *Носатый*.

— Меня отодрали, — отвечал хвастливо Карась.

— Уже?

— Эге!

Брат, выслушав подробности дела, одобрил поведение Карася... Но Карась, сообщая брату о том, за что его высекли, не сказал ему о своих слезах, которые были вызваны у него сажанием в бутылочку, смазями, окачиванием воды и затрещинами; в нем начинал развиваться ложный бурсацкий стыд, который запрещает краснеть от лозы.

Карась, главное действующее лицо этого очерка, будет описан нами с особенными подробностями, потому что он во многих характерных событиях училища и се-

минарии принимал деятельное участие и притом прожил в бурсе четырнадцать лет — период, который мы хотим проследить в своих статейках о елейном воспитании. При этом заметим, что мы *лично* и *очень коротко* знакомы с господином, носящим прозвище Карася, и эту правдивую историю пишем с его слов.

Мы сказали, что Карась уже взыгрался духом от той мысли, что он покажет своим новым товарищам свой характер, вполне достойный бурсака, и что потом все пойдет ладно. «Обживемся», — думал он. Но он и не предполагал, что главное горе было впереди. Он не носил имени Карася при поступлении в училище. Это прозвище он получил несколько дней спустя, и оно-то было причиною тех его несчастий, о которых поведем рассказ.

Дело было так.

Не прошло и четырех дней, а Карась начал уже задумываться о доме, скучать и потихоньку от товарищей плакать. Желание его обурсачиться пропало. Все в училище ему казалось гадко и противно. С каждой минутой открывались пред ним гадости, описанные в наших очерках, и он скоро постиг весь контраст между домашним и училищным бытом. Семейная жизнь теперь казалось ему полным блаженством, выше которого нет на свете, бурсацкая — царством бесконечных мучений. Он усиленно всматривался в черную бездну, которая легла между той и другой жизнью... Домой хотелось, домой!.. Теперь самыми счастливыми для него минутами были те, когда он виделся с своими братьями; но он ошибся и в братьях, когда думал, что, поступив в бурсу, он сделается равен им; Карась принадлежал к *приходчине*, на которую старшие классы смотрели свысока и с пренебрежением. С товарищами он не успел сойтись. Тоска грызла Карасиное сердце, и ему приходило не раз в голову: «Не дать ли тягу из училища? — но куда бежать?» В это время Карась и придумал дело, которое показалось ему очень хорошим.

Карась еще дома знал, что в училище так называемым *певчим* не житье, а масленица. В епархиальном главном городе той бурсы, в которую поступил он, было несколько духовных певческих хоров: ученический, семинарский, академический, архиерейский и, кроме того,

два хора при городских церквах. Дисканты и альты (иногда басы и тенора) в эти хоры набирались из учеников. Родители всегда восставали против того, что их детей верстали в певчие. Хоры положительно портили детей.[1] Мальчики теряли учебное время на спевках, *заказных* обеднях, свадьбах и т. п. В прошлом очерке мы приводили факты бурсацкого невежества, но самое глухоголовое невежество царило в певческих хорах. Дельные бурсаки рассказывают, что за *четырнадцать* лет они помнят только *одного* умного человека, бывшего в маленьких певчих, да и тому не удалась жизнь: поступив по окончании семинарского курса псаломщиком в один из университетских заграничных городов, с намерением получить полное образование, он кончил тем, что застрелился. Хоры, делая мальчиков дураками, в то же время развращают их. Присутствуя очень часто на поминках, на которых, как известно, наш православный люд не ест, а лопает, не пьет, а трескает, дети не только видят пьяных, но привыкают и сами пить водку. Равным образом, они нередко бывают при кутежах больших певчих, слышат цинические рассказы о полуведерных, любовных похождениях, картежной игре, о драках и разного рода скандалах. Кроме того, маленькие певчие получают деньжонки, особенно так называемые *исполатчики* — деньжонки идут у них не путем. Чтобы сразу охарактеризовать растлевающую силу хорового быта, представляем читателю следующий факт. В одно время какая-то старая дева, на закате дней своих начавшая похотствовать, приучила к себе маленьких певчих возрастом *от пятнадцати до осьми лет*, шесть человек, и со всеми ими вступила в гражданский брак. Иногда же маленькие певчие употреблялись для того дела, для которого Нерон употреблял Спора. Понятно, что очень легко погибнуть мальчику в певческом хоре.

Карась не знал ничего этого. Он решился поступить в хор. Впрочем, он поступал в учебный хор, в котором хотя тоже баловались дети, но все же не развращались. Поступив в семинарский хор, Карась мог отлучаться из

---

[1] При нашей характеристике хоров должно помнить, что она вполне относится не ко всем им: из них отчасти должно исключить хоры при учебных заведениях, хотя и эти хоры не совсем безвредны, но о них речь будет когда-нибудь после. — *Прим. автора.*

училища два раза в неделю на спевки, причем хоть сколько-нибудь удавалось подышать чистым воздухом; кроме того, в семинарии певчих поили иногда чаем и давали деньги; наконец, певчие состояли под особым покровительством семинарского начальства. Смекнув все это, Карась в то время, когда ему противна стала бурса, поступил в хор; но не смекнул Карась того, что он, несмотря на свой сильный альт, не имел никакого певческого таланта. Это ему дорого обошлось. Лучше бы, и в самом деле, быть ему безгласной рыбой, а не певчим. За постоянную фальшу в пении начали драть ему уши, потчевать пинками, щипками и ударами камертона в голову. Тогда Карась пустился на хитрости. Его сотрудники поют, а он только рот разевает. «Не заметят, — думает, — скажут, что и я пою». Но регента трудно было провести такими штуками.

— Ты, галчон, что только рот разеваешь? — сказал он Карасю.

— Я пою.

— Врешь, каналья.

— Ей-богу же, пою!

Карась перекрестился.

Карась крестится, а его за ухо.

— Пой, шельмец, громче!.. шибче!..

Карась заревел во все горло. Пение вышло так хорошо, что все расхохотались, и сам регент не выдержал. Один же озорник, из маленьких певчих, по прозванию *Лёха*, указывая на мученика пальцем и задыхаясь от смеху, проговорил:

— Ка...ка... ка...ррась...

— И вправду карась... Широкой, как карась, — подхватили другие.

— Его надо в пруд!

Пошла потеха.

Карась не был настолько благоразумен, чтобы обратить дело в шутку. На возвратном пути Лёха дразнил его, и когда они пришли в училище, бурсачки, окружив его, стали кричать:

— Карась!

— Рыба!

— С ершом подрался!

Карась стал браниться; его начали дергать за полы и щипать; тогда Карась принялся за палки и каменья.

Весело стало ученикам; толпа увеличилась. Наконец кто-то сшиб Карася с ног.

— *Мала куча!*

На Карася повалили других, на других третьих, и пошла история.

— Где ты, Карасище? — кричали сверху.

Карасю живот тискали, Карась задыхался, Карась землю ел, Карась плакал...

После долгих усилий он вырвался кое-как и ударился бежать в класс. Бурсаки бросились за ним в погоню. В классе окружили его снова.

— Давайте *нарекать* Карася...

Схватили его за руки и всевозможными голосами, с криком, визгом, лаем, стоном начали кричать в самые уши его:

— Карась, карась, карась!

Гвалт поднялся страшный, и среди него ученики не слышали, как раздался звонок, возвещающий классные занятия. Прошло довольно времени, и уже в соседний класс пришел учитель, знаменитый Лобов, а шум не унимался. Несчастного Карася щипали, сыпали в голову щелчки, кидали в лицо жеваную бумагу. Карась точно в котле варился; он постепенно был оглушен и ощипан. Шутка зашла так далеко, что ему уже казалось, будто из мира действительности он перешел в мир полугорячечного, безобразного сна. Рев был до того невыносим, что Карасю представлялось, что ревет кто-то внутри самой головы его и груди. Начинал он шалеть, предметы в глазах путались, линии перекрещивались, цвета сливались в одну массу. Еще бы минута, и он упал бы в обморок. Но Карася так жестоко щипнули, что вся кровь бросилась в лицо его, в висках и на шее вздулись жилы, и он с остервенением и в беспамятстве бросился на первого попавшегося под руку; пальцы его, вцепившись в волоса жертвы, закостенели.

Дело кончилось крайне омерзительно...

В класс вошел Лобов, которого сбесил шум бурсаков. Все разбежались по местам; лишь один Карась таскал свою жертву, которая, к несчастию, пришлась ему под силу.

— Взять его! — приказал Лобов.

Никто ни с места.

— Взять его!

На Карася бросились ученики большого роста и в одно мгновение обнажили те части корпуса, которые в бурсе служат проводниками человеческой нравственности и высшей правды.

— *На воздусях его!*

Карась повис в воздухе.

— Хорошенько его.

Справа свистнули лозы, слева свистнули лозы; кровь брызнула на теле несчастного, и страшным воем огласил он бурсу. С правой стороны опоясалось тело двадцатью пятью ударами лоз, с левой столькими же; пятьдесят полос, кровавых и синих, составили отвратительный орнамент на теле ребенка, и одним только телом он жил в те минуты, испытывая весь ужас истязания, непосильного для десятилетнего организма. Нервы его были уже измучены тогда, когда его нарекали Карасем, щипали и заушали, а во время наказания они совершенно потеряли способность к восприятию моральных впечатлений: память его была отшиблена, мысли... мыслей не было, потому что в такие минуты рассудок не действует, нравственная обида... и та созрела после, а тогда он не произнес ни одного слова в оправдание, ни одной мольбы о пощаде, раздавался только крик живого мяса, в которое впивались красными и темными рубцами жгучие, острые, яростные лозы... Тело страдало, тело кричало, тело плакало... Вот почему Карась, когда после его спрашивали, что в его душе происходило во время наказания, отвечал: «Не помню». Нечего было и помнить, потому что душа Карася умерла на то время.

— Бросьте его!

С этими словами Лобова кончилось гнусное, лобовское, лобное дело.

В жизни человека бывает период времени, от которого зависит вся моральная судьба его, когда совершается перелом его нравственного развития. Говорят, что этот период наступает только в юности; это неправда: для многих он наступает в самом розовом детстве. Так было и с Карасем. Слышали мы от него мнение такого рода: «Все уверены, что детство есть самый счастливый, самый невинный, самый радостный период жизни, но это

ложь: при ужасающей системе нашего воспитания, во главе которой стоят черные педагоги, лишенные деторождения, — это самый опасный период, в который легко развратиться и погибнуть навеки». Это Карась испытал на себе...

Карась после *нарекания* и порки не мог опомниться и на долгое время потерял способность соображать. На другой день его посетил отец. Лишь только он увидел отца, из глаз его полились слезы. Родное селение, кладбище, дом с садом, семья, домашние товарищи, игры — все это живой картиной встало пред его воображением. Он теперь хорошо понял, как мила домашняя жизнь, которая казалась ему такой простой, и как гнусна бурсацкая, к которой он когда-то стремился.

— Домой хочу, — говорил он, глотая соленую слезу.

Отец его был человек в высшей степени добрый. Ему сделалось жалко сына...

— Тятенька, возьмите меня домой.

— Нельзя, — отвечал отец, — надобно учиться; все учатся, и ты не маленькой... Сначала только скучно, а потом привыкнешь... Ты веди себя хорошо, хорошо и жить будет.

Но отец вдруг прервал свою речь. Он подумал: «Все мы говорим, делаем подобные вещи, но они никогда не утешают их». Отец вздохнул.

— Зачем вы меня отдали сюда?

Сын заплакал.

— Обижают, что ли, тебя?..

Сын ничего не отвечал...

Отец видел, что что-то неладно... Он опять сказал ласково:

— Что же, тебе худо здесь?..

Не только дети, но и взрослые, когда посещает их горе, делаются несправедливы к самым близким людям и друзьям, отплачивая на них свое горе. У Карася появилась досада на своего доброго отца.

— «Зачем меня отдали в эту проклятую бурсу? — рассуждал он, не говоря отцу ни слова. — Зачем меня заперли сюда?.. Отец меня не любит, мать тоже, братьям и сестрам я не нужен... Большие всегда обижают маленьких... Когда так, не хочу домой... пусть их...

мне все одно... Что и дома, когда там все ненавидят меня?.. Им приятно, что я мучусь... нарочно отдали сюда, чтоб меня секли, били, ругали... Отпустят в субботу домой, не пойду домой».

Так рассуждал Карась, а самому страстно хотелось домой. Казалось, тут и раскрыть свою душу перед отцом, но Карась роптал и думал про себя: «К чему? не поможет!» Он решился ничего не говорить отцу, который так и не узнал, какую моральную и физическую пытку перенес его сын в первые дни училищной жизни.

Когда ушел отец, к тоске по родном доме присоединился страх. Карась и не подозревал, что он, сравнительно с большинством новичков, довольно счастливо начал бурсацкую карьеру. Товарищи знали, что он вошел в училище с веселым лицом, а не со слезами, на первую пожалованную ему смазь отвечал ногой в живот обидчика; когда его сажали в бутылочку, давали ему волосянку, показывали Москву, обливали водой, когда бил его Силыч, — он и не думал жаловаться начальству, значит, из него не выйдет фискала; он лихо отколотил Жирбаса, получил в первый же день порку; когда дразнили его на дворе, он хватался за палки и каменья, а не бежал к инспектору; даже во время самого *нарекания* его вцепился в волоса одного бурсака, — все это были факты такого рода, которые внушали уважение к Карасю. Для него скоро бы прошло время, в которое его считали бы новичком и в которое больше всего терпит бурсак; но он потерял способность резюмировать — Лобов отшиб эту способность на время. Не будь Лобова, дело еще пошло бы кое-как. Но в это-то время душевного отупения пред ним и развернулась широкая, бездонная, зияющая пропасть бурсацких ужасов, силу которых он испытал на своей коже, мясе и костях. Карась находился теперь под полным подавляющим влиянием этой силы: мертвая безнадежность, глухое отчаяние легли на его сердце и если бы товарищи продолжали мучить его, а начальники драть беспощадно, не дав отдохнуть для борьбы, он превратился бы или в дурака, или в подлеца. Вспоминая это страшное время, Карась говорит: «Многие честные дети честных отцов возвращаются домой подлецами; многие умные дети умных родителей возвращаются домой дураками. Плачут отцы и матери,



отпуская сына в бурсу, плачут и принимая его из бурсы».

Карась уединился ото всех и замкнулся. Он всех боялся.

Но должно же было разрешиться чем-нибудь это пассивное страдание? Оно могло пока разрешаться только внутренним путем. В душе его проявляется страшная злость и ненависть, однако боящаяся обнаружить себя. Она горячит воображение Карася, и в голове его возникают странные идеи и картины. Он переносится в область фантазии, единственный уголок, где может он приютиться безопасно.

«Хоть поджег бы кто ненавистную бурсу!» — думает он. Эта мысль очень нравится ему, и он быстро доходит почти до образных созерцаний.

Карась представляет себе, как он с зажженной паклей в руках опускается в подвалы училища, строит там огромные костры и, вышедши оттуда, ждет, скоро ли пламень своими огненными языками начнет лизать проклятые бурсацкие гнезда. Злость его видит, как пожар охватил бурсу... трещат, нагибаются, падают стены... разрушаются гнусные классы... горят противные книги и учебники, журналы и нотаты... гибнут в огне начальники и учителя, цензора и авдиторы... С галлюцинационною ясностию стоит перед Карасем нарисованная им картина... Слышит он треск и гром разрушающегося здания, вопль умирающего начальства... «Это кто стонет? — спрашивает Карась. — А! это Лобов корчится на горячих угольях, его придавило бревном, глаз его лопнул, почер-

нели губы, и трескается зверское лицо...» Карась с сладострастным наслаждением любуется своими образами и живет злорадостной мечтательной местью... Нервы его в полугорячечном состоянии; пульс бьет девяноста в секунду; голова горит... Когда в действительности силы связаны, тогда у мальчика с сильным воображением является в неестественных образах гиперболическая месть. Доводя злые мечты до последнего развития, Карась повторяет одно и то же несколько раз, определяя каждую подробность их, каждую мелочь. Но такое психическое состояние не может продолжаться долго; душа утомляется, и начинает незаметно пробиваться здравая мысль. Карась, погруженный в свирепые мечтания, почему-то вдруг вспоминает, как он однажды подшиб нечаянно камнем голубя и потом целую ночь не мог заснуть от мучений совести... Он ясно начинает понимать всю ложь и безобразие своих картин, гонит их прочь, на душе делается пусто и противно, остается одна тошнота от неумеренных и бесплодных мечтаний.

Яркий звонок возвестил час вечерних занятий.

Действительность, от которой он закрывал глаза и затыкал уши, врывалась насильно в сознание, обнаруживая все ребячество его раздраженного воображения. Он сидел в классе, на задней парте, понуря тоскливо голову. Уличенный совестью, он теперь гнал от себя мечты, и, таким образом, ни во внешнем, ни во внутреннем мире не осталось места, куда бы можно было спрятаться, а между тем душа и тело просят деятельности. В этом мучительном состоянии Карась не знает, что и делать. Очень тяжело ему.

«Господи, — думает он в невыносимой тоске, — хоть захворать бы мне!» Это было толчком, от которого развились фантазии в новом направлении. Кроме внутреннего мира, нигде не было приюта. И вот Карась болен... Он при смерти... Родная семья плачет около его постели и прощается с ним до радостного утра... Карась готовится к переходу в вечность... последний час... Но далее мечта сбивается с пути, потому что умирать не хочется. Карасю является Николай-чудотворец, исцеляет его и велит идти спасаться в пустыню... Рисуется ему пустынная, мирная, ангельская жизнь, трудные подвиги, церковные песни, беседы с богом. Из него выходит великий святой... Он получает дар пророчества и чудодействия...

на поклонение ему стекаются жители окрестностей... Долгие годы он постится, молится, изнуряет свою плоть, благодетельствует людям, и он уже видит, как господь призывает его к себе, как являются его мощи... как...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Карасище!

Это был голос не с того света, а из бурсацкого мира.

— Ты брат *Носатого*?

Карась видит пред собою страшного Силыча и инстинктивно сокращает свою шею...

«Боже мой, он опять бить пришел меня!» — думает Карась.

— Брат тебе Носатый? — повторяет Силыч...

— Брат, — отвечает Карась, не понимая, к чему идет дело...

— И ладно, коли брат... Теперь ты ничего не бойся... Я за тебя, потому что твой брат мой первейший друг... Жалуйся мне, кто будет обижать тебя... Слышишь?

— Слышу.

Но, вспоминая коварного второкурсника, Карась недоверчиво смотрел на нового покровителя...

— Тише! — закричал Силыч звонким голосом...

Больше ста человек приготовились слушать Силыча со вниманием. Это показывает, какое он имел влияние в классе.

— Встань! — сказал он Карасю.

Карась поднялся на ноги...

— Вот эту рыбу, — обратился он к классу, показывая на Карася, — никто не сметь обижать... Кости переломаю тому, кто тронет Карася...

Карасю стало легко на сердце...

— А ты, Карась, жалуйся мне... Скажи, кто тебя трогал?

— Не знаю...

Он действительно не знал, на кого указать...

— Не бойся; говори, кто тебя обижал?

— Никто не обижал...

— Быть не может...

— Да все обижали...

Это было вернее.

— Кто твой авдитор?

— *Рыжик.*

— Хорошо. Я скажу ему, чтобы он не смел тебя *жучить* (строго выслушивать урок).

— Спасибо, Силыч...

— Будет просить булки, не давай...

— Ладно, Силыч...

— Так слушайте же, — опять обратился Силыч к классу, — беда тому, кто даже пальцем тронет Карася!..

Но на этот раз послышался ответ некоего *Паникадилы*:

— Ну, не велика еще беда...

Силыч посмотрел в ту сторону, откуда слышался голос. Он ничего не отвечал, а только сердито сжал кулак...

— Не бойся, — сказал он Карасю и стал гулять по классу...

Из мира фантазий Карась быстро и охотно перешел в мир действительности. Точно гора свалилась с его плеч... Оглядывая товарищей, он видел, что впечатление, произведенное Силычем, было очень велико... Легко, весело, вольно стало ему. Он начал наблюдать жизнь занятных часов и скоро увлекся ею...

Но он и не подозревал, что сделался теперь предметом раздора между Силычем и Паникадилом...

Кто такое Силыч?

Носатый, брат Карася, до поступления в училище ходил в частную школу, где и познакомился на понюшке табаку с сыном городской вдовы-дьячихи Силычем. Впоследствии они стали друзьями. Оба они поступили потом во второй приходский класс бурсы... Здесь Силыч остался на второй курс — вот почему и встречаем его, осьмнадцатилетнего парня, товарищем Карася и вместе с ним склоняющим «перо, пера, перу», долбящим «един бог», изучающим «сумму» и «разность». Силыч был среднего роста, некрасиво скроен, но крепко сшит и обладал замечательной силой... Он однажды пришел в гости к своему приятелю Носатому. Отправились на реку. Там мужики ловили рыбу. Один из рыбаков сматывал веревку с ворота. «Дядя, — говорит Силыч, — давай я буду сматывать, а ты останови ворот за палку». — «Ты, кутья, должно быть, с ума сошел», — отвечал мужик. «Так верти же хорошенько». Мужик завертел ворот так, что палки его сливались для глаза в один сплошной круг, с каждой минутой усиливая скорость оборотов.

Силыч подставил свою крепкую ладонь, толстая палка ворота влепилась в нее — и ворот остановился неподвижно. Мужик только подивился на него. При таких крепких мышцах Силыч обладал не меньшею и ловкостью. Приходит он еще раз к Носатому в гости. Теперь они пошли гулять в поле, но лишь только стали подходить к забору, как услышали сзади себя голос мужика, который ругался, зачем они траву мнут. Друзья полезли через забор на кладбище; мужик за ними. Силыч смело встретил его. «Что тебе надо?» — спросил он мужика. Тот оказался несколько пьяным и, разгоряченный вином, хотел ударить Силыча. Его рука уже описала полукруг в воздухе, но в то время, когда должен был совершиться удар, Силыч быстро наклонился и прошмыгнул под рукой мужика. После того он выпрямился, встал пред мужиком снова и, скрестив руки, сказал: «Бей еще!» Последовал второй размах, и опять напрасно... Силыч снова встал пред ним и опять сказал: «Бей еще!» И на этот раз мужик не мог поймать своим большим кулаком лицо Силыча. Тогда только Силыч произнес: «С трех раз не попал! теперь держись за землю, а не то упадешь», и с этими словами сшиб мужика с могилы... И вот этакой-то господин заодно с Карасем склонял «перо, пера, перу», долбил «един бог» и т. п. Что же делать? Его поздно отдали в бурсу, и до нее он добывал для матери копейку, справляя службы за дьячков, читая по покойникам, занимаясь славлением Христа, молебнами и обеднями. Будучи учеником, он в семье и среди знакомых принимался как взрослый человек. Силыч был вообще человек добрый. Он никогда не употреблял своих здоровых кулаков на то, чтобы вынудить взятку или добиться от кого-нибудь низкой послуги. Если же он и давал кому затрещину, как, например, Карасю при первом с ним знакомстве, то из этого еще ничего не следует: в бурсе затрещина — все одно, что в лавке мелкая монета. Но поступить под защиту такого господина значило обеспечить себя от всевозможных обид с чьей бы то ни было стороны... Силыч был и не глуп, и не его беда, что так поздно он начал склонять «перо, пера, перу»...

Что такое Паникадило?

Чтобы определить его, надо сказать наперед, что такое *озубки. Озубками* в бурсе называются куски хлеба, остающиеся на столе от обеда и ужина, и притом такие



куски, которые имеют на себе следы чьих-либо зубов. В бурсе есть поверье, что съеденный озубок сообщает силу того, кому он принадлежит. Многие постоянно ели чужие озубки, чтобы сделаться богатырями. Паникадило, великовозрастный ученик, ел их уже несколько лет. Он постоянно бахвалился своей силой, которая действительно была велика. Он со всеми передрался в классе, кроме Силыча. Силыч был для него бельмом на глазу за то, что удержал в своих руках пальму кулачного первенства. Он и боялся Силыча и не хотел верить, чтобы тот смог дать ему трепку. Этот вопрос давно мучил Паникадилу, и он решил, что должно получить на него ответ сегодня...

Карась между тем совершенно успокоился. Он опять сошелся с Жирбасом, который оказался круглым

дураком. «Это не беда!» — подумал Карась и стал играть с ним в трубочисты.

— В которой руке? — спрашивал он Жирбаса...

В это время подошел к нему Паникадило, взял его за воротник сюртука, положил спиной на парту и стал загибать ему салазки...

— Оставь! — кричал Карась.

Паникадило гнул ему ступни за самые плечи.

— Силыч! — завопил Карась...

— Что? — откликнулся тот.

— Заступись!..

Явился Силыч. Паникадило того ждал... Он бросил Карася.

Начались предварительные переговоры.

— Ты зачем, сволочь, трогаешь его?

— А тебе что?

— Не слышал, что я говорил?

— На это ухо глух.

— Значит, вытряски захотелось?

— Ну-ко, тронь!

— А ты думаешь, не трону...

Силыч подвинулся к Паникадиле...

— Задень только, задень...

Паникадило подвинулся к Силычу.

— Слышь, не лезь!

Силыч толкнул Паникадилу плечом...

— Ты не толкайся!

Толчок был отдан обратно...

В такой форме бурсаки, желающие подраться, бросают друг другу перчатку.

Началось плюходействие.

Специалисты сразу же решили: «Намнут Паникадиле бока», и действительно, не прошло пяти минут, как Силыч сидел верхом на Паникадиле, мял его и спрашивал:

— *Живота или смерти?*

— Пусти!.. черт с тобой!..

— Карася будешь трогать?

— Да ну тебя!

— То-то!

Потрясши Паникадилу за шиворот, Силыч отпустил его с миром.

Паникадило, отправляясь на свое место, думал про себя: «Черта с два: эти проклятые озубки ничего не

значат. А впрочем, я, быть может, мало ел их?» И после того он продолжал есть озубки и, быть может, по настоящую минуту кушает их, но более никогда он не решался схватываться с Силычем...

Таким образом, куча плюх, смазей и салазок, тычков, швычков и плевков, зуботрещин, заушений и заглушений пронеслась довольно благополучно над головой Карася.

И опять повторим: не для всех проходят первые дни бурсацкой жизни так счастливо, как они счастливо миновались для Карася... Но ни для кого они не остаются без последствий; не остались без них и для Карася.

Первые впечатления бурсы на Карася были таковы, что не помоги Силыч, то он, как говорит сам, превратился бы в подлеца либо в дурака. Эти впечатления определили главным образом весь дальнейший характер его бурсацкой жизни.

По отношению к начальству он сделался полнейшим, закаленным, пропеченным бурсаком... Главное начало товарищества, ненависть к своему начальству, в нем укоренилось и развилось более, нежели в ком другом. Он получил доучилищное воспитание довольно гуманное и честное, но бурса должна была положить на него свое клеймо. Лобовская порка сделала то, что он после ее никогда уже не мог обращаться со своим начальником просто, спокойно и откровенно. Доверенность к начальству в нем была убита сразу и навсегда. Это главным образом выразилось в том, что он никогда не мог смотреть начальнику прямо в глаза, а всегда исподлобья; никогда не говорил естественным голосом, а заунывным и фальшивым, гробовым и нижнетонным; всегда пред начальником ежился и потому не любил встречаться с ним. Он каждую минуту точно чувствовал себя провинившимся, хотя бы и ни в чем не был виноват. Это странное чувство, заставлявшее держать себя так, не было следствием страха, потому что, как увидим ниже, Карась не был очень труслив, часто решался на дерзости и штуки, на которые решались немногие. Дело вот в чем. Карась положительно сознавал, что он ненавидит бурсу, ее воспитателей, ее законы, учебники, бурсацкие щи и кашу — и в то же время должен покоряться

начальству, улыбаться перед ним, кланяться, а иногда и льстить даже. Держать себя прямо, высказываться без обиняков было нельзя, потому что запорют, и вот Карась навсегда сбычился пред начальством. Тут действовал не страх, а совестливость. Когда сколько-нибудь честному человеку, уважающему свою личность, приходится гнуть спину, гнуть невольно, насильно, неизбежно, под страхом всевозможного заушения, тогда он будет гнуть ее как человек, которого мучит совесть. В Карасе так и устроилось: либо он дерзок с начальником, либо смотрит каким-то чудаком. Многие педагоги, вероятно, чутьем чуют, что они нехорошие педагоги, когда преследуют таких учеников, как Карась, когда они строго говорят ученику: «Смотри прямо мне в глаза, имей лицо веселое и спокойное, отвечай урок твердо и четко!» — «Кто не может смотреть прямо в глаза начальнику, — утверждают такие педагоги, — у того совесть нечиста». Спорить нельзя, что это верно. Как же: ученик сознает ведь, что он должен плюнуть в лицо своего учителя, а вместо того должно улыбаться пред ним: на душе становится скверно, и улыбка выходит странная. Разумеется, Карась и сам не понимал, отчего он и говорит, и улыбается, и кланяется при встрече с начальником не по-людски; он не развился еще до анализа и не мог определить, что тут действовала именно совесть; он это только инстинктивно слышал в себе и уже гораздо позже сознательно разобрал источник своих отношений к властям. Впрочем, изо всего этого никоим образом не следует, чтобы потупленность ученика пред учителем всегда была следствием затаенной ненависти первого к последнему: она может происходить от простой застенчивости. Но мы говорим только о Карасе. Такая замаскированная ненависть Карася изредка разрешалась откровенною с его стороны дерзостью, а без покровов сказывалась очень сильно за спиной начальства, когда гадили ему секретным образом. Правда, и самое гаженье начальству в первые годы не было призванием Карася, но, что увидим из дальнейших очерков, оно впоследствии, когда Карась развился несколько, сделалось его сознательным делом... Сначала, и именно в то время, которое берем, он инстинктивно ненавидел своих педагогов, а после дошел до уверенности, что их следует ненавидеть, обязательно следует. Боязнь и совестливость

пред начальством в дальнейшем развитии его превратились в глубокую, органическую ненависть к нему. Но о втором периоде после. Теперь мы застаем его пока в состоянии этой придавленности и потупленности пред своими бурсацкими пестунами...

Но и в этот период своего развития, когда характер его еще не успел вполне сложиться, Карась стал несколько оригинально к своим властям сравнительно с другими бурсаками, протестовавшими против начальства. Карась занял почти исключительное положение в бурсе. По крайней мере половины вредных условий, имеющих злое влияние на бурсака, для него не существовало. Его человеческое достоинство было защищено простой, грубой, мышечной силой первого богатыря класса, и эта грубая сила спасла его. Ему не пришлось пред товарищами кланяться, льстить, говорить второкурсникам на ночь сказки, давать им деньги и булки, искать в их головах тварей разного рода, чесать пятки, бегать за водой и т. п. В продолжение бурсацкой жизни он только три раза дал взятку — и то подошли особые случаи. Он, под покровительством Силыча, еще будучи новичком, скоро приобрел все выгоды и льготы второкурсника. Четырех лет, пока не исключили Силыча, достаточно было, чтобы привыкнуть Карасю держать себя независимо, он знать не хотел ни авдиторов, ни цензоров, ни старших. Но при таком положении он не воспользовался кулаками Силыча, чтобы угнетать других: его самого чуть не оглушили навеки, он этого никогда не забывал и с тех пор относился к властям из товарищей и к физической бурсацкой силе отрицательно, притом Силыч и сам не любил взяток и утеснений, потому не стал бы помогать в том и Карасю. Карась в редких случаях прибегал к его помощи, большею частию при нужде он сам дрался, и если бывал при этом поколочен, то обыкновенно либо ругался, либо пускал в противника камнем, книгой, линейкой, если же при схватке с более сильным врагом не случалось под рукой оружия, то он употреблял в дело зубы, когти и ноги, то есть кусался, царапался и лягался. Нередко был Карась бит, бивал и других, но все это было в порядке бурсацких вещей — и только. Поэтому-то покровительство Силыча, при таком направлении его, не навлекало на Карася неприязни

товарищей. Многие даже любили его. Испытав на себе горькую участь беззащитного человека в бурсе, он нередко употреблял кулаки Силыча, иногда же свои зубы, когти и ноги в пользу угнетенных. В продолжение последних четырех лет училищной жизни он постоянно был авдитором, часто терпел наказания за преувеличивание баллов — и только раз увлекся взяткой. Постоянный его протест в защиту заколоченных личностей выразился в том обстоятельстве, что он особенно любил дураков. Так, без него совершенно погиб бы *Петры Тетеры*, упоминаемый нами в прошлом очерке. Тетеры, обладавший воловьею силою, по характеру был чистейший теленок. Все его колотили, плевали на него, обирали его. Карась в продолжение полугода защищал его и успел-таки поставить своего Тетеры на ноги, даже до того, что сам однажды получил от него трепку. Карась, не будучи сам дураком, любил глупцов, проводил с ними целые часы, беседовал с ними, играл, делился добром своим, помогал им. В этом, по-видимому, странном явлении выразился тоже своего рода протест против некоторых сторон бурсацкой жизни. Карась был привязан к своему родному дому, но большинство умных бурсаков, к которым он обратился бы со своими интимностями, непременно сделали бы ему смазь, потому что интимности на языке бурсаков носят название *телячьих нежностей*. Ни с кем так не был откровенен Карась, как с дураками, только с ними говорил о родном доме, вспоминал домашнюю жизнь, делил семейные тайны, только с ними был задушевен не по-бурсацки, а по-человечески. Карась, по чувству ложного стыда и боязни насмешек, не только скрывал внутреннюю, самую дорогую для него жизнь, но даже напускал на себя цинизм и сам смеялся над телячьими нежностями, так что это разноречие между внешним выражением и внутренним содержанием составило почти вторую натуру Карася. Но душа требовала отзыва, и Карась окружил себя особого рода дураками. Это род дураков честных, добрых, милых, задушевных. Благодаря бога, таких дураков немало на белом свете. Только в семинарии Карась вступил в дружбу с умными людьми. Но неужели, спросят, в бурсе Карась не нашел ни одного человека умного, с которым мог бы поговорить по душе? Как не найти, но на первых порах он не сошелся с ними, а потом так и пошло на долгое время.

Но всего оригинальнее относился Карась к бурсацкой науке. Поступив в училище, Карась знал более половины того, что требовала программа его класса. Учиться ему было легко. Только «Начатки», которые приходилось *жарить в долбяжку*, составляли для него такую же муку, какую испытывал один древний оратор, набивая себе рот каменьями, чтобы усовершиться в искусстве красноречия, но и то ничего: Карась набивал свой рот дресвой тяжело прогрызаемых «Начаток» очень усердно. По другим наукам он шел в первых, и не хотелось ему из-за одного предмета лишиться видного места в списке. Над чем товарищи просиживали по целому занятию, он приготовлял в полчаса. Но это самое и повредило впоследствии его бурсацкой карьере. У него было очень много свободного времени, и Карась, учась таким образом два года, привык гулять и ничего не делать. Когда перешел он в следующий класс, от него потребовались более усиленные занятия, и притом занятия бурсацкие, требующие особых туземно-специальных способностей, которые и развили в себе товарищи в продолжение двух лет, пущенных Карасем на ветер. Карасю хотелось и тогда гулять по-старому. *Долбежники* скоро обогнали его, он спускался все ниже и ниже, и дело дошло до того, что нотата была осквернена нулем Карасиным. Стали его сечь. «Что ж, — думал Карась, — посечете, да и бросите — самим надоест!» Он неудержимо стремился в Камчатку и, несмотря на розги, достиг своей цели. Здесь лень его развилась до последних пределов. В первый год он по крайней мере носил в класс книги, но на другой бросил и этот, по его мнению, дурной обычай. В сундуке его безобразно были перемешаны между собою клочья порванных вдоль и поперек разных грамматик, арифметик и хрестоматий; писчая бумага шла на беспутное маранье, перья — на свистульки и пушки, заряжаемые картофелем, репою и жеваною бумагою, нож перочинный — для порчи столов и строганья палок. Вначале Карась приходил к своему авдитору каждое утро, чтобы сообщить ему свой ученый нуль, но потом, для сокращения занятий, он объявлял ему ноль на целую неделю; но наконец ему надоело и это — он однажды сказал авдитору: *«Навеки мне ноль!»* Таким образом, Карась очень решительно отрицал и внешние и божественные науки бурсы. Изредка являлось в нем

какое-то темное сознание необходимости учиться, он брался за книжку, но книжка валилась из рук. В одно время двоюродный брат Карася, кончивший курс семинарист, стал требовать к себе нотату и следить за его учением; но Карась нашелся и тут: он сделал другую нотату, свою, и этот документ, с отличными отметками против своей фамилии, отсылал к брату, за что и получал от него гостинцы. Сначала он ленился, собственно, потому, что было ему приятно лениться, но после дошло до того, что его *«навеки ноль»* было возведено в сознательный принцип. Учитель Краснов обратил на него внимание, заставил его сидеть над книгой и в неучебное время, в своей квартире; против системы Краснова не устоял Карась и стал зубрить учебники, но когда его насильно заставили занять второе место в списке, тогда-то и созрел окончательно его бурсацкий *«навеки ноль!»*. Он возненавидел вколоченную в него науку, и она поместилась в его голове как непрошенный гость; значит, в существе дела, он продолжал отрицать ее — разница в том, что прежде он не понимал, что такое отрицал, а теперь, выучив урок, знал, что вот именно этот урок, эти страницы, эти слова ему не нужны. Тогда он стал следить и изучать каждый урок как злейшего своего врага, который без его воли владел его мозгами, и постепенно, с каждым днем открывал в учебниках множество чепухи и безобразия; это развило в нем анализ и критицизм, и впоследствии, отвечая бойко урок, он в то же время думал про себя: «Этакую, святые отцы, я дичь несу». Карась после долгих личных исследований вполне убедился, что бурсацкая наука, изучаемая иначе, может погубить человека и что только при его методе она послужит материалом, поработав над которым как над уродливым явлением, можно, не заразившись чепухой, развить в себе мыслительные способности, анализ, остроумие и даже опытность житейскую. И не догадывались богомудрые педагоги, что многие хорошие ученики относились к их учебникам, как психиатр относится к печальному явлению сумасшествия. Вот чем и объясняется то странное обстоятельство, каким это образом из бурсы выходят так много дельных и даровитых людей, несмотря на то, что они поглощали учение, ставшее посмешищем всех образованных людей. Как, обыкновенно спрашивают, они не погибли, не ошалели и не оглупели,

как сохранились они? Очень просто: в душе их относительно местной науки глубоко укоренился нуль... И да процветает бурсацкое «вовеки нуль!». В нем бурсака спасение. Итак, нуль, вовеки нуль, во веки веков нуль! Аминь, что значит — истинно, или да будет!

Вот вам более или менее подробная характеристика того, что создала из Карася бурса. Отношения его к начальству выразились во всегдашней потупленности, которая была признаком совестливости, рождавшейся от сознания своей ненависти к властям; отношения науки оказались вечным нулем; среди товарищей, исключая последних трех семинарских лет, он не нашел отзыва той стороне своей жизни, которая была всего дороже для него, составляла главный мотив всего его бурсацкого существа, то есть отзыва своей привязанности к дому — и одни лишь дураки были его задушевными приятелями.

Этот-то мотив и был главным двигателем тех похождений и действий Карася, которые мы хотим изложить далее и которые случились на четвертом году его пребывания в бурсе.

Воздух первоуездного класса наполняется странными напевами и голосами.

— *Братие, не дерите платия, а берите нитки и зашивайте дырки,* — читает кто-то на манер чтения «Апостола».

— Не мешай, — говорят ему соседи...

— *Марфо, Марфо, что печалишися и молвиши о мнозе,* — продолжает чтец...

— Замолчишь ли ты, сволочь?

— *Печали и болезни вон полезли.*

— Слушай, скотина, перестань...

— *Ему же дань — дань, ему же честь — честь, а что и за честь, коли нечего есть?*

— Братцы, ударьте его хорошенько!

— *И бысть слышен глас с небесе — тптпру!*

Вдруг чтец замычал — ему сделали очень невкусную смазь. В классе сегодня *обиход церковного пения,* и чтец был наказан за то, что мешал другим петь.

— Я, — говорит *Лапша Голопузу* (оба отличные знатоки обихода), — *шарарахну по нотам.*

— А я, — отвечает тот, — *дергану по тексту.*

— *Валяй!*

— Лупи!

— *Ми-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре,* — запевает Лапша.

— *Все-е-ми-и-и-рну-у-ю,* — аккомпанирует Голопуз каждым слогом в каждую ноту Лапши.

Шарарахнуть по нотам, когда другой певец в то же время дерганет по тексту, и при этом не сбиться — составляло венец церковно-обиходного пения.

К певцам подходит четырнадцатилетний Карась. Лицо его озабоченно; он, по всему видно, ожидает учителя с тоской и страхом.

— Братцы, — начал он...

— Поди прочь, не мешай, — ответил Голопуз.

Но Лапша был добрее.

— Чего тебе? — спросил он...

— Не знаю, как *«Господи, воззвах»* на седьмой глас. Покажи, Лапша.

— Слушай! — И Лапша запел: *«Палася, перепалася, давно с милым не видалася»*. Так же поется и на глас. Ну-ко, попробуй.

— *Господи, воззвах к тебе, услыши мя, услыши мя, господи,* — запел Карась.

— Напев тот, только разнишь сильно...

— А как на пятый глас?

В ответ Карасю Лапша запел:

— *Кто бы нам поднес, мы бы выпили.*

— А как на четвертый?

— Слушай: *«Шел баран: бя, бя, бя»*. Пой!

Карась на новый напев затянул: «Господи, воззвах». Отправляясь на заднюю парту Камчатки, он все твердил: «палася, перепалася», «кто бы нам поднес» и «шел баран». В обиходе церковного пения употребляется 8 гласов, или напевов, на текст «Господи, воззвах»; слова одни и те же, а напевы разные. Это сильно затрудняло бурсаков. Вот аборигены еще бурсы и придумали разные присловья, по образцу которых нетрудно было припомнить, как поется тот или другой глас... Но Карась не был одарен музыкальным ухом, за что давным-давно его выгнали из семинарского хора. Через несколько минут он перепутал напевы. Посмотрел Карась на Лапшу и Голопуза, думая, не пойти ли опять к ним, но, махнув

рукою, оставил это намерение. «Все равно не пойму», — заключил он и печально опустил на ладони голову.

Горек пришелся ему обиход церковного пения.

Странное явление этот обиход. В церковной практике он никогда почти не употребляется. В состав его входят разные духовные песни. Музыка их сильна замогильным какофонием: она до того тягуча, что на один слог текста иногда приходится до семидесяти и более голосовых такт — и всё нижними, заунывными, душу тянущими, тошнящими нотами. И какая филармоническая голова ввела в бурсу и узаконила в ней это обиходно-церковно-мусикийское безобразие? Обиход был обязателен *для всех,* но не все имели голос или верное ухо, — были картавые, гугнивые, заики, имевшие зуб с присвистом — что было делать таким? — ничего: свищи соловьем и воспевай господу славу! Во всем блеске обиходное козлогласование являлось тогда, когда учитель назначал общее пение, хором всего класса, когда «поющими и взывающими» были голосистые и безголосые, даровитые и бездарные: в то время в воздухе совершался террор музыкальный и петый *богородичен* представлялся партитурой из какой-то дикой византийской оперы, партитурой, о которой хочется сказать, что это отрывок из оперы «Заткни крепче уши». Удивляемся только, как не заклепаны уши бурсаков так называемым *столповым* пением? Но характеризуя обиходные композиции, мы должны сказать, что с них тошнило и само начальство, которое, кроме того, понимало, что не все же могли быть певцами, и потому на обиход не обращало внимания, незнание его не служило препятствием для перехода из класса в класс, даже и нотаты не существовало по этому предмету, потому что уроки прекращались иногда на целый год. Но направление бурсацкого образования зависит от главного епархиального начальника, со вкусами которого сообразуются училищные власти, а в то время, которое нами взято, старшим начальником был любитель всевозможной *столповщины,* и вот бурса наполнилась обиходным воем. Одно к одному, и учителем обихода поступил некто Всеволод Васильевич Разумников. Он один преподавал обиход в нескольких классах. Разумников обладал хорошим баритоном, отлично знал ноту и порядочно играл на скрипке.

О Разумникове мы должны сказать несколько слов, потому что он был одним из лучших педагогов бурсы. Мы упоминали о нем в первом очерке как о честном экономе училища. Он учредил должность *комиссара,* выбранного из старших учеников, обязанностью которого было наблюдать за количеством и качеством пищи. Прежде служителя, в заведывании которых находились жизненные продукты, имея каждый по нескольку родственников, содержали их на счет бурсацкого питания; но лишь только комиссар вступил в свои права, он тотчас уличил повара в краже тридцати фунтов мяса и двух мешков гречневой крупы, за что повар был изгнан из училища. По крайней мере третья часть продуктов, прежде похищаемая служителями, была возвращена ученикам.

Кроме того, Разумников никого и никогда не наказывал лишением обеда и ужина, как будто боялся подозрения, что он из экономических[1] расчетов заставляет голодать провинившихся. Он всегда стоял против педагогического изречения: Satur venter non studet libenter.[2] Ученики за это любили его.

Он, кроме того, преподавал «закон божий» и «священную историю». И здесь он пошел далее своих сотрудников. Он запретил носить в класс учебники и отвечать по ним. Рассказав ясно и толково урок, он тут же в классе заставлял повторять его со своих слов. Когда ученик не мог ответить, он заставлял другого растолковывать незнающему; если и этот оказывался плох, он поднимал третьего, четвертого и т. д. Урок учился сразу всеми учениками и оживлялся спорами. Но и после этого многие плоховато знали урок, особенно слабые, а Разумников хотел, чтобы у него все без исключения учились хорошо. Для достижения такой цели он

---

[1] Провинившихся в училище иногда бывало до ста человек сразу. Лишить такое количество, пятую часть всех учеников, обеда либо ужина, очевидно, было *выгодно* в экономическом отношении. Почти все экономы брали это во внимание и старались распространить наказание голодом. И действительно, наказание голодом было немаловажным источником так называемых *остаточных сумм,* из которых начальству даются награды. Скоро ли педагоги убедятся, что голодный ученик так же негоден для науки, как и объевшийся? Не знаем. Только наверное можем сказать, что эту простую истину позже всех поймут экономы учебных заведений.

[2] Сытое брюхо к ученью глухо *(лат.).* — *Ред.*

постановил: *«Авдиторы отвечают за незнание своих подавдиторных»*. Авдиторы выбирались из лучших учеников, успевали хорошо выслушать урок вовремя, и потому они были обязаны учить своих подавдиторных в приготовительные занятные часы. Для устранения случаев, когда ученик, по интриге с авдитором, являлся в класс с нулем, ссылаясь на то, что авдитор не хотел ему помочь, требовалось на то подтверждение со стороны товарищества, иначе незнающий подвергался сугубому наказанию, а авдитор был прав. Такие приемы для бурсы были слишком прогрессивны. Лентяи были уничтожены Разумниковым. Но главное достоинство его нововведений состояло в том, что с ним сама собою падала власть авдиторов и второкурсников, они из притеснителей должны были превратиться в помощников своих подчиненных, из начальников — в их братьев. Таким образом Разумников положил начало к уничтожению подлой власти товарища над товарищем. Он не уничтожил наказаний и даже был очень строг, но все-таки явление такого учителя в бурсе было редкостью, тем более что в описываемое нами время и в других учебных заведениях, а не только в бурсе, царила дремучая ерунда и свинство.

Одно лишь лежит на совести Разумникова — это обиход. Положим, что косноязычных и безголосых он оставил в покое, но держался вредного убеждения, что всякий, имеющий какой-нибудь голос, при старании непременно постигнет нотное искусство. Горше всех пришлось от него Карасю, тем более что у Разумникова была система наказаний особого рода: он наблюдал, на кого какое наказание действует сильнее. Он понял, что для Карася всего хуже неувольнение в родительский дом. Несмотря на то, что Карась доказывал учителю свою бездарность изгнанием его из певческого хора, он ничего слушать не хотел.

Вошел учитель обихода в класс и вместе с учениками пропел звучным голосом «Царю небесный», после чего прямо обратился к Карасю:

— Пропой на седьмой глас...

Уши режет Карась.

Учитель говорит Лапше:

— Покажи ему.

Лапша заливается...

— Повтори, — говорят Карасю.

Уши режет Карась...

— И нынешний праздник не ходи в город...

— Всеволод Васильевич, я уже три недели не был дома...

— И четвертую не ходи...

— Простите...

— А я вот что тебе скажу, — отвечал твердым, безапелляционным голосом учитель, — если ты не выучишься петь, я тебя на всю пасху не отпущу...

Учитель отошел от него.

Карась побледнел и затрясся всем телом. Несчастный Карась. Замечательно широкая глотка, которою он был награжден от природы, служила вечным источником его несчастий. Еще дома ему досталось, когда он закричал на поповну, дразнившую его, так яростно, что его голос был слышен за рекой. В бурсе его нарекли Карасем в тот момент, когда он, по приказу регента, пустил нотку, которая надорвала животы слушателям. Впоследствии, в семинарии, голос его развился до необъятного горлобасия, его выбрали опять в хор, и регент, по прозванию *Капелла* (он же *Редакция*, *Конструкция* и *Мелочная лавочка*), употреблял его как стенобитную машину, как хоровой таран: подойдет крепкая нота, мигнет регент — и рявкнет Карась, а при тихих нотах ему велят молчать, — это оскорбляло Карася. Однажды Карась упражнял свой голос в комнате по соседству с семинарским экономом, он едва не оглушил его громовыми нотами, за что эконом, схватив Карася за шиворот, потащил к ректору и только по доброте своей помиловал его. Инспектор ненавидел его, говоря, что человек, обладающий рыканием льва, должен иметь характер зверский: должно быть, судил по себе, ибо, обладая семипушечным басом, несравненно сильнейшим Карасиного, по натуре был настоящий зверь, за что и получил прозвище не рыбье, как Карась, а звериное, ибо имя его — *Медведь*. Даже по окончании курса Карась, хвативши однажды чарочку-другую и вышедши на улицу, пустил такую руладу, что городовой должен был внушить, что подобные рулады суть не что иное, как нарушение общественной тишины и порядка. Одно из сильных несчастий, причиною которых был голос, посетило его теперь. «С таким альтом, — думал Разумников, — не-

возможно не научиться петь». Неувольнение на Пасху для Карася было глубоким несчастием, которое подвигло его на многие скандальные похождения.

Он от слов Разумникова тихо плакал.

Кому горе, а кому радость. День поступления Разумникова в училище был днем торжества и счастия некоего Лапши... Лапша был чудак, парень шальной и благой. Широкоскулое серого цвета лицо, голова, почти вросшая в плечи, выдавшаяся вперед неестественно грудь и остальная часть туловища, помещенная на коротких ногах, — делали фигуру его в высшей степени странною, попеременно то жалкою, то уморительною. Лицо его освещалось каким-то неразгаданным, постоянно меняющимся внутренним светом: оно сериозно, даже угрюмо, но вдруг Лапша без всякой причины покраснеет, а потом раскатится смехом, и все это совершается в нем быстро и неуловимо. Он при всем этом не был дураком. В лице его вы видите образчик бурсацкой застенчивости, которая особенно развилась от его несчастного безобразия. Не будь этой застенчивости, он, быть может, и не сидел бы в Камчатке. Таков был Лапша. Но он делался совершенно иным человеком, когда пел что-нибудь; значит, талант. Голосок он имел довольно приятный и владел тонко развитым слухом. Всегдашней, самой задушевной мечтой его было иметь свою скрипку и выучиться играть на ней, но мечта так и осталась мечтой: теперь он где-то пастухом монастырских коров и, говорят, отлично играет на рожке...

Подходит к Лапше Карась.

— Что тебе? — говорит Лапша, ежась, двигая плечами и выпячивая свое странное лицо.

— Поучи меня обиходу.

Лапшу медом не корми, а только дай в руки обиход.

— Пойдем. Сначала надо ноты выучить.

Отправились они в Камчатку и затянули «ут, ре, ми, фа» и т. д.

— Не так: надо тоном выше!

Карась усиливается тоном выше.

— Чересчур высоко — теперь ниже надо!

Карась на новый манер.

Долго они упражнялись в церковногласии. Спотели оба.

Но вот Лапша съежился, перегнулся, вытянулся, сделал сначала тоскливую рожу, а потом вдруг поднес к носу Карася кукиш...

— Это что?

— Кукиш!

Лапша после этого захохотал.

— Да что с тобой?

— Не буду учить...

— Голубчик... Лапша...

— Не поймешь ничего...

Лапша убежал...

Остервенение напало на Карася. Он грыз свои ногти и, мигая глазами, усиливался удержать злую, соленую слезу, которая ползла на щеку.

— Когда так, к черту всё!

Он ударил об пол обиходом...

— Проклятое училище! — проговорил он...

Карась начал вести себя неприлично. Если бы не проклятое наказание, Карась от среды до воскресенья провел бы время, мирно почивая на лаврах, но теперь он был раздражен, и жизнь его пошла ломаным путем.

Подходит к нему один из его любимых дураков, бедная Катька.

— Нет ли у тебя хлебца?

— Этого не хочешь ли?

Карась предлагает голодному Катьке туго натянутую фигу. Катька отходит от него печально...

Карась идет развлечься на училищный двор.

— Карасики, пучеглазики! — говорит ему *Тальянец*, второкурсный мужлан старшего класса, ученик с вывороченными ногами.

— Кривы ножки, кочережки! — отвечает Карась...

Тальянец начинает его преследовать.

— На кривых ногах пять верст дальше! — отвечает Карась, пускает в него комом грязи и удаляется опять в класс.

Подходит к нему другой дурак, *Зябуня*.

— Карасик, — говорит он ласково.

— Ты что, животное безмозглое?

— Карасик...

— Поди прочь, пустая башка!

Пустая башка тоже отходит от него печально...

Карась стал несговорчив и несправедлив. Он чувствует это, и его начинает мучить совесть...

— Черт знает какая тоска, — объясняет он приступы совести...

Идет Карась ко второуездному классу, берется за ручку двери и начинает стучать ею: ученики низших классов, не имевшие права входить в высший, так вызывали второуездных. Выходит ученик.

— Кого тебе?

— Тавлю.

— Сейчас.

Вышел Тавля.

— Что тебе?

— Дай в долг.

— Сколько?

— Пять копеек.

— В воскресенье семь.

— Нет, уж после воскресенья, в другое. Я не уволен. Откуда ж мне взять?

— Тогда десять.

Карась задумался на минуту.

— Давай, — сказал он, махнув рукою...

Тавля отсчитал ему пять копеек...

Карась отправился в сбитенную, съел там на три копейки сухарей, а на две выпил сбитню. И угощение не успокоило его. Оно напомнило ему только домашний чай и кофе. Затосковал Карась.

— Боже мой, — проговорил он, — неужли не отпустят меня на пасху? Пойду, попрошу еще Лапшу: не поучит ли? А нет! черт с ними!.. не выучиться мне!..

После этого Карась из пустяков каких-то полез в драку, и хотя пустил в дело зубы, когти и ноги, как обыкновенно, однако его все-таки поколотили. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для Карася не было наказания тяжелее, как неотпуск домой. И вот еще порядочный бурсацкий учитель Разумников не понимал же, что такое наказание гнусно, незаконно и вредно. Не понимают педагоги и понимать не хотят, что они когда запрещают человеку, в виде наказания, переступать порог отцовского дома, то этим самым вгоняют его в скуку, тоску и апатию, подвигают на скандалы разного рода, поселяют к уроку или нрав-

ственному правилу, за которое штрафуют и шельмуют, полное отвращение, лицемерное исполнение и страсть к запрещенному поступку. Неужли такие плоды в видах здравой педагогики? Кроме того, чем виноваты отец и мать, когда они во время праздника, по приговору педагогов, не видят в своей семье сына, часто любимого, часто единственного сына? за что братья и сестры лишаются свидания со своим братом? за что их-то наказывают педагоги? Воскресный день во многих семействах один только и есть свободный день в неделе — к чему же он туманится печалью по сыне или брате? Портить чужой праздник никто не имеет права, это дело нечестное, дело несправедливое. И неужели отец и мать, если они любят своего сына, меньшее могут иметь на него влияние, нежели черствый педагог? Многие педагоги скажут на это: «да». Был же, например, болван, которого мы называли Медведем, семинарский инспектор, который привязанность к родному дому ставил ученику в преступление на том основании, что желающий быть дома не желает быть в школе, значит ненавидит науку и нравственность, проводимые в ней. Диво, что такие черные педагоги, как лишенные деторождения, не наказывали детей за любовь к родителям!

Но таких педагогов скорее прошибешь колом, нежели добрым словом. Бог с ними. Лучше посмотрим, что сталось с Карасем, когда он страдал от мысли, что его не отпустят домой на целую пасху. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Учителем арифметики того класса, где был Карась, был некто Павел Алексеевич Ливанов; собственно говоря, не один Ливанов, а два или, если угодно, один, но в двух *естествах* — Ливанов пьяный и Ливанов трезвый.

Третья *перемена*, которая была после обеда, назначалась для арифметики... Стоят при входе в класс *караульные*, ожидающие Ливанова. Ливанов входит в ворота училища...

— Каков? — спрашивает один караульный...

— Руками махает, значит того...

— Это еще ничего не значит...

— Да ты не видишь, что он у привратника просит понюхать табаку?

— Именно так... Значит, пишет по восемнадцатому псалму.

Караульные бегут в класс и с восторгом возвещают:

— Братцы, Ливанов в пьяном естестве...

Класс оживляется, книги прячутся в парты. Хохот и шум. Один из великовозрастных, *Пушка*, надевает на себя шубу овчиной вверх... Он становится у дверей, чрез которые должен проходить Ливанов... Входит Ливанов. На него бросается Пушка...

— Господи, твоя воля, — говорит Ливанов, отступая назад и крестясь...

Пушка кубарем катится под парту.

— Мы разберем это, — говорит Ливанов и идет к столику.

В классе шум...

— Господа,—начинает Ливанов нетвердым голосом...

— Мы не господа, вовсе не господа, — кричат ему в ответ...

Ливанов подумал несколько времени и, собравшись с мыслями, начинает иначе:

— Братцы...

— Мы не братцы!

Ливанов приходит в удивление...

— Что? — спрашивает он строго...

— Мы не господа и не братцы...

— Так... это так... Я подумаю...

— Скорее думайте...

— Ученики, — говорит Ливанов...

— Мы не ученики...

— Что? как не ученики? кто же вы? а! знаю, кто.

— Кто, Павел Алексеевич, кто?

— Кто? а вот кто: вы — свинтусы!..

Эта сцена сопровождается постоянным смехом бурсаков. Ливанов начинает хмелеть все больше и больше...

— Милые дети, — начинает Ливанов...

— Ха-ха-ха! — раздается в классе...

— Милые дети, — продолжал Ливанов: — я... я женюсь... да... у меня есть невеста...

— Кто, кто такая?..

— Ах вы поросята!.. Ишь чего захотели: скажите им кто? Эва, не хотите ли чего?

Ливанов показывает им фигу...

— Сам съешь!

— Нет, вы съеште! — отвечал он сердито.

На нескольких партах показали ему довольно ядреные фиги. Увлекшись их примером, один за другим ученики показывают своему педагогу фиги. Более ста бурсацких фиг было направлено на него...

— Черти!.. цыц!.. руки по швам!.. слушаться начальства!..

— Ребята, *нос* ему! — скомандовал *Бодяга* и, подставив к своему носу большой палец одной руки, зацепив за мизинец этой руки большой палец другой, он показал эту штуку своему учителю... Примеру Бодяги последовали его товарищи...

Учителя это сначала поразило, потом привело в раздумье, а наконец он печально поник головою. Долго он сидел, так долго, что ученики бросили показывать ему фиги и выставлять носы...

— Друзья, — заговорил учитель, очнувшись...

Господа, братцы, ученики, свинтусы, милые дети, поросята, черти и друзья захохотали...



— Послушайте же меня, добрые люди,— говорил Ливанов, совсем хмелея...

Лицо его покрылось пьяной печалью. Глаза стали влажны...

— Слушайте, слушайте!.. тише!..— заговорили ученики.

В классе стихло.

— Я, братцы, несчастлив... Я женюсь... нет, не то: у меня есть невеста... опять не то: мне отказали... Мне не отказали... Нет, отказали... О черти!.. о псы!.. Не смеяться же!

Ученики, разумеется, хохотали. Пьяная слеза оросила пьяное лицо Ливанова... Он заплакал...

— Голубчики,— начал он,— за меня никто не пойдет замуж, никто не пойдет...

Рыдать начал Ливанов.

— У меня рожа скверная,— говорил он,— пакостная рожа. Этакие рожи на улицу выбрасывают. Плюньте на меня, братцы: я гадок, братцы...

— Гадок, гадок, гадок,— подхватили бурсаки...

— Да,— отвечал их учитель,— да, да, да... Плюньте на меня... плюньте мне в рожу.

Ученики начинают плевать по направлению к нему.



— Так и надо... Спасибо, братцы, — говорит Ливанов, а сам рыдает...

У Ливанова была не рожа, а лицо, и притом довольно красивое, ему и не думала отказывать невеста, к которой он начал было свататься, напротив — он сам отказался от нее.

Спьяна Ливанов напустил на себя небывалое с ним горе. Со стороны посмотреть на него, так стало бы жалко, но для бурсаков он был *начальник*, и они не опустили случая потравить его.

— Братцы, — продолжал он, — я отхожу ко господу моему и к богу моему... Я вселюсь...

— Смазь ему, ребята! — крикнул Пушка.

— Что такое? — спросил Ливанов...

— Смазь...

— Что *суть* смазь?

— А вот я сейчас покажу тебе, — отвечал Пушка, вставая с места...

— Не надо!.. сам знаю... Сиди, скотина... Убью!.. Ах вы, канальи!.. Над учителем смеяться!.. а? — говорил Ливанов, приходя в себя... — Да я вас передеру всех... Розог! — крикнул он, совсем оправившись...

В классе стихло...

— Розог!

— Сейчас принесу, — отвечал секундатор.

— Живо!.. Я вам дам, мерзавцы!..

Хмель точно прошел в Ливанове. «Что за черт, — думали бурсаки, — неужли в другое естество перешел?» Но это была минутная реакция опьяненного состояния, после которого с большею силой продолжает действовать водка, и когда вернулся в класс секундатор, то он увидел Ливанова совершенно ошалевшим. Ливанов, стиснув зубы и поставив на стол кулак, смотрел на учеников безумными глазами...

— Розог, — сказал он, однако, не забывая своего желания...

— Что, Павел Алексеич? — отвечал секундатор, смекнув, как надо вести себя...

— Розог...

— Все люди происходят от Адама... — говорил ему секундатор...

— Так, — отвечал Ливанов, опять забываясь, — а роз...

— Добро зело, то есть чисто, прекрасно и безвредно...
— Не понимаю, — говорил Ливанов, уставясь на секундатора.
— Я родился в пятьдесят одиннадцатом году, не доходя, минувши Казанский собор...
— Ей-богу, не понимаю, — говорил Ливанов убедительно...
— Как же не понять-то? Ведь это написано у пророка Иеремии...
— Где?
— Под девятой сваей...
— Опять не понимаю...
— Очень просто: оттого-то и выходит, что числитель, будучи помножен на знаменатель, производит смертный грех...
— Ты говоришь: грех?
— Смертный грех...
— Ничего не понимаю...
— Всякое дыхание да хвалит...
— Что хвалит?.. скотина!.. винительного падежа нет в твоей речи!.. черт ты этакой!.. По какому вопросу познается винительный падеж?
— По вопросу «кого, что?»
— Так кого же хвалит? что хвалит? черт ты этакой, отвечай!
— Черта хвалит.
Ливанов посмотрел на него злобно...
— Ты это сериозно говоришь? — спросил он.
— Вот тебе крест.
Ученик перекрестился.
— Ты мне сказал «тебе»?
— Я, тебе, мне, мною, обо всех...
— Уйди!.. убью! — отвечал, озлившись, Ливанов. — Прошу тебя, уйди!.. Я в пьяном виде не ручаюсь за себя...
— Он ушел, — говорит ученик...
— Он?.. Что мне за дело до него?.. ты-то уйди!.. Черт же с тобой, скотина, — говорит опьяневший педагог, стуча по столу кулаком... — Не хочешь уйти? Так я же уйду... Я пьян... Я уйду...
Учитель после этих слов неожиданно встает со стула и направляется к двери. Его провожают хохотом, криком, визгом и лаем...

— Это всё пустяки, — говорит он, — в жизни всё пустяки, — и выходит на лестницу...

Лишь только он ступил на первую ступеньку, как тот же секундатор, следивший за ним, схватил его за ногу. Пьяный педагог полетел с лестницы вниз головою. Счастье его, что он не переломал себе ребер...

— Оступился, черт возьми, — говорил перепачканный учитель, вставая на площадке, у которой кончалась лестница.

Подле него уже очутился секундатор, дернувший его за ногу...

— Вы, кажется, замарались? — спрашивает он. — Позвольте, я вас почищу.

— Не надо, друг мой, вовсе не надо... Всё пустяки...

Учитель наконец ушел домой.

Вот каков был Павел Алексеевич Ливанов в пьяном естестве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Описанная нами сцена была в четверг. В субботу Ливанов явился в трезвом естестве. Ученики держали себя, как и Ливанов, иначе — прилично, разумеется прилично по-бурсацки. С Ливановым, когда естество его переменялось, из пьяного переходило в трезвое, шутить было опасно. Вообще Ливанов был не дурной человек; хотя как учитель не выдавался из среды своих товарищей; но по крайней мере он не запорывал своих учеников до отшибления затылка... Лобов, Долбежин и Батька были представителями террора педагогического, Краснов и Разумников — представителями прогрессивного бурсацизма, а Ливанов был какая-то помесь тех и других: иногда строг до лобнических размеров, иногда добр бестолково. Во всяком случае, не любили шутить с Ливановым, когда он был в трезвом естестве...

Карась не выходил на сцену, когда был пьян Ливанов, но сегодня, когда шутки с Ливановым были опасны, он решился на скандалы...

Хотя Карась сидел в Камчатке и заявил своему авдитору «ноль навеки», но он был все-таки довольно любознательная рыба. Вышел такой случай. Однажды от нечего делать Карась рвал арифметику Куминского; он в этом занятии прошел уже до деления. Тут его злодеяния вдруг прекратились. «Деление? — подумал он. — А ведь я знаю деление... А дальше что?.. Именованные

числа... Это что за штука?.. Сначала узнаю, а потом раздеру...» Остановившись на такой мысли, он стал читать Куминского и без посторонних пособий понял именованные числа. «Дальше дроби — это что такое?» — сказал он. Понял он и дроби... Все это было пройдено им в три приема. Значит, когда захочет человек учиться, то можно обойтись и без розги. «Дальше что? десятичные дроби... Не хочу читать... Довольно». После этого он Куминского обратил в клочья. Задано было о «приведении дробей к одинаковому знаменателю», и хотя у Карася стоял в нотате ноль, однако он знал урок, приготовив его без всякого поощрения и принуждения гораздо ранее, чем требовалось...

Учитель вызвал к доске *Секиру*. Секира, несмотря на то, что был авдитор, путался...

— Дурак, — сказал ему Ливанов...

— Дурак и есть, — подтвердил Карась из Камчатки...

— Кто это говорит? — рассердившись, спросил Ливанов... Ему дерзким показался отзыв Карася...

— Я, — отвечал Карась. — Помилуйте, Павел Алексеевич, не умеет привести к одному знаменателю: ну не дурак ли?

— Ах ты скотина! — закричал Ливанов.

— Помилуйте же, Павел Алексеевич. Я сижу в Камчатке; значит, дурак из дураков, а все-таки «приведение знаменателей» знаю!

— Если же ты не сделаешь мне «приведения», я тебя запорю...

— Запорите...

— К доске!..

Карась вышел и отлично ответил урок...

— Ну, не правду ли я сказал, что дурак он? — говорил Карась, показывая на Секиру. — Даже я умею это сделать.

Ливанов подошел к Карасю и Секире.

— Дай мел, — сказал он Карасю...

— Извольте...

Взявши в руки мел, Ливанов сделал на лице Секиры крупный крест. Делая крест, он говорил:

— Пентюх, перепентюх, выпентюх!..

— Ну, дурак и есть, — подтверждал Карась...

После этого Карась отправился в Камчатку. Развлеченный на несколько минут своим ответом, он, однако, скоро начал скучать. Пришла ему на мысль предстоявшая опасность неотпуска домой на святую. Злость на него нашла, которую он и выместил на грифельной доске, попавшей ему под руки. Сняв с краев ее боковые планки, он хотел обратить их в щепы, но, приложив палец ко лбу, сказал себе: «Подожди, дружище, тут выйдет скрипка». Из трех планок он сделал треугольник, к вершине его прикрепил четвертую, в треугольнике натянул веревочные струны, добыл из розог, лежавших в печке, по соседству его, прут, из которого смастерил смычок, и таким образом устроил нечто вроде цевницы... Это заняло его на время, но в голову его опять приходит мысль о пасхе. «Черти, — думал он, — неужли так-таки и не пустят на пасху?.. Лучше бы пересекли пополам! Сколько хочешь секи, мне все одно». — «Так ли?»— рефлектирует он. «А вот попробуем». Карась берет свою цевницу и начинает водить по ней смычком, то есть розгой...

Раздается на весь класс страшный визг, произведенный Карасем для скандала.

— Кто это? — спрашивает изумленный учитель.

— Я это, — отвечает храбро Карась...

Визг был до того неожидан и неуместен, что учитель растерялся...

— Что это значит?

— Ничего не значит.

— Скотина...

Карась сел спокойно. Учителя поразил этот случай, и потому только он не отпорол Карася...

«Врешь, — думает между тем Карась, — ты меня отпорешь!» — и берет в свои руки цевницу...

Раздается еще сильнейший его визг...

Ливанов на этот раз вышел из себя. Он, озлобленный, бросается к Карасю. Карась же становится коленями на ребро парты...

— Я наказан, — говорит он при приближении к нему Ливанова...

— Стой, скотина, весь класс...

— Буду стоять.

Учитель недоумевает, что сталось с Карасем. Однако мало-помалу он успокаивается.

«Нет, ты меня отпорешь!» — думает Карась...

Берет он в руки цевницу и, водя по ней прутом, производит третий, сильнейший визг...

На этот раз Ливанов совершенно сбесился. Он бросился на Карася с поднятыми кулаками...

— Убью, мерзавец!

Карась струсил, видя разъяренного учителя, и когда Ливанов подбежал к нему, он вскочил на ноги и понесся над головами товарищей, по партам, к двери, за которою и скрылся.

Учитель долго не мог прийти в себя.

Долго ходил учитель по классу. Он был страшно озлоблен и в то же время изумлен. «Понять не могу, — думал он, — что сталось с этим мерзавцем?» Факт выходил своею оригинальностию из ряда обыкновенных фактов, и, должно быть, именно это обстоятельство сделало то, что Ливанов не донес о Карасиных деяниях инспектору. Иначе Карасю пришлось бы целую неделю таскать из своего тела прутья: за подобные его дерзости в бурсе драли жестоко, до того жестоко, что после сечения относили в больницу *на рогожке*. Счастье Карася...

Но Карася все-таки высекли в тот день. Он в озлоблении пошел бить стекла училища, был пойман на этом деле, и хотя призывал всю небесную силу во свидетельство того, что он нечаянно разбил стекло, однако ему *влепили*, как выражается он, около пятидесяти.

Таким образом, наказание Разумникова имело свои добрые последствия: оно бесило только человека, а нисколько не наставляло на путь истины.

Посмотрим, что было после.

Ученики отпускались домой из бурсы по письменным билетикам от двенадцати часов субботы до пяти часов воскресенья. В субботу разошлись ученики, большинство, по домам. Училище опустело.

Карась остался в бурсе.

Ученики в свободное время обыкновенно сидели в спальнях. Карась находился в *Сапоге*. На него напала невыносимая тоска. Он бросился на кровать, покрыл свою голову подушкой и зарыдал. Мы, взрослые люди, на детское горе смотрим очень легко. Разве может ребенок серьезно страдать? Разумеется, большинство читателей

ответит: нет. Между тем бывают детские печали глубокие и сильные, печали, за которые человек не может простить и тогда, когда станет взрослым. Карась в ту минуту, когда лежал на кровати, всех ненавидел. Разве может глубоко ненавидеть ребенок? Может. Если бы не учился человек ненавидеть в детстве, не умел бы он ненавидеть и в зрелых летах. Бурса дала Карасю сильные уроки ненависти, злости и мести — бурса превосходное адовоспитательное заведение!

Для городского, привыкшего проводить праздники дома, самый гадкий день — праздничный день в бурсе.

Карась кое-как дождался всенощного.

Учеников разделили на две партии: одна отправлялась в лаврскую церковь, другая оставалась в бурсе. К первой принадлежали имевшие сколько-нибудь приличную одежду, ко второй оборвыши и отрепыши, которых стыдно было даже бурсацкому начальству пустить на свет божий. Карась остался с отрепышами, потому что был не уволен в город, а таких не пускали в лаврскую церковь.

По звонку в шесть часов вечера оборвыши и отрепыши отправились на домашнюю всенощную в так называемый *пятый номер*, то есть класс под № 5. Это была большая длинная комната, уставленная партами. На передней стене ее висел огромный образ Христа, седящего на престоле; пред тем образом и совершалась всенощная одним из лаврских монахов. Ученики сдвинули парты в одну сторону, к стене. Образовалась довольно обширная площадка, на которой и поместились рядами ученики. По правую руку образа поставили аналой, около которого поместилась *сборная братия*, то есть певчие-любители из оставшихся в бурсе оборвышей и отрепышей.

Карась в детстве был очень религиозный мальчик. Кроме того, на сердце его накопилось очень много горя. Он, лишь только началось всенощное, встал на колени и начал усердно молиться. Содержание его молитвы, как часто случается в детстве, было беспредметное, неопределенное. Он ни о чем не просил, ни на кого не жаловался богу; он, отрешаясь от внешнего мира, стремился куда-то всеми силами своей души. Тепла была его молитва и сильна... Так прошло около полчаса, и Карась с каждым поклоном разгорался духом. Но это благо-

датное настроение было неожиданно нарушено самым пасквильным образом.

Когда Карась кончал усердный поклон, сосед его, дурак Тетеры, сделал ему дружескую смазь. Карася это изумило, а Тетеры, рассматривая свою пясть, в которой сейчас держал лицо Карася, увидел ее мокрою...

— Ты плачешь? — сказал он Карасю...

Религиозный экстаз Карася миновался.

— У тебя слезы? — повторил Тетеры.

Карась озлился, тем более что ему было стыдно своих слез...

— Безмозглая башка, — отвечал он и дал пинка Тетеры.

— Да о чем ты плакал? — спрашивал глупец Тетеры.

— Отстань, осел!

— Скажи же, — допрашивал добродушный глупец.

— Вот тебе!

Карась дал ему очень чувствительный пинок.

— Подлый Карасище, — приветствовал его дурак...

Таким образом, молитвенное настроение Карасиного духа было нарушено. Карасю сделалось просто скучно. Он стал наблюдать религиозность своих сомолитвенников. Ученики любили свой бурсацкий храм более, нежели лаврский, потому что богослужение, которое они совершали, возможно было только в том именно храме, в котором и драли их. Домашняя служба была короче и веселее: ее по возможности сокращали и делали занимательною. Дьячок из учеников, читая псалмы, перебирал слова до того быстро, что слышалось только щелканье языком и губами, а смыслу... смыслу бурсакам и не требовалось... «Бог с ним!..» — говорили они... Для характеристики бурсацкого богослужения мы должны сообщить читателю следующего содержания рассказ. Сидели в горячей бане два купца, один очень жирный, другой так себе и, разговаривали они о духовных делах. «Нет, ты скажи мне, — говорит купец так себе, — что такое дьячок?» — «Известно, что: служитель божий», — отвечает жирный. — «А вот и врешь». — «Что же такое дьячок, объясни!» — «Сейчас объясню, — отвечает задавший вопрос. — Дьячок, — говорит он, — есть дудка, чрез которую глас божий проходит, но... ее не задевает — вот что!» — «Это так, — подтвердил жирный, — ты в самую центру попал». После такого определения читатель

поймет нас, когда мы скажем, что бурсаки во время всенощного были не молельщиками, а чистыми дудками... Но, кроме бестолкового дьяческого чтения, было еще безобразное пение. *Сборная братия* любила *хватить, ляпнуть, рявкнуть, отвести кончик* — эти термины означают громы-гласия бурсы. Поющая и взывающая бурса стоит и подзадоривает тех, у кого хорошо устроены дыхательные мехи и горловые связки... Ревет молящаяся бурса... Но это все еще ничего бы: у нас на Руси в большинстве случаев церковные службы сопровождаются нелепым чтением и аневричным пением, но богомольный русский человек давно привык к тому, и его религиозное чувство все-таки питается во время службы; но этот же отерпевшийся наш богомольный человек, посетив бурсацкую всенощную, непременно возмутится духом. Мы видели, как Карась во время службы смазь получил. Такие явления во время всенощной были очень обыкновенны. Молящиеся толкались, смеялись, плевались... Отрепыши в первых рядах только стояли прилично, а в средине, где ученики были заслонены окружающими их товарищами, играли в карты и *костяшки. Хорь* лазил по карманам. *Чихотка,* второкурсник, спал на тулупе, *Павка*, городской мальчик, не отпущенный домой за леность, учил урок... Смази, щипки, плевки, подзатыльники рассыпались только *несколько* реже и скромнее сравнительно с обыкновенными занятными часами.

Все это в бурсе называлось богослужением . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но не можем удержаться от горячего слова. И не будем удерживаться. Договоримся до конца — благо, время такое подошло, что *можно* говорить и *следует* говорить. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бурсацкая религиозность своеобычна. В бурсе вы всегда встретите смесь дикого фанатизма с полною личною апатией к делу веры. В бурсацком фанатизме, как и во всяком фанатизме, нет капли, нет тени, намека нет на чувство всепрощающей, всепримиряющей, всесравнивающей христианской любви. По понятию бурсацкого фанатика, католик, особенно же лютеранин — это такие подлецы, для которых от сотворения мира топят в аду печи и куют железные крючья. Между тем всякий бурсак-фанатик более или менее непременно невежда, как

и всякий фанатик. Спросите его, чем отличается католик от православного, православный от лютеранина, он ответит бестолковее всякой бабы, взятой из самой глухой деревни, но, несмотря на то, все-таки будет считать своей обязанностию, своим призванием ненависть к католику и протестанту. Но жаль учеников, жаль: если препарировать бурсацкую религиозность, сбросить с нее покрывало, которым маскируется и декорируется сущность дела пред неспециалистом или недальновидным наблюдателем, распутать схоластические и диалектические тенета, мешающие анализировать факт смело и верно, то эта бурсацкая религиозность, знаете ли, чем окажется в большинстве случаев? — она окажется полным, абсолютным *атеизмом*, — не сознательным атеизмом, а животным атеизмом необразованного человека, атеизмом кошки и собаки. Они называют себя верующими, и лгут они: у них и для них не существует того бога, к которому так любят обращаться женщины, дети, идеалисты и люди, находящиеся в несчастии. И что может развить в них религиозное чувство? Уж не *божественные* ли науки, которые зубрят они с проклятием и скрежетом зубовным? Эти-то науки, устилаемые их *сочинителями* дермом с чертоплешинами, и развращают человека. Науки бурсацкие таким писаны диким языком, вымощены таким непроходимым каменьем, что могут произвести в душе человека разве только сыворотку, а никак не возбудить в нем религиозное чувство. Прочитать бурсацкий учебник так же легко, как перекусить толстую веревку. Но попытайтесь перекусить эту веревку, попытайтесь выучить наизусть, слово в слово, буква в букву, всю ерунду бурсацкую и в то же время ухитритесь поверить ей, обратить ее в свое убеждение, «в плоть и кровь», как приказывает своим ученикам один из семинарских педагогов, — тогда, честное слово, вы ошалеете навеки. Но главная причина, настоящая сущность дела все-таки не в каменологии, не в дресвологии, не в тёрнологии туземных наук. Религия, хотя и не проповедуется она в бурсе, как у поклонника Магомета, огнем и мечом, но проповедуется розгой, голодом, дерганьем из головы волос, забиением и заушением. Например, Лобов велит *вознести* ученика *на воздусях*, положить под самый нос его «Закон божий», и в то же время кричит дико: «Учи, сейчас же и учи урок!» Мы

думаем, что бурсацкое начальство, поступая так, постепенно и незаметно, однако самым радикальным путем, направляет миросозерцание своих учеников к полному атеизму. Когда дети начинают подрастать, то из них лишь одни идиоты остаются упорствующими в фанатизме, вынося из бурсы только боязнь черта и ада, да еще ненависть к иноверцам и ученым, а любви к человеку, заповеданной Христом, того чувства и тех начал, которые ныне называются гуманностию, они не получают от бурсы, потому что бурса вечно *аскоченствует*, убеждения ее носят на себе всегда несчастное клеймо «Домашней беседы», этой плевательницы нашей российской духовной литературы. Но при дальнейшем развитии большинство бурсаков, чуя человеческим чутьем неладность своей науки, делается вполне равнодушно к той вере, за которую так долго и так жестоко секли их. Так формируется большинство; но затем остается меньшинство — самые умные люди из семинаристов, цвет бурсацкого юношества... Эти умные бурсаки распадаются на три типа... Одни из них — по направлению своему идеалисты, спиритуалисты, мистики, и в то же время по натуре народ честный и славный, добрый народ. Они во время самостоятельного развития своего, силою собственного, личного ума и опыта, очищают бурсацкую веру, всеченную в их душу, от всевозможных ее ужасов, потом создают новую веру, свою, человеческую, которую, надев впоследствии рясы и сделавшись попами, и проповедуют в своих приходах под именем православной веры. Таких попов и народ любит и так называемые *нигилисты* уважают, потому что эти попы — люди хорошие. Другого типа бурсаки — это бурсаки материалистической натуры. Когда для них наступает время брожения идей, возникают в душе столбовые вопросы, требующие категорических ответов, начинается ломка убеждений, эти люди, силою своей диалектики, при помощи наблюдений над жизнью и природой, рвут сеть противоречий и сомнений, охватывающих их душу, начинают читать писателей, например вроде Фейербаха, запрещенная книга которого в переводе на русский язык даже и посвящена бурсакам, после того они делаются глубокими атеистами и сознательно, добровольно, честно оставляют духовное звание, считая делом непорядочным — проповедовать то, чего сами не понимают, и за

это кормиться на счет прихожан. Это также народ хороший. Вначале этим бурсакам жаль вечности, которую им в качестве материалистов приходится отрицать, но потом они находят в себе силы помириться с своим отрицанием, успокоиваются духом, и тогда для бурсака-атеиста нет в развитии его попятного шага. Эти люди всегда бывают люди честные и, если не вдаются в эпикуреизм, люди деловые, которыми все дорожат. Они, сделавшись атеистами, никогда не думают проповедовать террор безбожия. Самый атеизм они определяют совсем не так, как принято у нас определять его. Вот как они резюмируют свой нигилизм: «В деле совести, в деле коренных убеждений насильственное вмешательство кого бы то ни было в чужую душу незаконно и вредно, и поэтому я, человек рациональных убеждений, не пойду ломать церквей, топить монахов, рвать у знакомых моих со стен образа, потому что через это не распространю своих убеждений; надо развивать человека, а не насиловать его, и я не враг, не насилователь совести добрых верующих людей. Даже на словах с человеком верующим я не употреблю насмешки, а не только что брани, и остроты над предметами, которые дороги для человека, будут допущены мною только тогда, когда дозволяет их мой собеседник, — иначе я и говорить с ним не буду о делах веры. Но, не стесняя свободу совести моих ближних, не желаю, чтобы и мою теснили. Научи меня, если сумеешь? Не можешь, отойди прочь. Я тебя поучу, если желаешь? Не хочешь, и толковать не стану — тогда мое дело сторона. При таких отношениях мы можем ужиться, потому что честный атеист с честным деистом всегда отыщут пункты, на которых они сойтись могут. Что такое атеизм? Безбожие, неверие, заговор и бунт против религии? Нет, не то. Атеизм есть ни более, ни менее как известная форма развития, которую может принять всякий порядочный человек, не боясь сделаться через то диким зверем, и кому ж какое дело, что я нахожусь в той или другой форме развития. А уж если кому она кажется горькою, то приди и развей меня в ином направлении. Если же будете насиловать меня, я прикинусь верующим, стану лицемерить и пакостить потихоньку — так лучше не троньте меня — вот и все!» — Вот какие иногда бывают бурсаки. Этих тоже все любят и уважают, и честный поп, встретясь с атеистом товари-

щем, охотно подаст ему руку, если только он в существе дела порядочный человек. Так и следует. Но бурса из умных учеников своих создает еще род людей, которые, ставши атеистами, прикрывают свое неверие священнической рясой. Вот эти господа бывают существами отвратительными — они до глубины проникаются смрадною ложью, которая убивает в них всякий стыд и честь. Желая скрыть собственное неверие, рясоносные атеисты громче всех вопят о нравственности и религии и обыкновенно проповедуют самую крайнюю, безумную нетерпимость. Беда, если эти рясофорные атеисты делаются педагогами бурсы. Будучи убеждены, что неверие лежит в природе всякого человека, и между тем поставлены в необходимость учить религии, они вносят в свою педагогику сразу и иезуитство и принципы турецкой веры. По их понятию, самый лучший ангел-хранитель бурсацкого спасения — это фискал, наушник, доносчик, сикофант и предатель, а самое сильное средство развить религиозность — это плюха, розга и голод. Терпеть не могут они Христова правила, апостолам данного: «В доме, где не верят вам, отрясите прах ног ваших — и только»; нет, им хочется в христианскую веру напустить туретчины. «Отодрем, — думают они, — человека за погибель души его и стащим потом в царствие небесное за волоса хоть — и делу конец!» Эти рясофорные атеисты развивают в себе эгоизм — источник деятельности всякого атеиста, но который у хороших атеистов является прекрасным началом, а у этих, оскверняясь в их душе, становится гнусным. Они проповедуют яро не потому, что боятся за вечную погибель своего *прихода*, а потому, что боятся вечной погибели своего *дохода*: при каждой проповеди они щупают свои карманы, нет ли в них дыры и нельзя ли дыру, если она есть, вместо заплаты заклеить проповедью. Эти рясофорцы бывают главными прислужниками тех барынь и купчих, которые постоянно ханжат и благочестиво куксятся на Руси; они обирают глупых женщин; кроме того, из них же выходят самые усердные церковные воры и святотатцы. Но, имея широкие карманы, в которых лежат деньги верующих и усердствующих прихожан, не хотят часто шевельнуть пальцем, чтобы помочь какой-нибудь вдове голодающей из их же ведомства — благо свое чрево давным-давно набито ассигнациями. Если в их руки попадает власть,

то они употребляют ее возмутительным образом; если они чувствуют в своих руках силу, то употребляют ее на зло. Например, один знакомый нам литератор напечатал две очень дельных и честных статьи, касающихся духовного вопроса, — так что же? он получил анонимное письмо, в котором говорится, что если он не прекратит своих статей, то его мать, вдова, будет выгнана из казенной квартиры и лишена последнего куска хлеба, а ему, литератору, лоб забреют. Я уверен, что это писал непременно рясофорный атеист, потому что когда к рясофорному являешься с откровенным словом, он против слова поднимается с дреколием. Вот каких господ заготовляет бурса! Но таких господ презирают честные бурсаки, которые считали себя не вправе надеть рясу, и верующее наше духовенство, образованная часть его — добрый поп всегда подаст руку доброму атеисту и с отвращением встанет спиной к своему же сослуживцу, но не верующему в свое призванье. Так и следует. Но пока довольно. Все эти мысли пришли нам в голову по поводу бурсацкого богослужения, которое для Карася началось так благоговейно, потом было прервано смазью, а кончилось тем, что он под конец всенощного играл *в чет и нечет*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кончился для Карася гадкий бурсацкий праздник. «Неужели меня не уволят и на пасху?» — думал он. Страшно сделалось ему. Он знал, что такое в бурсе пасха.

Лучше бы совсем не существовало пасхи в бурсацком календаре. Этот праздник ожидался учениками с нетерпением, все думали встретить в святой день что-то особенное, выходящее из ряду вон; лица торжественные, светлые, добрые; товарищи внимательны друг к другу и ласковы; ни одной нет затрещины во всей бурсе. Хоры после спевки идут в церковь, поют с увлечением и звонко, весело христосуются и после службы возвращаются в бурсу, где и разговляются. Все это очень мило; но вместе с разговеньем улетает из бурсы и праздник. Если бы дали ученикам простую рекреацию, они и справили бы ее, как обыкновенно, но пасха — праздник особенный, и проводить его следует иначе. И вот бурсачки снуют из угла в угол, ищут своего

праздника и найти не могут. Где же он? Затерялся где-то, а вернее всего, оставлен дома, на родине. Поневоле припоминают бурсачки Христов день под родным кровом, все чуют, что не так надо праздновать его, и уже христовский вечер становится невыносимо скучен, на всех нападает тоска и апатия. Прожить целую неделю в таком состоянии — дело крайне тяжелое. Оттого-то Карасю и прописывали бурсацкую пасху вместо казни: на дельное что-нибудь она и не годилась.

Но Карась поклялся, что он во что бы то ни стало отделается от этой казни... Но что же он предпримет?

«Сбегу» — чаще и чаще приходит ему на мысль.

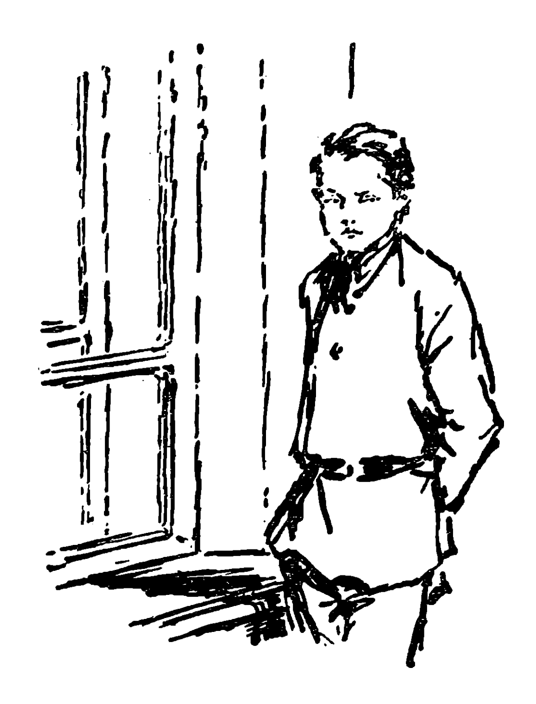
С этой блаженной мыслью он и заснул в тот день.

«Сбегу», — думал Карась, проснувшись, и на другой день поутру.

Эта мысль начинала нравиться Карасю и окончательно укоренилась по поводу одного маленького *бегуна.* Событие было такого рода. Привезли в училище *Фортунку*, деревенского мальчика, едва ли не семилетнего ребенка, который долго скучал по родине. Этот Фортунка, когда ему сделалось очень горько от бурсацкой жизни, ночью задумал совершить бегство. Он предпринял такой подвиг, не зная, где найдет приют, и не имея денег, а только полагаясь на слова песни, певавшейся в училище, в которой говорилось, что однажды шел бедный малютка, он весь перемок и дрожал от холоду, но думал: «Бог и в поле птичку кормит и росой кропит цветы, — и меня он не оставит», и действительно, мальчику попалась навстречу старушка, которая и приютила его у себя... Полагаться Фортунке больше было не на что, но он все-таки встал с своей постельки глубокой ночью на ноги, натянул на себя свою одеждку, завязал что-то в узелок и вышел на двор. «Вечер был, сверкали звезды», как говорилось в приведенной же нами песне. Фортунка полез через забор, вот он уже сидит под открытым небом и думает со страхом, куда ему направить путь. «Но ладно: бог и в поле птичку кормит». Бурсацкая птичка хотела спорхнуть с забора...

— Стой! — услышал Фортунка чей-то грозный голос...

Его сняла с забора чья-то сильная рука и поставила на землю... Пред Фортункой оказался солдат Цепка,



училищный хлебопек, который и поймал его на месте преступления...

— Ты что затеял?

— Ей-богу, ничего не затеивал...

— Пойдем-ко со мной, дружище...

— Прости, Цепа...

— Пойдем, пойдем...

Солдат повлек за собой Фортунку. Он привел его в свою пекарню. Об этом солдате мы уже однажды упоминали как о человеке, несмотря на жесткость и грубость его характера, вообще добром...

— Ты что задумал, а?

— Я только погулять хотел...

— То есть в беги пуститься?.. это с чего?

— Здесь скучно, Цепа...

— Скучно? а инспектор отдерет, так весело станет? И куда ты, этакой мальчишка, пойдешь?

— Домой пойду...

— Ах ты каналья! Где же тебе домой идти?

Однако Фортунка понравился солдату.

— Присядь-ко лучше вот здесь, — сказал он мальчику, — и поешь лепешек с маслом...

Фортунка от ласкового слова повеселел и начал есть данную ему лепешку. Солдат разговаривал с ним о его доме и совершенно приголубил.

— Ну, поел, и ступай с богом спать. И не думай уходить из училища — поймаю...

Фортунка пришел в свою спальную и заснул в ней сном птички божией.

Но на другой день Цепка, несмотря на доброту свою, счел обязанностию донести о попытке дезертира... «Отдеру», — сказал инспектор. Но когда к нему привели Фортунку и он в лице его увидел совершенного ребенка, в котором и сечь-то нечего, тогда инспектор помиловал его...

Но бегство было одним из сильнейших преступлений бурсы. Поэтому замысел Фортунки, хотя и кончился он пустяками, возбудил в училище толки.

— Бегуна поймали, — рассказывали в Камчатке.

— Что же с ним сделали? — спрашивал с любопытством Карась.

— Ничего...

— Неужели?

— Инспектор простил.

«Убегу же и я, — укреплялся в своей затаенной мысли Карась, — ведь не запорют же, если и поймают».

Он стал разговаривать с товарищами о бегунах...

— Много у нас бегунов?

— Есть-таки...

— А ведь плохо им придется...

— И очень даже...

— А правда, — спросил один, — что наши на дровяном дворе *спасаются?*

— Правда, только ты никому не говори...

— Я фискал, что ли?

— То-то. Я сам бывал у них в гостях.

— Как же они живут?

— Отлично живут. В дровах поделали себе келью и спасаются в ней...

— Чем же они питаются?

— Воруют. Вот уже второй месяц живут так... Иногда милостыню просят... Иногда приходят сюда, в училище, и наши дают им хлеба...

— Не выдадим своих, — ответили слушатели с гордостию.

«Убегу и я», — думал про себя Карась и с каждой минутой разгорался духом...

— А что *жених* наш? — спросил кто-то об ученике, упоминаемом в прошлом очерке. — Он никак теперь пятый раз состоит в бегах. Сколько раз его драли за бегство?

— Четыре раза, а все-таки неймется... Отпорют его, он бежит за восемьдесят верст, да пешком лупит. Явится домой, его начинает драть отец, от отца он бежит в бурсу. Отстегают здесь, он опять домой: так и гоняют его розгами с места на место.

«Но ведь не засекли жениха, — ободряет себя Карась, жадно прислушиваясь к речам товарищей, — и я жив останусь».

— Но что жених? Нет, вот бегуны-то: Даниловы...

— И ведь городские еще?

— Да; напишут, бывало, фальшивые письма от родителей, что они оставлены дома по болезни, начальство не беспокоится, дома этого не знают, и Даниловы гуляют себе по городу. Так они однажды гуляли целую треть года...

— А правда, что их однажды поймали вместе с мошеннической шайкой?

— Еще бы. Но потом другие мошенники выкупили из полиции. Они опять долго торговали краденой нанкой и имели большие деньги. Когда же негде было стянуть, нанимались в поденную работу.

— Ай да ну! Но не слышно ли чего о *Меньшинском?*

— Что-то не слышно... А он тоже давно в бегах...

— Вот этот будет почище всех. Помните, как он однажды оборвал у инспектора часовую цепочку и бросился на него с перочинным ножом? Он когда-нибудь зарежет его. То ли еще было с ним: он раз кинулся с ножом на своего отца.

— И все это ему проходит. Отпорют, и только.

— Другому давно бы дали волчий паспорт, а у него покровители есть.

Про Меньшинского говорили правду. Он был примером того, что жестокое воспитание может сделать из человека. Из Меньшинского оно сделало чистого зверя, который не задумался бы под горячую руку и приколоть

кого-нибудь. Долго толковали о нем, предполагая, чем разыграется последнее его бегство. Пред тем, по просьбе отца, его так наказали, что совершенно избитого *на рогожке* отнесли в больницу.

У Карася гвоздем села в голову мысль покинуть бурсу. «Если и накажут, то все же не так, как Меньшинского: я воровать не буду и с ножом ни на кого не брошусь. Пусть секут потом; теперь по крайней мере погуляю». Он стал обдумывать план бегства. И он, предпринимая такое смелое дело, был не много разумнее Фортунки. Но Карась ходил около ворот и выглядывал, как бы шмыгнуть за них: это было дело нелегкое, потому что привратник строго следил за бурсаками и без билета, данного от инспектора, никого не пропускал в ворота.

«Лишь бы только уйти, а там пойду отыщу дровяную келью и присоединюсь к спасенным. Не примут, удеру куда-нибудь — все одно».

Так размышлял Карась, стоя у ворот училища, с твердым намерением исполнить свой замысел.

Но вдруг распахнулись двери училища настежь, и в них показалась телега. Сзади шел священник. Телега остановилась у дома инспектора, к которому и отправился священник. Карась из любопытства заглянул в рогожку, которою был прикрыт экипаж, и невольно попятился назад. Из-под рогожки на него сверкнули два страшных глаза...

— Меньшинского привезли! — закричал он.

В телеге лежал, связанный по рукам и ногам, действительно Меньшинский. Он, убежав за несколько верст, в свою деревню, был накрыт отцом ночью, скручен веревками и отправлен в бурсу. Свободным везти его боялись — непременно убежит снова...

Около телеги образовалась толпа учеников.

— Меньшинский! — говорили бурсаки...

Он посмотрел только со злобой на своих товарищей; он всех их ненавидел в ту минуту.

— Как тебя поймали?

— Связанного так и везли?

— Сорок с лишком верст?

— Убирайтесь к черту, — отвечал он и закрыл глаза.

Появился инспектор, и толпа рассыпалась в стороны.

Через полчаса велено было ученикам собраться в Пятом номере. Туда притащили связанного Меньшинского, повалили его на пол, раздели, два служителя сели ему на плеча, два на ноги, два встали с розгами по бокам, и началось сечение.

Жестоко наказали знаменитого бегуна. Он получил около *трехсот* ударов и замертво был стащен в больницу на рогожке...

Впечатление от этой порки было потрясающее.

«Страшно, — подумал Карась, — бог с ним и с бегством! Лучше на пасху не пойду».

После того у Карася прошла охота бежать.

«Однако на пасху не идти? Нет, как-нибудь да урвусь из бурсы. Завтра обиход, — думал Карась, — решится дело — идти мне на пасху или нет?»

Вот когда сделалось ему страшно. Чем ближе подходил грозный день неотпуска, тем становилось ему тошнее. К чувству ненависти и тоски присоединялось еще какое-то новое чувство: все стало казаться пустяками, зарождалась мизантропия, мрачный взгляд на мир божий. Пробовал он чем-нибудь развлечься — ничего не выходило. Купил он костяшек и стал играть в *юлу*. «Какое нелепое занятие!» — сказал он через несколько минут и раскидал костяшки по полу. Добыл пряник из кармана, стал лакомиться, но скоро и пряник полетел на печку. Пошел к своим дуракам, но дураки только бесили его. В душе Карася начали подниматься вопросы, на которые ни йоты не могли ответить дураки. «Отчего все так гадко устроено на свете? Отчего люди злы? Отчего слабосильного человека всегда давят и теснят? Где всему этому начало? Говорят, дьявол всему причина, он соблазнил людей, но кто же дьявола-то соблазнил? Был когда-то рай на земле, но теперь все гадко на свете: отчего это? откуда?» Дуракам до таких вопросов, разумеется, не было дела. Сновал Карась из угла в угол и сильно волновался, наконец забился он в своей Камчатке под парту, накрыл победную голову шинелью и горько зарыдал. Слезы, однако, мало облегчили его. Он мало-помалу, однако, забылся и, утомленный впечатлениями дня, заснул кое-как. Пробудился

он с головной болью, и первый вопрос опять был о пасхе.

Карась думал, что он с ума сойдет от горя. Но вдруг лицо его стало проясняться, какая-то надежда прокрадывалась в сердце, точно он видел исход из своего положения. Карась решался на что-то и не решался. Но борьба быстро кончилась.

— Не умру же, господи, твоя воля! — проговорил и приступил к занятиям такого странного рода, что человеку, не знакомому с тайнами бурсацкой жизни, мог показаться уже лишившимся рассудка.

Вечер. Занятия кончаются. Скоро ужин.

Карась вышел на двор, отыскал большую лужу, уселся около нее и стал снимать сапоги. Потом, оставшись в одних чулках, принялся бродить по воде, как будто и в самом деле превратился в большую рыбу. После такой операции он надел сапоги сверху мокрых чулков и долго ходил по двору. Хотя уже весенний лед прошел и время стояло довольно теплое, но на дворе по вечерам стояла легкая изморозь. Карась рисковал поплатиться здоровьем; но когда чулки на нем просохли, он опять стал плавать в луже и снова повторил свою проделку. Все это было очень дико. Но Карась не унимался. За ужином он нарочно ничего не ел, хотя не мог пожаловаться на дурной аппетит. После ужина он опять ходил в намоченных чулках. Пришедши в спальную, он намочил холодной водой галстук и надел его себе на шею. Все заснули, а он все ворочался в постели. Когда же стал одолевать сон Карася, он встал с кровати, добыл свои подтяжки, привязал ими себя за ногу к спинке кровати — положение, в котором невозможно заснуть. Он гнал свой сон. Мучил себя Карась добровольно.

Но что все это значит?

«Как бы захворать? — думал Карась. — Завтра меня стащут в больницу; обиход пройдет без меня, и я останусь уволенным на пасху. Не умру же я. Хоть и больного возьмут домой, все же лучше!..»

Вот чем объясняется сумасбродство Карася...

Когда бурсак уходил от какой-нибудь беды в больницу, прятался в отхожих местах, строил келью на дровяном дворе, утекал в лес либо домой, то это на местном языке называлось — *спасаться*.

*Спасающихся* в больнице было немало. Мы видели, что делал Карась, чтобы поселиться в ней. Для той же цели многие развивали на теле чесотку и нарочно не лечили ее, смотрели долго на солнце, чтобы получить куриную слепоту, натирали шею сукном либо накалывали ее булавками, чтобы распухла она, расковыривали страшно свои носы, растравляли на ногах раны и т. п.

Черт бы побрал бурсу, заставлявшую человека прибегать к тем же средствам, чтобы избавиться от нее, к каким прибегают рекруты для избавления от солдатчины, то есть обрубают себе пальцы и рвут вон зубы. Отлично.

Поутру на другой день Карась, бледный, растрепанный, еле держась на ногах, был отведен *старшим* в местную больницу.

Но такое *спасение,* на которое решился Карась, обходилось очень дорого: во-первых, потому, что приходилось рисковать здоровьем, а во-вторых, больница была одним из самых страшных мест бурсы.

Она делилась на два отделения: *чистое* и *чесотное*.

*Чистое* имело в себе комнату под аптекой; потом шли палаты для больных. В палатах на железные кровати были брошены слежавшиеся матрацы, жесткие, как камень, — в них гнездами гнездились клопы и другие паразиты. Комнаты были с линючими стенами, в пятнах, плесени, зелени; пол проеден мышами и крысами. *Чесотное* отделение, находящееся от *чистого* через коридор, в одной огромной комнате, было еще милее: это была какая-то прокаженная яма, кипящая коростой, струпьями и всякою заразою. Подле той ямы находилась кухня, из которой неслась нос рвущая гниль и вонь. Близлежащие ватерклозеты увеличивали впечатление. Содержание больных было очень нездорово. Воздух, при дурной вентиляции, был дохлый, пища скудная и скверная — *габер-суп*, прозванный от бурсаков *храбрым супом*, вместе с *пятибулкой* (булка в пятак ассигнациями), прополаскивая желудок, мало питали организм; белье было грязное и рваное; верхняя одежда тоже, но особенно замечательны были так называемые *саккосы* (древнее слово, означающее вретище, рубище, лохмотьище и одежду смирения), то есть дерюжные,

сероармяжные халаты; при этом строго наблюдалось, чтобы грязный колпак был на голове больного, так что больные сразу казались и нищими и дураками. Лекарства, нечего и говорить, были пустые; мушки, рожки, горчица, ромашка, oleum ricini,[1] рыбий жир, мазь от чесотки да несколько пластырей — вот, кажется, и все; только в крайних случаях решались на что-нибудь подороже.

Ко всему этому фельдшером был некто Мокеич. Он был глух на правое ухо и глух на левое ухо, глуп с фронтона и глуп с затылка, хотя и был человек души доброй. Он был глубоко убежден, что доктора всегда глупее фельдшеров, особенно молодые. Мокеич хвастовался главным образом тем, что у него счастливая рука, и, вероятно, на этом основании пропил аптекарские весы, а после всегда узнавал вес рукою — подтряхнет на ладони какую-нибудь специю, «пол-унце», — говорит и сыплет в банку. Он лечил обыкновенно прислугу училищную и кой-кого из окрестных обывателей, перед которыми и ругал своего доктора.

Бурсаков в такой больнице спасал от смерти служащий при ней Доброволин. Если бы не он, то мором бы морило бурсаков. Ученики, помнящие его, вспоминают об этом человеке с глубоким уважением и любовью. Он обладал отличною ученостью, постоянно следил за наукой и в какие-нибудь три года составил себе огромную репутацию. Кроме того, что он всегда был готов помочь, уже один вид его доброго лица, ласковый, задушевный голос, уменье обойтись с больным оживляли пациента доброй надеждой. Бедные люди во всякое время дня и ночи могли найти его готовым на помощь им: посещая лачугу какого-нибудь бедняка, он приносил ему лекарство, пищу и деньги. Несмотря на то, что он имел богатую практику, Доброволин, вследствие необъятной доброты своего сердца, по смерти оставил капиталу только *пятиалтынный*. Когда газеты напечатали его некролог, то огромное количество почитателей стеклись, чтобы помочь его семейству в несчастии.

Доброволин был духовного происхождения и очень любил бурсаков. Он вел деятельную и усердную войну

---

[1] Касторка (*лат.*). — *Ред.*

с училищным начальством. Но, несмотря на всю энергию свою, ничего не мог сделать в этом несчастном гнезде. Больница осталась страшным местом.

И вот все-таки в это место, полное смрада, нечистоты и болезней, бурсак прибегал, как в древности прибегали люди к священному алтарю своему, искать защиты и спасения. Бурсак в гнусной больнице искал спасения. И знаете ли, что и здесь не всегда ученик избегал зол бурсацких: бывали, хотя очень редко, примеры, что *больных секли*. Да.

Но Карась все выжил, все перенес, лишь бы только бурсацкое начальство не украло у него домашнюю пасху.

Пасху Карась провел дома. Дорогонько она обошлась ему. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вот, господа, как бегают и спасаются наши бурсачки.

*1863*



## Переходное время бурсы

### Очерк пятый

Несколько бурсачков в спальном коридоре играли в жмурки. Один из них, с завязанными глазами и распростертыми руками, ловил товарищей. Игроки то дергали его за сюртук с веселым смехом и шутками, то прятались от него по углам или тихо ходили около него на цыпочках. Наводивший, по прозванию *Копчик*, бежал по направлению заслышанных голосов. Но вдруг стихло все, и Копчик встретил на пути своем неожиданное препятствие, ударившись головою во что-то мягкое, по ощущению похожее на подушку, набитую хорошим пухом. Он схватил руками этот странный предмет. По всем соображениям, в руки попался человек, но что за человек?— такого мягкого, пузатого, шарообразного не было среди играющих. Однако Копчик, не разобрав в чем дело, радостно закричал:

— Ага, попался, голубчик!

Он стал ощупывать круглый предмет, потому что в жмурках недостаточно только поймать кого-нибудь, а следует еще угадать, кто пойман... Но Копчик вдруг услышал над собою грозный голос:

— Сам попался, мерзавец!..

Голос был незнакомый.

— Кто это? — спросил Копчик.

— Я это!

Копчик почувствовал, что в его волоса вцепился какой-то зверь и теперь свирепо таскает его. Он быстро сдернул с глаз повязку и диву дался: он увидел перед собою какого-то человека, очень толстого, круглого и

красного, в корпусе которого по крайней мере две трети пошло на пузо.

— Батюшка, что вы? — говорил изумленный Копчик.

— А вот что!

Незнакомец, оставив волоса Копчика, стал бить его по щекам серыми замшевыми перчатками...

— Ты не узнал своего начальника, каналья?.. Ты не узнал его?.. Так-то вы уважаете власти?

Он продолжал бить Копчика перчатками.

— Шапки долой! — обратился он к другим ученикам.

Те машинально обнажили головы.

— По классам!.. живо!..

Бурсаки мгновенно исчезли. Новый же начальник отправился к инспектору.

— Новый!.. Новый!.. — раздавалось по всему училищу...

Особенно сильное волнение было во второуездном классе, самом влиятельном во всей бурсе.

— Копчика уже успел оттаскать, — говорили в кучках.

— Жирный черт!

— Плешивый!

— Круглее шара!

— Жирнее сала!..

— Мягче воску!

— Легче пуху!

— Чище хрусталю!

— Это не поп, а пуп!

Озлобленные бурсаки ругались и крепко острили.

— А вот еще черта-то посадили на шею!

— А говорил я, братцы, — начал один бурсак, — что лучше *Звездочета* нам не дождаться начальника...

— Что же, Звездочет был, ей-богу, добрый человек!

Звездочетом называли смотрителя, который выходил в отставку. О нем мы редко упоминали в своих очерках. Сила, сдерживающая грозный поток бурсацкой жизни, у нас всегда являлась в лице инспектора. Так было и на деле. Он редко являлся в классы, спальную или столовую; даже на дворе он показывался не часто, стараясь выходить из училища в занятные часы. Он для бурсы был каким-то мифом, высшим существом, которое

таинственно правило судьбами бурсы, являясь ученикам большею частию в образе инспектора и лично почти только что во время экзаменов. Среди учеников ходило много предрассудков и суеверий насчет этой таинственной силы. Его считали в высшей степени ученым астрономом и математиком. Причиною тому было то обстоятельство, что Звездочет однажды за несколько дней объявил своим воспитанникам, что такого-то числа ночью будет лунное затмение, выбрал из них лучших и вместе с ними наблюдал интересное явление природы, объясняя его своим слушателям, которые, разумеется, ничего не поняли из его слов, но это-то именно главным образом и утвердило их в мысли о громадной учености смотрителя. Потом ученики видали, как смотритель по ночам смотрел в зрительную трубу на небо, а днем, закрывшись сторою, направлял ее на окна классов... «Наш смотритель — звездочет», — говорили ученики, соединяя с словом «звездочет» понятие о недостижимой для простого смертного учености. Зрительная же трубка, направленная на класс, производила трепет в учениках. Многие серьезно были убеждены, что Звездочет мог видеть все, что делается в классе, даже сквозь каменные стены. «Есть такие трубки», — говорили они. Были и такие, которые думали, что есть инструменты, посредством которых можно даже слышать, кто и что говорит. Разумеется, либералы бурсы, развившиеся до отрицания шляющихся по ночам мертвецов, домовых и чертей (немало было и таких в бурсе), смеялись над всевидящими и слышащими препаратами, но тем не менее и они верили в бездонную ученость Звездочета и, кроме того, невольно поддавались влиянию того таинственного страха, который распространял вокруг них Звездочет, как будто стараясь поддерживать этот страх. Являясь неожиданно, он всегда озадачивал учеников чем-нибудь чрезвычайным. Так, однажды растворилась дверь класса, в ней показались служителя, несшие черную доску, на доске была изображена «слепая» карта Европы, то есть без надписей гор, рек, городов и проч., города обозначались медными гвоздиками. Ученики в жизнь свою не видали такого дива. Пришел и сам Звездочет. Он стал спрашивать лучших учеников по слепой карте. Ученики, как говорится в бурсе, *ни в зуб толкануть*. Тогда Звездочет стал объяснять им географию России —

*со всеми замечаниями*, то есть рассказывая, чем замечательна та или другая гора, озеро, место, тогда как бурсаки *жарили в долбяжку* одну номенклатуру, но, главное, их поразило, что он тот или другой гвоздик на доске называл каким-нибудь городом, всякую извивающуюся линию рекою и т. д. «Как это помнит он? Как не собьется?» После подобной штуки Звездочет опять скрывался в своем таинственном жилище надолго... Все трепетало при его появлении в класс. Ученики не запомнят случая, чтобы он, когда наказывал сам (чрезвычайно редко), давал более десяти ударов (жестокие порки были делом инспектора), но его боялись несравненно более, нежели инспектора. Эти десять ударов сопровождались обычно непроницаемою таинственностью. Он объявлял ученику какой-нибудь его проступок, о котором никто не знал, кроме провинившегося, и притом проступок его всегда был серьезный, за который инспектор отодрал бы до страшного кровопролития, но тут имела силу уже не физическая боль, а именно то, что высек сам смотритель. Откуда он все знает? Бурсакам хорошо известно было, что у него хранится страшная *черная* книга (упоминаемая нами в первом очерке), в которую вносились все преступления учеников и на основании которой составлялись аттестаты их поведения, но как наполнялась эта демонская книга, в свою очередь клавшая темноту и мрак на лицо Звездочета? Дуракам приходили в голову зрительные и слуховые инструменты. Самые беззатылочные глупцы уверяли, что Звездочет давно продал черту душу, что он по звездам все знать может, и считали его колдуном. Люди поумнее подозревали тут фискальство; но сколько ни следили они за Звездочетом, какие *пластыри*[1] ни употребляли, — и признака и тени фискальства не открыли: оно, как и розги, было в руках инспектора. Все были

---

[1] Когда бурсаки выслеживали фискала, переносящего всю скверную нечистоту бурсы в уши начальника *по ночам*, чтобы скрыть свою подлую службу от товарищества, то они, между множеством средств, употребляли *пластырь гуммозный*, который всегда можно было достать в лазарете. Пластырь кладется по лестнице, ведущей к дверям начальника, и около его дверей. На другой день осматривали сапоги учеников и если на подошве их находили улику, то обыкновенно вели себя по отношению к ним как к несомненным фискалам. — *Прим. автора.*

в недоумении насчет этого обстоятельства. Все располагало к тому, чтобы окружить таинственностью, мраком, чуть не чародейством личность Звездочета. Жил он один, скромно, тихо, женщины никогда его не посещали. Во время экзамена бурсаки видели его, окруженного другими начальниками, относящимися в большинстве тоже с каким-то страхом и все с глубоким почтением... Ходили слухи, что и высшее начальство смотрело на него с уважением и ценило его деятельность. Говорили, что он однажды предложил поднять на воздух здание духовной академии и что поднял бы непременно, только потребовал очень много денег; что англичане изобрели лодку, которая ходит под водой, и что, когда у них дело не ладилось, они, услыхав о великой учености бурсацкого Звездочета, пригласили его, и лодка пошла под водой. Таков был Звездочет по взгляду учеников. Он всегда был загадочен, таинственен, и существование его кончилось для бурсы как-то странно; пришел какой-то пузатый человек, оттрепал ученика и объявил себя не смотрителем уже, а ректором — ректоров до сих пор в училище не бывало. Но что же это был, в самом деле, за человек, заключавший в себе высшую и таинственную силу бурсацкого управления? Не астролог же он был или алхимик, не колдун, не демон, наконец? Ученики его уже по окончании курса узнали, что Звездочет в действительности был очень обыкновенный смертный. Это был человек довольно образованный, хотя подводных лодок и слуховых инструментов и не думал изобретать. Нам кажется, всю таинственность его персоны очень просто объяснить. В описываемые нами времена, при нелепых порядках, существовавших почти везде на Руси, трудно, часто невозможно было служить вполне честно и гуманно. Мы объясняли не раз, что бурсацкая наука и нравственность были до того анормальны, что без жестокостей они не могли быть поддерживаемы в бурсе. Звездочет же был человек добрый и не мог выносить ужасов бурсы; поэтому он среди ее уединился в своей квартире, предоставив все дело инспектору. Этого, разумеется, не могли понять бурсаки. Значит, вся сила в том, что Звездочет попал не на свое место, что он был человек без призвания, а не то чтобы колдун или демон. Он старался как можно менее иметь соприкосновения к бурсе. Вот почему он редко выходил на

сцену в наших очерках, а всегда решителем всех дел являлся инспектор.

Но и этот решитель, сослуживец его, давно вышел в отставку, еще ранее его. Подошли другие времена, настали иные нравы бурсы. Вместе с выходом старого инспектора по крайней мере наполовину уменьшились в училище спартанские наказания, бросили драть *под колоколом,* не заставляли держать кирпич в поднятой руке, стоя на коленях среди двора, нередко в грязи, не ставили коленями на ребро парты, не относили на рогожках жестоко сеченных учеников, начальство реже расшибало зубы и ломало ребра своим питомцам. И самая бурса измельчала и выродилась: прежде по крайней мере наполовину учеников было великовозрастных, теперь их осталось не более десятой части. Бурса прогрессировала по-своему. . . . . . . . . . . . . .

*1863*



# Брат и сестра

*РОМАН*

## ПРИМЕЧАНИЕ[1]

От романа «Брат и сестра» уцелели четыре небольшие тетради, написанные еще в 1862 году, когда у Помяловского только что возникла мысль о романе. В эти тетради автор вносил разные заметки по роману, набрасывал отдельные сцены, характерные черты героев, описания природы и собственные размышления, которые думал вставить в роман. Писал он каждую заметку под отдельной цифрой, в том порядке, в каком они приходили ему в голову, без всякого отношения к предыдущему и последующему. Приводим на выдержку некоторые страницы рукописи:

11) Детство и воспитание должны определять характер героя.

12) Статья, написанная об институте П. О., войдет в роман: «Невинно-падшая» будет искать, куда бы пристроить дочь по своим средствам. Мечта о том, как дочь (*девка*, по общепринятому понятию) будет ничуть не хуже образованных, *невинных* девиц.

13) Разговор французский: сивупле, жеву ли не па и т. п.

14) Девушка — тетка. Тип.

15) Разврат в трех слоях общества: аристократии, среднем сословии и низшем, причем провести мысль, что вся разница между ними в более или менее изящной форме, а сущность одна и та же. Тут же разврат обра-

[1] Это «примечание» (предисловие) принадлежит другу и биографу Н. Г. Помяловского, писателю Н. А. Благовещенскому, который непосредственно после смерти Помяловского опубликовал ряд его неизданных и неоконченных произведений. Благовещенскому же принадлежат подстрочные примечания к «Брату и сестре» и все отрывки, напечатанные петитом. — *Ред.*

зованных людей и необразованных, разврат глупцов и умников, разврат богачей и бедняков, молодых и старых и т. п.

16) Он был по натуре свиреп; прежде бил и дрался жестоко, но, усвоив теоретически гуманные начала, он перешел от свирепости к мрачности, потому что он усиливался быть гуманным, и совесть мучила его за прошлое.

или

57) — Извините, я не курю, но я сейчас пошлю, какой табак вы курите? — Да уж позвольте, я сам пошлю. — Да черт возьми, — взбесившись вдруг, сказал наш приятель, — мы не немцы, что ходят в гости со своей бутылкой пива.

58) Миловидная улыбка женщины? она не рекомендует ее. — Это почему? — Да потому, что мужчине нравится в этой улыбке заискивание, рабство. Ведь и мальчишка-ученичонко бывает миловиден, когда стоит перед учителем и заискивает у него.

И так далее, в этом роде набросан почти весь роман. Тут даже часто встречаются противоречия и невыдержанности, происходящие от неясного еще представления характеров действующих лиц. Встречаются даже переходы автора от действующих лиц к самому себе. Но все эти заметки интересны для нас; они дают нам удобный случай взглянуть на самый процесс авторского творчества и на те материалы, из которых автор задумывал создать роман. Для того чтобы доставить более интереса в чтении, я изложил все заметки по возможности в последовательном порядке и встречающиеся пробелы дополнил собственными вставками. При этом я руководствовался воспоминаниями о рассказах покойного и коротеньким расположением романа, отысканным также между его бумагами.

Несколько раз покойный рассказывал мне в общих чертах главную идею своего романа и несколько частных эпизодов из него. Но, судя по этим рассказам, в рукописи очень многого недостает; так, например, во второй части романа он хотел в картинах выставить жизнь публичных домов, нравы падших женщин и вообще все впечатления, вынесенные им из похождений на Сенной, но этих картин в рукописи нет. Главная мысль романа была следующая: родные брат и сестра вошли в жизнь с потребностями честной деятельности и потерпели полное фиаско. Брат, по природе *плебей* и ярый проповедник разных либеральных идей, набросился на общество с обличениями и пропагандою новой жизни, но, от неуменья взяться за дело, был отринут обществом, дошел до крайних пределов бедности и под конец жизни проклял свои честные стремленья. Сестра, будучи гувернанткой, действовала тем же путем,

держалась нравственности в тесном смысле этого слова и дожила до того, что прокляла свою чистую нравственность. При этом автор думал представить, каким образом, от влияния нашего общественного быта, подленькие мысли незаметно прокрадывались в честные души его героев. Оба эти лица служили нитями, связывающими длинный ряд отдельных типов и сцен, начиная с салонов аристократии и кончая развратными притонами Сенной. Николай Герасимыч говорил, что роман его составит книгу в 30 печатных листов, но нам кажется, что едва ли и в эту рамку он мог бы уместить все, что задумывал. Так как в романе предполагалось много сцен, щекотливых для салонных читателей, то автор думал в начале романа напечатать предисловие к читателю в таком роде:

Мы сочли за необходимое предупредить читателя, что если он слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов, то пусть он не читает мою книгу. Не скажу, чтобы я был циник, но предмет, выбранный мною, циничен часто до последнего предела. Зачем же автор выбирает такие предметы? А вот объяснимся. У нас есть огромный слой общества, целая масса людей, живущая особенною, малоизвестною для так называемого образованного общества жизнью, — это бедный разряд разночинцев. Люди они или нет? Узнаемте же, что это за существа, и разоблачимте гнойную язву нашего — да, *нашего* общества. Доктор изучает сифилис и гангрену, определяет вкусы самых мерзких продуктов природы, живет среди трупов, однако его никто не называет циником; стряпчий входит во все тюрьмы, видит преступников по всем пунктам нравственности, отцеубийц, братоубийц, детоубийц, воров, подделывателей фальшивых бумаг и т. п. личностей, изучает их душу, проникает в самый центр разложения нравственности человеческой, однако и его никто не называет циником, а говорят, что он служит человечеству; священник часто поставлен в необходимость выслушивать ужасающую исповедь людей, желающих примириться с совестью, но и он не циник. Позвольте же и писателю принять участие в этой же самой работе и таким образом обратить внимание общества на ту массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его. Не сразу я решился на это дело, зная хорошо, что у нас общество затыкает глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать горестных звуков из его же жизни. Но найдется же несколько — да, вероятно, и немало — людей, желающих видеть правду голую, неподдельную, взятую из

выводимого нами быта, — для них и пишем. Вперед предупреждаю, что я не обличитель (в этой фразе прошу не искать ничего против обличительной литературы). Дело вот в чем: можно ли человека с отшибленной смолоду головой обличить в том, что он дурак? Можно ли обличать человека, вечно пьющего, но у которого пьянство — болезнь, наследованная от отца, и деда, и прадеда? Рассудите делом. Вполне естественно, что вы с отвращением будете смотреть на такие явления жизни, как с отвращением и нервной дрожью взглянете на глубокую и широкую рану на теле человека, но ведь не ударите же вы его по ране, — вам жалко станет. «Зачем же и заглядывать в рану, — скажете вы, — ведь нам не излечить ее». А, нет! Мы изучим ее: не излечим мы, излечат другие, быть может. Я и не поучаю никого, это тоже ни к чему не поведет в настоящем случае... Вот скажите этому отцу семейства: «Посмотри, до чего ты довел свою семью пьянством, — и голод, и холод, и проч.». Он, быть может, заплачет, горько заплачет от ваших проникнутых любовью речей, представит ясно всю гнусность своей жизни, и знаете, какой будет результат? Раздумавшись и видя бессилие выбиться на добрую жизнь, он махнет рукой, скажет: «Какой я негодяй!.. ох, не могу!.. хоть выпить с горя!» — и потащит в кабак последний салопишко жены. Зачем и тратить слова на поученья? да они и не дойдут до кого касаются, — *там*, в бездне, не читают нас. Будем заявлять только факты и, по возможности, их причину, — из них всякий может делать вывод, какой кто хочет, — наше дело сторона. Мы покажем вам разврат глубокий, невежество поражающее, где не знают, что такое земля, солнце, луна, ветер и т. п., и как скоты смотрят на явления жизни и природы; покажем бедность, до того облежавшуюся, что потеряно и притуплено чувство страдания от нее; покажем забитость неисходную; покажем подлость и низость души закоренелую; покажем язычество этого слоя, неведение основных начал гражданственности и т. п. Полюбуйтесь! Тут будут даже отцы, растлевающие и продающие своих детей. Нет, кому не следует, пусть не читает моей повести.

Первые пять глав романа он приготовлял для январской книги «Современник» 1863 г. и говорил, что у него эти главы вполне написаны и что следует исправить только некоторые шероховатости в изложении. Первую главу, «Соловьи», уже отделанную, он читал

почти всем своим знакомым, но куда девались эти главы и другие записки по роману — неизвестно. Вероятно, он сам затерял их куда-нибудь, потому что с своими рукописями обращался вообще небрежно. За этими исправлениями первых глав печатание романа было отложено, а потом автор вовсе не захотел печатать его. Он был недоволен героем романа и говорил, что на нем очень легко можно провалиться. «Не поймут, пожалуй, — говорил он, — что я хотел выставить эту личность как субъект интересный в психологическом отношении; подумают, может быть, что и автор скорбит, зачем он не подлец!» Впоследствии Помяловский предполагал разбить громадный материал романа на несколько отдельных повестей.

Надо заметить, что помещенный в «Современнике» отрывок «Чебанов» не имеет никакого отношения к разбираемой нами рукописи романа. Н. Г. Помяловский набросал этот отрывок (в течение 3 часов) для литературного чтения уже тогда, когда задумывал сделать кое-какие изменения в романе. В чем состояли эти изменения — сказать не можем.

*1864*



I

На быстрой реке одной из коренных русских губерний есть великолепнейшая роща из дуба, березы, рябины, лип, черемухи, клена и дикой яблони. Сошлись породы русских дерев и стали при воде. Яркий и жаркий май гостит в роще. До десяти соловьев свили здесь свои гнезда; соловьи свищут, и много молодых девушек и юношей потрясают воздух хохотом. Иногда в кустах поцелуй звенит. Комары толпятся, муравьи выползают друг за другом, муха мухе жужжит про любовь и радость, лягушки сладострастно стонут... Цветет черемуха, цветет рябина, цветут яблоня и липа — и отчего это молодая, стройная, одетая майскою зеленью береза так похожа на стыдливую невесту?.. Плодотворная цветочная пыль перелетает из одной кучи ветвей в другую. Рыба идет стадами в воде, трется о каменья и мечет икру... Всякая мышь счастлива, всякая галка блаженствует, у всякой твари бьется сердце радостно. Не только люди, вся сволочь влюблена. [1]

В это время, когда свистали соловьи и звенели в воздухе поцелуи, в семье Потесиных совершалась тайна нарождения человека. — Описание родин. (Из воспоминаний, как у нас родился брат.)

---

[1] Эта картина, как нам известно, была вполне обработана Помяловским. За нею следовало описание великолепного сада князя Кореналова, где в то время шли оживленные игры — молодые люди взапуски бегали за барышнями, а в ближнем овраге происходило несколько романических приключений. Все это затеряно.

Так явился на свет главный герой романа Петр Алексеич Потесин. О родителях его в рукописи говорится не много. Известно только, что они были небогатые помещики, люди набожные, но с дворянским гонором; поэтому они старались поддерживать знакомство с богатыми и знатными соседями, князем Кореналовым и помещиком Шестаковым, куда был вхож и маленький Петя Потесин. Но мальчик не любил почему-то этого общества и проводил время больше с крестьянскими детьми да с своей няней.

В детских годах героя должно показать те влияния, которые создали в его характере честные стремления. Как на своей шкуре, так и на родных он должен был почувствовать весь гнет окружавшей его обстановки. Любя старуху няньку Прасковью, кривоглазую девку, слушая сказки и песни народа, играя с мужичонками в разные игры, он полюбил народ, и тогда уже у него стал складываться особый взгляд на мужика, — он понимал его. Он видел предрассудки и суеверия, бездольную бедность и пьянство, замкнутость и глубоко скрытое в душе ожесточение, но понимал, что первые истекают из положения мужика: ни от кого нет ему защиты, и простолюдин обращается поневоле к разным домовым и лешим; что его никто ничему не учил, и вот он потешается Милитрисой Кирбитьевной; что в вине он топит свое горе. Эта среда переделала натуру Потесина в мужичью; она, по своей сущности, и осталась мужичьей. Он даже разделял тяжелый труд народа... Но он был поставлен счастливее мужика...

Из описаний детских лет героя уцелел следующий отрывок:

Петя сегодня поутру встал довольно рано. По обыкновению, у него без крику не обошлось, однако штаны нашел скоро и надел их благополучно, без крику и брани. Явился к кофе, как водится, без сюртука. Пил кофе в добром расположении духа, а потому, быть может, набивал не в меру рот сахаром, за что и получил замечание, вызвавшее с его стороны что-то среднее между плачем ребенка и овечьим криком. Потом Петя катался на коньках, ушлепал подол шубы, за что и бит достаточно. После обеда рисовал. Рисунки замечательные во многих отношениях. Содержание их из священной истории, в сплошных, одна подле другой, фигурах — от Адама до входа евреев в землю обетованную. Фигур до осьмидесяти было нарисовано не более как в полчаса. Художник рисовал очень быстро. Кончив рисованье, Петя начал

петь «Волною морскою»: вчера только получил он понятие о тактах, полутактах и четвертях нотных и потому возмнил быть великим певцом. В комнате свечей еще не было; он лег на брюхо, лицом к устью топившейся лежанки, и, качая головою в такт, напевал, что бог на душу положит. Потом уселся писать. Писание свое он прятал, очевидно не желая, чтобы кто-нибудь прочитал его. Оказалось, что он излагал свои чувства и мечты относительно науки. Было писано: «Когда я был маленьким (теперь ему 10 лет), тогда я очень весело время проводил. Я, бывало, с Мишуткой да с Андрюшей, Васей, Федей, мы, бывало, играли в лошадки. А теперь хоть со скуки плачь; отдают в училище, а я не пойду в училище, я уйду в деревню. Меня готовят в училище, но я не хочу». На другой стороне клочка было написано: «Петр Потесин не пойдет на экзамен, он уйдет на улицу. Он жить будет где-нибудь в сарае или на постоялом дворе, шатаясь с места на место, как жили прежде славяне, и будет питаться хлебом и квасом и будет просить у бога премудрости. Когда он вырастет, тогда он пойдет в монастырь для благоугождения богу. Если его не примут в монастырь, то он отыщет себе место и там будет проводить время в счастии». У Потесина была большая сумка, в которой он тщательно хранил свои тетрадки, листы и разные клочки бумажные, на которых ему приходилось когда-либо писать. Здесь было много стихотворений; попадались из Сумарокова, Державина, Батюшкова и даже два или три пушкинских; были копии с записок к однолеткам-приятелям и товарищам, ученические тетрадки, картинки, билетики от леденцов и заметки вроде выписанной нами. На одном листике высчитаны все имена, встречающиеся в священной истории, от Адама до Иисуса Навина. Одна тетрадка была под заглавием «Дроби»; в ней ребячьим складом изложено понятие о дробях. На полулисте озаглавлено: «Фокусы и разные хитрости». (Выписки: летело стадо гусей, и проч.) На другом полулисте означено большими буквами: «Кого я не люблю? — французов, зачем Москву сожгли; Ваську дворника, зачем Петрушку бил; Ваню Поспелова, зачем барина корчит; Агафьину свинью, зачем хрюкает; диавола, зачем человека соблазнил; грамматику, зачем трудная», и проч. Под заглавием «Кого я не люблю» потом встречается еще несколько листков. Мы из них сделаем вы-

держки, которые, по нашему мнению, могут характеризовать молодого Потесина. Из них будут видны его детские радости и печали, способности, наклонности, уменье жить и т. п.

При развитии характера Потесина обратить внимание на деревенских барышень и подростков-юношей, играющих в саду в пятнашки, прятки и т. п., где и разгорается молодецкое сердце Потесина, пятнадцатилетнего мальчика.

Из числа знакомых соседей на Потесина имела сильное влияние одна девушка, к которой он почувствовал нечто вроде первой любви, хотя она была старше его летами. Вот история этой девушки.

Елена Павловна уже в шестнадцать лет была девушка почти совсем развитая, высокая, стройная. Она была красавица в полном смысле. Домашнее воспитание не дало ей внешней выправки, но от природы в ее манерах было много оригинального, самобытного, не заученно-светского. В элегантных обществах приняты известные приемы: как держать себя в свете, как поклониться, подать руку, встать, сесть, улыбнуться; у ней были не эти казенные манеры, которые вы встретите в тысячах девиц, — у ней была своя выправка, созданная ею самою. Мать ее была строгая формалистка, испытав неудачную любовь, она хотела отстранить от своей дочери все, что только могло развить в ней страстность и эксцентричность, и морила ее книгами историческими и духовного содержания. Весь день девушки располагался регулярным порядком, для чего было составлено даже и расписание. В шесть часов вставать от сна, умываться и туалет, в семь часов молитва, восемь — прогулка в какую бы то ни было пору года, в какой бы то ни было день ненастный, девять — урок, десять — вышиванье и прочие женские рукоделья, одиннадцать — по хозяйству, двенадцать — чтение, и т. д. Отец был в те времена в полку, и воспитание дочери было в полной зависимости от матери. Она давала дочери полурелигиозное, полусхоластическое, полуспартанское воспитание. Мать себя считала женщиной необыкновенной и думала, что оттого-то она и перенесла так много горя в своей жизни. Все ее усилия были направлены к тому, чтобы из дочери сделать обыкновенную женщину. Где *принято* плакать — плачь, смеяться — смейся, есть — ешь, гулять — гуляй,

Для этого она придумывала странные эксперименты. Так, она прямо говорила дочери: «Лена, я тебя сегодня повезу к Лиминовым; там очень скучно, но я и повезу тебя не для того, чтобы развлечься, а для того, чтобы дать тебе урок: ты должна держать себя там прилично, не показывая и виду, что скучаешь; даже более, ты и скучать не должна, ты приучайся находить удовольствие в сознании, что умеешь держать себя прилично». На склонности Елены Павловны не обращали внимания, и вышло, как всегда бывает, что воспитание на заданную тему не удалось.

Был некий немецкий пастор, филолог; он хотел во что бы то ни стало сделать из своего сына филолога, тогда как у сына была совсем не филологическая натура. Но отец положил весь ум свой, чтобы достигнуть своей цели: для этого он его, еще ребенка, дрессировал сразу по нескольку языкам. После долгих усилий цель, казалось, была доступна: сынок удивлял своими филологическими познаниями разных профессоров на экзаменах, читая речи и держа диспуты на многих языках. Все ожидали, что из него выйдет знаменитейший профессор, и рассчитывали, какую он займет кафедру. Но что же вышло? Когда он развился и заглушенные искусственно потребности его натуры проснулись, — он день ото дня чувствовал больше и больше отвращение к филологии, наконец она ему до того опротивела, что он поклялся говорить только по-немецки, а кончил тем, что сделался портерщиком. Природу можно изувечить, усиленной и искусственной дрессировкой можно из пастора по призванью сделать пакостного плясуна, из литератора по призванью — торговца и т. п., но когда человек почувствует, что его сделали, а не он сделался, тогда он либо сбросит с себя оковы, либо впадет в тоску и апатию. То же было и с Еленой Павловной. Мать сбила ее с толку. Натура ее была не такова, чтобы жить по программе матери; она этого, разумеется, пока не сознавала отчетливо, но бессознательно к тому стремилась. Так, во время отлучек матери она убегала в лес, долго пела, хохотала, а году на десятом стала читать даже непозволяемые матерью книги. Здесь впервые она училась лгать. Ей часто было до тошноты скучно, и она часто по ночам думала, отчего это скучно ей, потому что днем, по программе, должна была держать себя ровно и спокойно, —

думала и понять не могла, — а скучно было от программы. В ее характере не было определительности, потому что часто, когда она хохотать хотела, должна была по программе корчить глубокомысленную физиономию; когда хотела прыгать, должна была класть земные поклоны; ей хотелось в лес, а ее сажали за историю, географию или арифметику. Она даже и эти желания не сознавала отчетливо, потому что они пробивались смутно и не могли выясниться до определенности: сознание ее двоилось. Она не понимала, для чего она жила, чего ей нужно, и постоянно волновалась, чего-то хотела, куда-то стремилась. Жизнь ее распалась надвое; при матери она была девушка программы, за глазами ее это был живой, милый и резвый, но иногда и задумчивый ребенок. Замечательно, что мать ее никогда не целовала, а нянька, крадучись, не знала, как и обласкать свою барышню. Мать не кормила ее своею грудью, а кормила мамка. Мать всегда смотрела степенно, едва не сурово, а нянька любовно и светло. У матери было рассчитано, чего и сколько должна есть дочь, а няня пичкала ее вареньями и разными сластями. Так Елена Павловна росла до четырнадцати лет. Здесь посетило ее несчастье (а может быть, и счастье — пусть судит сам читатель) — мать ее после мучительных страданий успе. Дочь плакала, но плакала точно по программе, потому что, стоя перед гробом, она видела в нем свою воспитательницу. После похорон, в один вечер, в сумерки, на девушку напала гнетущая тоска; когда она легла в постель и в комнате стало темно, на нее напал страх: везде ей виделся набитый в ее детской листок программы, в которой всякое дыхание, улыбка и взгляд были предупреждены, размерены и сосчитаны. Поутру — теперь она была вольная птица — она пошла в сад князя Кореналова и села здесь; легкий ветер освежил ее, и незаметно она заснула. Подкрепившись сном, она встала и залюбовалась цветниками, фонтанами, каскадами и павильонами. Она была счастлива в ту минуту и под обаянием какой-то безотчетной радости прогуляла вплоть до обеда. Для нее открывался новый мир, новая жизнь, которой она отдалась свободно и беспечно. Няня, у которой она осталась на руках, баловала ее и позволяла ей делать что хочет. Няня всегда антагонизировала ее матери и, в простоте души своей, шла против ее образа воспитания. Теперь ее планы

осуществлялись, и она с силою ренегатки, отрицающей старую систему, вся отдалась новой жизни. Прежняя программа была уничтожена, книги были заброшены, регулярность отменена: хотелось ей есть, она ела, петь — пела, спать — спала. Недели через две она отвыкла и от регулярной молитвы, — по утрам няня не находила ее перед иконой, но зато она иногда в саду или в углу темной комнаты шептала свою свободную молитву. И все это совершилось легко и без борьбы. Никто и не подумал бы, глядя на Елену в те дни, когда она была под надзором матери, что в этой чинной и форменной девушке таится так много закрытого чувства простоты и свободы. Все это было сдавлено и запрещено, но чем сильнее было давление, тем сильнее был отпор, когда он стал возможен, и девушка отдалась вполне новым впечатлениям.

Отец, служивший в полку, услышав о посетившем его несчастии, решился выйти в отставку, чтобы удобнее заняться воспитанием дочери. Полковник захватил для нее двух гувернанток, француженку и немку. Павел Семеныч не держался системы воспитания уже потому, что вообще не держался никакой системы. У него не было об этом деле глубоких дум, соображений и изучений разных педагогических приемов. Он смотрел на дело чересчур просто, то есть полагал, что дочку следует выучить всему, чему обыкновенно учат девиц, и если предпочитал домашнее воспитание, то единственно потому, что в пансионе или институте дочке его было бы скучно. Он даже думал, что ученая женщина не может быть хорошей женой и матерью, и терпеть не мог синих чулков. Словом, взгляд на женщину у него был тот же, какой у большинства так называемого образованного общества; он понять не мог, чтобы женщина получила то же образование, какое у мужчины, и могла бы, кроме семейных обязанностей, принять общественные. Это был человек добрый и кроткий. Возвратясь в поместье, он полюбил свою дочь от души и почти не расставался с нею, присутствовал при ее уроках, гулял с нею, смотрел, как она играла в куклы. Дочь тоже привязалась к нему.

Прошло около года идиллической жизни. Но скоро эта жизнь должна была совершенно измениться. Полковник любил охотиться. Однажды с ружьем отправился он в лес. Заметив на сосне глухаря, он поторопился взвести курок; в это время рука его нечаянно задела за сук

березы, раздался выстрел и вместе с тем пронзительный крик. Полковник в испуге бросился на голос и т. д. и т. д. Человек религиозный, впечатлительный, Павел Семеныч был глубоко потрясен. Почти полупомешанный, он вернулся домой, собрал сходку и объявил всему миру, что он убийца. Началось следствие, полковник, разумеется, был оправдан, как неумышленный убийца, и только для успокоения его совести был отправлен в монастырь на церковное покаяние. Он хотел остаться в нем навсегда, но вспомнил свою дочь и вернулся в поместье. Характер его совершенно изменился. Он оставил все удовольствия и посещал только церковь. На хозяйство не обращал никакого внимания, и приказчик, не трогая крестьян, обворовывал барина. Дочь не узнавала отца. Постоянное чтение Библии и беседы с местным священником оттолкнули Елену от отца, потому что мать сумела подавить в ней религиозное чувство. Дочь опять получила полную свободу. — Чтение романов и период мечтательности и расцветания. — Встречи с князем и эмансипация...

Потесин, как видно, слишком рано начал вглядываться в жизнь и наблюдать над нею. Для впечатлений натуры его эти наблюдения не пропали даром. Особенное влияние имело на него семейство политического преступника, который был сослан в рудники. С этим семейством познакомился Потесин уже в городе, будучи гимназистом. Тут предполагался целый ряд характерных и глубоко обдуманных сцен, из которых сохранилась только одна.

Ржавчина и плесень изъели все стены бедной каморки старика. Ветер в трубе завывает, как голодный волк, порывисто стучит в прогнившую раму окна, свищет и дразнит своим волчьим голосом. В доме нет ни копейки денег, ни корки хлеба, ни полена дров и кредита в мелочной лавочке даже на грош. Хозяин гонит с квартиры; должники в десять — пятнадцать рублей пристают с своими просьбами и ругаются, даже и этот пьяница, у которого он занял всего двугривенный, и он бранит бедняка, точно бедняк ограбил его. Всего осталась половина сального огарка, с которым сидит долго за полночь его несчастная дочь, зарабатывая иглой кусок хлеба и еще несколько сальных огарков... За то, что он родил и воспитал энергического сына, он теперь страдает. Сын в проклятых горах, — которые в природе служат для казни человека, — роет руду. За сына выгнали его из службы; жена умерла от тоски и стыда; сестра ведет

позорную жизнь. Он со страхом думает: «Что будет с тобою, пожелтевшая от бедности, но все еще хорошенькая дочь моя? Зачем, проработав трудную ночь, ты долго, долго молишься, и не так, как прежде, спокойно и сладко? Неужели ты отгоняешь от себя дурные мысли?.. Нет, это только в грешном воображении твоего отца, моя честная девушка, возникают такие злые мысли. Ты молишься так страдальчески с голоду и печали. Но чем же я накормлю тебя завтра?..» Он стал смотреть на золотое кольцо своей жены и раздумывал, что даст за него жид. «Нет, пойду нищенствовать! — сказал он себе. — Полно мне быть честным, злиться с голоду и умолять бога о работе; да нет и молитвы такой, в которой просилось бы о деньгах! Полно проклятый труд называть святым! Пойду я скитаться по улицам, протягивая за милостыней руку, и буду шептать каждому, тихо и озираясь, за что пострадал сын мой и я...»

Потесин благополучно кончил курс в гимназии и поступил было в местный университет, но там скоро вышел какой-то скандал, в котором Потесин принял деятельное участие, и его вместе с прочими зачинщиками выгнали из университета. После этого, по совету отца, он отправился в Петербург для поступления в тамошний университет. Этим, как видно, кончалась первая часть романа, в которой все внимание автора было обращено на то, чтобы выставить все обстоятельства, имевшие влияние на воспитание и образ мыслей Потесина. Он ехал в Петербург с желанием трудиться и приносить пользу.

О сестре Потесина, героине романа, в этой части не говорится почти ни слова. Есть коротенькие заметки о том только, что она воспитывалась в городе, у какой-то старой тетки.

Старая тетка, ее бонтонность, quasi[1] светскость и злобность. — Все это в сценах. — Варя оставлена отцом на воспитание. — Французский язык, книксены, уменье отвечать вовремя и что следует, по соображению подчиненности. — Попреки и дикая, неуступчивая воля тетки, желавшей сделать из Вари то, чем некогда она сама мечтала быть. — Удивительно удобная форма, в которой, в лице созданной теткою Вари, охарактеризовать не столько самую Варю, сколько идеал тетки, так что Варя будет образ, в котором олицетворится идея теткиной жизни. Когда Варя возвратилась под кров отца, он не узнал ее. Близость к природе, воспоминания родного

---

[1] Якобы (*итал.*). — *Ред.*

места, возвращение к старой няне, ласки доброго отца — все это воскресило ее на несколько времени. Но уже в девичьей груди не было силы и крепости, чахоточный румянец играл у ней на щеках; она должна была с каждою весною ожидать смерти. Проездом тетка остановилась у них. Отец укорял ее за испорченную жизнь ребенка, тетка обиделась: ее рожа, искрещенная трещинами, сделалась до такой степени печальной, что у ней мало-помалу глаза отсырели, и она заплакала... И лились ее дряхлые, поганые слезы, и захотелось Потесину заушить ее... Да и следовало бы... Через три года тетка поступила в монастырь, в котором занимает теперь место настоятельницы. Монахини терпеть ее не могут, потому что ничего нельзя представить злее этой игуменьи...

Однако Варя не умерла и только чахла в течение всей своей жизни. Мы встречаем ее еще в самом конце романа — старой, озлобленной девой.

Вероятно, к этой же части принадлежит следующий оригинальный пейзаж.

На вершины дерев упали лучи солнца, пятнами и длинными полосами пробрались на черную, засыпанную иглами сосны землю и заиграли на ней белым, черным и желтым цветами. Выползла мышь из-под заскорузлого корня дерева и, нюхая воздух, смотрит, где бы добыть завтрак; муравей, пыхтя и кряхтя, тащит дубинку втрое больше себя; на него глупо смотрит брюхатая божья коровка; две сонливые козявки с комическими харицами, увидев муравья, по своей трусливой натуришке, дали тягу. Ветер ударил прямо в лицо муравью; он озлился, затряс усами, растопырил руки и поднял дубину высоко. Мышь перебежала ему дорогу — он грозит ей дубиной. Божья коровка называет его мужиком и неучем...

## II

Приехав в Петербург, Потесин остановился у своего дяди-генерала, который отсоветовал ему поступать в университет и определил куда-то на службу чиновником. По протекции этого дяди Потесин входит в аристократический круг, знакомится с разными графами и князьями и изучает их.

В лице дяди Потесина надо олицетворить старых времен взяточника и низкопоклонника, но человека доб-

рого (А. Н. К.). Он сумел нажить себе состояние на службе. Как это так нажить? взятки? казнокрадство? Да, но десять лет назад доходы побочные не назывались такими резкими именами. У чиновников было две совести: одна сожженная (казенная) — это для службы, которая допускала нравственную возможность взяток, а другая общечеловеческая. Человек всегда был и будет вместилищем противоречий неисходных. Петр Федорыч был взяточник, или, по старинному облагороживающему слогу, имел доходцы, и в то же время он был человек высокой нравственности, отличный семьянин, прекрасный сосед, любил от души помогать бедным, не забывал старых товарищей; во всякой сделке, исключая служебной, справедлив, снисходителен к человеческим слабостям и ко своим строг. Это вообще ложное понятие, которое у нас проповедуется, что взяточник непременно пьяница, разбойник, груб, не читает книг и проч. Взяточника свойство именно то, что он имеет еще казенную совесть сверх обыкновенной. Он, разумеется, как и всякий человек, не сам состроил свой характер; характер его зародился в доучилищной жизни, развился в школе и окончательно отвердел в обществе. Во всех этих периодах развития он нигде не встречал протеста против взяток, то есть по-старому — доходов, и действительно, тогда взятка была доходом.

В столкновениях с этим дядей Потесин выражает свою теорию о самостоятельности каждой личности, то есть что каждый человек имеет полное право жить как хочет и делать что хочет до того предела, пока он не столкнется с интересами другой личности. У этого дяди и остановился Потесин, им протежируется и ведет борьбу, чтобы освободиться от его влияния и от его квартиры, чего мало-помалу и достигает. В дядиной семье представить принципы доброй семьи, сочувствующей обличению, но осторожной и видящей в нем лишь теорию и идеальность. В потесинской деятельности принцип, идущий вразрез принципам семьи; из этого должно выйти дуальное отношение его к семье: с идеальной стороны сочувствие, а с практической — антагонизм. Здесь все проповеди Потесина об эмансипации и проч. Он умел говорить на четырех языках.

Потесин, воспитанный под влиянием духа обличения, охватившего нас со времен Гоголя, набросился на общество как ярый зверь. И писал даже обличительные статьи. Здесь-то и развить его характер во время студенчества и на службе, когда он, что очень естественно, во всяком ближнем находил недостатки и вел себя честно, стойко, благородно, и хотя заслужил от одних уважение, от других страх, третьих заискиванье, четвертых ненависть, но все-таки потерпел фиаско. (Типы лиц, относившихся различно к обличению. Взять во внимание обличения Щедрина и другие обличительные очерки.) После того разгул, а далее смирение и педагогическая практика.

Отношения Потесина к аристократии.

Несмотря на общее заискивание со всех сторон, ровное к нему отношение и пожимание рук тремя генералами, он не мог уверить себя, чтобы они считали его равным себе. В столице, говорят, сословные предрассудки не так развиты, как в провинции, что здесь князь подает руку мещанину-артисту. Подает, это правда; но сословность точно так же сильна, она только проявляется здесь более тонкими чертами. Петр Потесин принужден был изучать этот язык намеков и недоговоренных мыслей, чтобы понять, презирают его или нет. Он до сих пор вращался в сфере, в которой и привет и ругань выражаются прямо; словом, он знал обычаи только своего кружка, а не знал их в новом, в который пришлось ему вступить. Как относятся к нему приглашавшие его лица, и зачем он им нужен? Он не имеет с ними никаких связей, не знает их преданий, он не родня им, а между тем его радушно принимают. Вглядываясь в лица положительно добрые, он говорил: «Все-таки не наши!» С женщинами этого круга он заговорил только через полгода, тогда как со своими вел себя легко и свободно, потому что сословность развита в женщине гораздо сильнее, чем в мужчине, — это факт. (Характеристика его личных отношений к дамскому полу обоих кружков.) С знакомым плебеем первые сходятся на равную ногу отец и братья, потом мать и замужние дамы и, наконец, девицы. Кроме того, как бы ни был просвещен кружок аристократов, в нем всегда найдется

несколько болванов, презирающих все, что не имеет многолетней генеалогии. Они высказывают дикие идеи, а хозяева, по общежитейской слабости сердца, в этих случаях либо слегка и деликатно оговаривают гостя, либо отмалчиваются. Плебей же всегда сорвет свой гнев, и притом грубо, потому что дело касается его души и шкуры. Это хозяевам, желающим по своему положению поддерживать связи даже и с болванами, не нравится, и потому, во всяком случае, полного и свободного отношения к барскому кругу у плебея нет. Потесин был барской крови, но закал души его был мужицкий. Однако он не навсегда остался в таких отношениях к барам. Он через несколько времени отвык от постоянной мнительности, на месте он или нет. При этом открывается другая сторона его характера — всесторонность его взгляда, способность подделываться под чужой характер, впадать в тон речи и т. п. Стоя по развитию своему неизмеримо выше своей родни, он, однако, любил родню и должен был посещать ее время от времени; здесь приходилось ему говорить и действовать. Проповедовать им свои убеждения — значило бы даром терять время, подтягивать им — значило бы лгать, но он умел как-то пройти между этими двумя крайностями, плутовски изворачиваясь. Так же он вел себя и в высшем кругу.

Один генерал рассказывал при нем, как он плюходействовал на службе. Завязался спор, кончившийся тем, что Потесин замолчал, краснея при этом как рак, потому что далее оставалось только ругаться.

Между новыми знакомыми Потесина были некие Торопецкие, у которых он бывал довольно часто, потому что там интересовала его одна девушка.

Он долго вглядывался в семью Торопецких и вначале редко вдавался в разглагольствования. Когда он говорил о прогрессе, то замечал двусмысленные улыбки, от которых ему было неловко. Полное спокойствие семьи, уменье держать себя, говорить пустые речи с сознанием не только своего достоинства, но и счастия. Молодежь часто собиралась здесь исправлять своих отцов и читать им гражданскую мораль. В этом семействе с Потесиным случилось странное, хотя и очень обыкновенное обстоятельство. Здесь не было ни казнокрадов, ни

пьяниц, ни деспотства, ни невежества; все было благонравно и прогрессивно, и Потесин почувствовал, что попал в среду, в которой не мог с первого же шагу стать головой выше всех. Он слышал в семье Торопецких какую-то силу. Долго он вникал во внутренние основы этой жизни и долго ничего понять не мог. Очевидно, что семейство было не ветхого завета. Александра Ивановна, дочь Торопецкого, говорила с ним свободно, оставалась наедине, читала с ним книги, и никогда не замечал он шпионского взгляда родителей, дрожащих ежеминутно за нравственность чад своих, за их девство или, чего избави боже, неравное замужество. Такая свобода и простота обращения увлекли Потесина. «Вот образованное и развитое семейство! — думал он, но в то же время добавлял: — Однако странно, чего-то недостает здесь», чего же? — он не понимал. Дело в том, что здесь только была принята внешняя свобода, более кажущаяся, нежели действительная. Жена могла сшить себе какое угодно платье; ехать, когда вздумается, в театр; читать всякие книги, — но общий, основной завод жизни зависел все-таки от главы. Это семейство, между тем, гордилось свободою своих нравов, гуманным устройством быта и взаимным отношением членов своих и обличительно относилось к семьям знакомых, где деспотизм проявляется в более грубых формах. Здесь принцип современной семьи всеми признавался и даже горячо был защищаем, а приняты были только одни формы его. Что же было под этими формами? Старенькая условная нравственность. Братья Александры Ивановны, четырнадцати- и пятнадцатилетние дети, были либералы, Сам отец либеральничал по «С.-Петербургским ведомостям» и «Северной пчеле» (обновленной в горниле вдохновения). Как многие крещеные люди вовсе не христиане, а только обрядники и считают себя христианами, так и многие, усвоивши себе один обряд либерализма, считают себя либералами. В жизнь, в факты, в события их принципы не переходят. Принцип — великое дело; сидя на нем верхом, можно далеко уехать — и в общественном мнении и по службе. Лукава жизнь человека, и зорко надо вглядываться в нее, чтобы определить ее. Люди часто делают *реформы* в буквальном смысле, то есть усвоивают новые формы жизни, а дух ее остается прежний.

Александра Ивановна была представительницей этого молодого либерализма. Поэтому Потесин хотел увлечь ее во что бы то ни стало: он вызывал ее на отношения известного рода, как бы говоря: «Докажи на деле!» Она никого не любила, но утонченный разврат душевный, доведенный до той черты, на которой кончается *девичья* доля и начинается женская, и никогда, впрочем, не переступающий этой черты, — охватывал ее сладострастное воображение. Вот почему, когда ее тело горело от внутреннего жару, грудь дышала прерывисто, влажные глаза ласкали, губы, казалось, ждали поцелуя и Потесин готов был схватить ее в объятия, — она все-таки казалась нравственной. «Это не нравственность, не натура, а сила воли», — говорил он ей... Она улыбалась, страстно замирала, любовно смотрела на него, жарко было все ее существованье, но еще неприступнее становилась она. Потесин в изумлении остановился перед этой силой и не мог постигнуть ее. Из таких девиц выходят женщины, которых называют belle femme. (Здесь мы должны изобразить тип женщины, на которую, с одной стороны, намекнул Гончаров в своей Софье Николаевне, с другой — Тургенев в Одинцовой. Мы этот тип выведем начистоту — дело-то лучше будет. Мы поставим его высоко, но основы, высказанные здесь, сохраним вполне.)

Вероятно, эту же девушку имел автор в виду несколько ниже. Ею увлекся Потесин уже в то время, когда он ударился в разврат и упадал нравственно.

Он увлекся замкнутым созданьем, честным и умным, но практическим и не увлекающимся.

Она не давалась ему; рада была видеть и слушать его, но далее пожатия руки и иногда, под влияниями чисто плотскими, разгоревшегося взгляда, он не добился ничего. Сила воли у ней была громадная. Она хотела дождаться мужа и наслаждаться жизнью умеренно. Она очень берегла свою жизнь, берегла себя. В весенний день, после гастрономического обеда или рюмки ликера, лицо ее расцветало и было почти страстно... Ей было 24 года. Потесину хотелось развратить ее, и он цинически дразнил ее воображение (сны, чтение, разговоры, поэтическое сиденье на дачном крыльце и действие по всем правилам естественных наук), и не мог ничего по-

делать с нею. Он полюбил наконец ее за эту силу. Весь тот разврат, который он прошел, приложенный к ней, остался бессилен. Он хотел завладеть ею, и она единственно свежестью своей натуры отучила его от разврата; он пережил бешеные душевные минуты, но покорился, бросил старую жизнь, стал проводить с нею время, переменил тон своих речей, дело перешло в благоговение и поклонение, стал работать и наконец предложил ей руку. — О том, как просил он поцелуя. — Вывод девушки о его неспособности к семейной жизни: она знала его разгульную жизнь, помнила, как он соблазнял ее, и решила, что страшно жизнь прожить с таким человеком. Ей за детей было страшно. Произнесен отказ, в котором она откровенно высказала ему свой анализ. Сцена.

Генерал, дядя Потесина, заметил, что племянник делает упущения по службе, заводит знакомство с предосудительными личностями и подчас возвращается пьяненький, захотел исправить его и начал читать ему наставления. Потесин не поддавался. Вышло несколько неприятных сцен, вследствие которых Потесин поссорился с дядей и переехал на другую квартиру. Эта квартира помещалась в огромном доме, который у автора имел общее название «большой квартиры». С этих пор для героя начинается новая жизнь и новые знакомства.

Население в «большой квартире» самое разнообразное; тут вы найдете и чиновника, и мещанина, и домашнего учителя, и хориста, и мазурика, и камелию, и отставного штабс-капитана, людей семейных и холостых, взрослых и детей, собак, кошек, мышей, крыс, клопов, тараканов и проч. Все это знакомо между собою, связано разного рода обстоятельствами, участием в различного рода делах, общим сожитием.

В этом доме Потесин нанял небольшую квартиру, хотел устроиться в ней комфортабельно и работать. Но силы его были уже надломлены, работы не клеились. Потесин перед этим потерпел несколько важных неудач (о которых нам неизвестно), перессорился окончательно с аристократами и стал понемногу разочаровываться в обществе и в самом себе. Деньжонки у него кое-какие были, и начал он попивать. Жалкое население «большой квартиры» сначала показалось ему отвратительным, потом мало-помалу стал он втягиваться в эту жизнь и втянулся бы скоро, если бы в том же доме не отыскал своих старых и милых когда-то знакомых. То было семейство Шестаковых, поместье которых было в соседстве с поместьем его родителей. Здесь встретил он девушку, Таню, с которой, бывало, играл вместе, и эти отрадные воспоминания детства оживили Потесина.

На «большой квартире» живет семейство обедневших помещиков. Отец семейства, вовлеченный своим сыном, поддавшимся духу века, в разные акционерные предприятия (взять во внимание наши акции), обанкротился и едва не пошел по миру. С огромной семьей он принужден был переселиться в Петербург, где и поступил на службу. Достаточно было пяти голодных лет, чтобы из доброй семьи образовалась злая. Самое образование, имеющее силу гуманизирующую, потеряло свое влияние на них. В маленьких двух комнатках жило шесть человек, притом без прислуги. Каждый имел свой угол, где и занимался своим делом. В тесноте неизбежно они мешали друг другу (в сценах). Отсюда постоянная разладица между ними, ссоры, выговоры, претензии друг на друга. Редкий день они были сыты. Во время обеда у каждого являлось инстинктивное желание съесть более другого, хотя это не было заметно со стороны и в этом не признавались себе и сами члены семьи. Ночью положительно весь пол занят был спящими. Это было прекраснейшее семейство, когда оно владело поместьем; мужики не могли нахвалиться ими; но теперь оно далеко не то, что было прежде. Будучи господами, они проповедовали равенство, и многие соседи были недовольны ими за то, что они позволяли себе короткое сближение с народом и очень доброе отношение к нему. Они были либералы. Но когда пришлось разделить судьбу одного из бедных классов, они возненавидели этот класс и прокляли свои демократические замашки.

В бедности к семье стали прививаться предрассудки. Словом, оказалось, что без материального благосостояния невозможно быть самостоятельным нравственно. Отец, дававший свободу жене и детям, обнаружил деспотическую сторону характера и развил ее довольно сильно, потому что при деньгах можно было поступать каждому по-своему, на всех хватало, — один хочет супу, другой щей, — то и другое можно было приготовить, а теперь пришлось подчиняться воле кого-нибудь одного. Новый источник временных неудовольствий. Таня не видела разрушения семейного благосостояния. Глубоко проникнутая религиозным чувством, любящая свою семью, соединившая с нею воспоминания о сельской жизни, от которой оторвал ее институт, добрейшая, чистодушная, экзальтированная, способная на всевозмож-

ные жертвы, страстно привязанная к родному дому, она, вернувшись в семью, была поражена и ошеломлена картиной разрушенного счастья... Долгие молитвы, усердные работы до глубокой ночи, несбыточные мечты и планы — все было направлено к тому, как бы воротить старую деревню, поля, сад, свою спальню и, главное, свою няню, которая тоже пошла в аукционную продажу. Чем глубже она вникала в быт семьи, тем страшнее становилось этой умной, религиозной девушке. Ясно, день за днем, *в постепенности* узнавала она, что сделала с ее родными нужда, и сильно развивалось в ней желание пожертвовать собою для того, чтобы вернуть старые годы. Не знала она, глупашка, что старые годы никогда не ворочаются... С другой стороны, под руководством Потесина она скоро поняла всю неправильность положения женщины в нашем обществе. Потесин объяснил ей, что женщина у нас на даровом корму и что это должно быть оскорбительно для нее, потому что мужчины могут, если захотят, попрекать их своим хлебом; но что эти же мужчины не позволяют женщине быть самостоятельной, не дают ей ни работ, ни науки; поэтому-то женщины и делятся на три разряда; либо девы, либо девки (камелии), либо замужем по расчету. Когда Потесин в ярких красках развивал перед ней ту идею, что большинство наших браков есть не что иное, как разврат, узаконенный обрядом, — далеко отлетел от души ее идеал, ею лелеемый, она становилась сдержаннее, решимость на что-то сверкала в ее глазах, — лицо ее делалось красиво и страшно. «Если нет для женщины, — думала она, — ни денег, ни науки, и любить нельзя, то продамся же старику для родных; это будет богу угодно». И она окончательно решилась пожертвовать собой для блага семьи.

В период развития и созревания этой решимости она прибрала всевозможные софизмы, чтобы оправдать себя; она уверила себя, что и со стариком можно жить хорошо, что любовь скоро проходит и «вечно любить невозможно», а на время, видите ли, не стоит. Она не понимала, что и на время очень стоит любить, что и временная любовь будет помниться до гроба и осветит всю жизнь... Она *убеждена* была, что при бедности всякая любовь превратится в горе, а при богатстве она успокоит старика мужа, из неверующего сделает его

верующим (старик у меня будет вольтериянец старого полета), вкрадется в него, спасет его душу и, таким образом, сделает угодное богу дело. За всем тем, однако (она того не сознавала), у ней иногда мелькала полумысль и о смерти мужа, и тогда отлетевший идеал снова посещал ее молодую душу... и... (психический анализ).

Тетушка-сваха, зная убежденья семьи, никому не сказала о сватовстве старика и сделала предложение только Тане. Когда Таня согласилась, только тогда сваха объявила об этом родным: сама Таня не в силах была объявить им своего решения. Родные были поражены желанием дочери идти за старого полковника, особенно когда она, приготовившись (анализ), хладнокровно и спокойно сказала «да». Мать и отец стали отговаривать ее, но в душе, да и не очень глубоко, они сами слышали, как шевелилось у них желание принять жертву дочери и через то воскресить свое благосостояние, — денежная струна зазвучала. Но братья и сестра восстали против решения Тани всею силою своей диалектики. Она была непоколебима. Вся любовь ее к семье выразилась в это время. И как была хороша эта заблуждающаяся девушка! Все эти дни она была предупредительна, заботлива и страстно ласкова к родным. Никто будто ничего не понимал, да и она сама ничего не понимала и все мечтала о возврате прежних лет. Она просила только как можно скорее устроить ее свадьбу, торопилась на эшафот. Жених посещал ее каждый день; она говорила с ним ласково, добродушно и отыскивала в нем добрые стороны. У старика горели глазки на невесту, и он жалел только, зачем у ней платье не декольте, грудь застегнута наглухо, как у монашенки. На деле она и была монашенка. Старик влюбился. (Характеристика старческой любви. Бессонные ночи старика и потом его физические немощи.) Вследствие неестественно напряженной деятельности организма он видимо тощал и хилел. Любовь молодое тело еще более молодит, а дряхлое и изжившее еще более старит и горбит; беречь здоровье надо было, а не влюбляться. Всему пора, всему время. В своей экзальтации, между тем, очертя голову шла Таня за него, точно угорела она. Через неделю была назначена свадьба. Она не хотела заглянуть в свою душу, — можно ведь скрыться и от самого себя. Но чем ближе к роковому часу подходило

время, тем яснее выступали мысли, не то чтобы новые и не то чтобы подавленные, но лежавшие в ее душе до сих пор непробудно, — и неотступно требовали развития. Она продолжала изучать старика, и вот уже раз созналась, что он... почти гадок, и... удивлялась неопытная девушка, отчего это старик в первые дни казался ей лучше? И действительно, тогда он был лучше, потому что тогда не испытывал старости, — еще два месяца такой любви, и у него будет голова трястись, и останется от этого любящего старика только кости да кожа. Накануне свадьбы она разрыдалась. Отец, боясь, что она переменила решение (в отце показать развитие жажды к деньгам через дочь до того, что он уже готов был употребить власть над нею, под тем предлогом, что она *сама* решилась), допрашивал ее долго и ничего не мог добиться; братьям она отвечала тоже уклончиво. Отец едва не прикрикнул на нее и проговорил сурово: «Что же ты, Таня? теперь уж поздно, — назад не вернешься!..» Лишь перед сестрою она высказалась.

Бледная как смерть, она сидела перед поездом в церковь, а в церкви совсем окаменела и не помнила: сказала ли «да» или не сказала. Бал скучен был для нее. После ужина она была бледна как мрамор. Братья и сестры печально провожали невесту, когда она пошла в спальню. Брат в первый раз выпил лишнее.. Вдруг из спальни раздался пронзительный, замирающий крик. Все притихли, у каждого сердце екнуло... Слышалась борьба и плач, — но все это скоро и сразу смолкло... Братья бросились было к двери, — она была на ключе. Жертва совершилась...

На другой день молодая похудела; на лице ее легла печать отвращения к чему-то. Старик жаловался на боль в пояснице и слабость ног. Говорят, что для стариков здорово жить с молодой женой, — это правда, но только тогда, когда старик не любит своей молодой жены, а страсть разрушает старое тело и старую душу. — Плач семьи об участи дочери, плач, раздирающий душу, и вдруг «со святыми упокой» — пьяного певчего... К этому напеву все прислушивались со страхом. [1]

---

[1] Помяловский часто рассказывал эту сцену в кругу своих знакомых, и рассказывал ее с воодушевлением и невольною желчью. Он думал, что это будет одно из лучших мест романа.

Еще в молодости Потесин и Шестаковы были соседями, так что при помощи Шестаковых он получил свое разумное развитие. Потом они встретились так неожиданно на большой квартире.

Эта печальная свадьба глубоко потрясла Потесина. До нее он любил посещать семейство Шестаковых и сам мечтал когда-нибудь породниться с ним. Эта свадьба со стариком была для него тем более неожиданна, что Таня любила его нежно и он знал об этом.

В минуту грустного раздумья Таня говорила, что ее все томит какой-то непонятный страх; она сама себя не понимает, молится богу, и все смерть ей чудится, погребальное пение, кладбище, могильные кресты. Это было в разгар ее любви. Потесин говорил Тане: «Это все будет у нас в старости. За дряхлыми ее плечами встанет смерть; когда она придет, мы скажем со смехом: теперь ты не страшна нам, мы жили и не хотим больше жить». Глаза ее блестели, грудь поднялась, уста полуоткрыты, дрожит рука, румянцем вспыхнуло лицо, и она упала в объятия Потесина. Тогда они счастливы были. «Пройдет это время, — говорил Потесин, — кровь не будет гореть так сильно, когда ты будешь моей женою. Не будем так часто и так горячо целоваться, да и горевать о том не будем, потому что скромное, мирное веселье будет жить в нашем уютном доме. С утра до вечера буду трудиться, а вечер будет наш: книги, уют, тепло от камина; наш общий друг — дети, да мы вдвоем, — больше ничего и никого не надо. Вот Таня зажигает лампадку; я улыбнулся невольно, а она строго грозит мне пальцем. Дитя склонило голову на мое плечо и дремлет. Хорошо мне в креслах...»

— Живи и верь! На свете есть несчастье, — значит, было же когда-нибудь и счастье?

— Откуда же это следует?

— Иначе не было бы и понятия о несчастье, не было бы и отрицательного состояния...

Она часто не знала, чем развлечься от бессознательной тоски, чего пожелать себе; работа валилась из рук, ласки братьев и сестры были для нее тяжелы, и больших усилий воли стоило ей, чтобы удержаться от слов: «Ах, отстаньте вы от меня!» Никогда она не могла подметить, откуда приходит такое чувство и как оно пропадает. Иногда же, тоже без всякой видимой причины, яв-

лялось у ней чувство веселое, легкое, спокойное, и тогда все ей представлялось в розовом свете. Изредка в ней появлялось какое-то злое чувство, свойственное людям, страдающим аневризмом; она с наслаждением давила тогда букашку, попавшуюся ей под ногу; сжимала руку сестры, так что ей было больно, и, как бы шутя, не выпускала ее из своих рук; колола собственную ладонь булавкой, так что иногда из-под нежной кожи проступала алая кровь; мучила кота, не давая ему спокойно уснуть на солнце, и т. п.

Потесин решился на новую деятельность и захотел испытать свои силы в педагогических занятиях. Какие обстоятельства принудили его к этому — неизвестно, только мы встречаем его теперь в качестве домашнего учителя у отставного полковника Переварова. Здесь, в многочисленном семействе полковника, Потесин испытывает впечатления нового рода.

Дочери полковника развились по преимуществу под мужским влиянием. Матери они лишились рано, а ее место занял отец-вдовец. Первенцами были братья, которые, как старшие в семье, естественно забрали власть в свои руки. Девушки не имели даже подруг. От мальчиков они научились читать, играть, от них переняли предметы разговоров, времяпровождение, забавы, — во всем преобладал мужской элемент. От этого в девицах развилась свобода, резкость в выражениях и какая-то неженственная отвага в походке, голосе, взгляде, шалостях. Красивее, остроумнее и легкомысленнее из всех сестер была Верочка; но она же была мягче и впечатлительнее; хохот ее был звонок, но не груб, прыгала она часто и много, но грациозно. Ее более всех любил отец. Говорят, папенькины дочки счастливы, как маменькины сынки глупы. Посмотрим, будет ли счастлива Верочка!..

Уроки Потесина шли плохо, потому что ему постоянно мешали заниматься как следует. Назойливее всех в этом отношении оказалась одна из дочерей полковника — Любовь Александровна. Здесь мы помещаем отрывок из другой рукописи, который автор думал тоже поместить в романе и делает на него частые ссылки. Этот отрывок набросан в виде дневника от лица самого Потесина.

«...Полковник называл ее (Любовь Александровну) и кобылою, и чертом, и Любушкой, и ангелом. Эта Любовь Александровна решительно не давала мне покою.

Лишь только встану, хочу помыться, она уже является в каморку, отведенную мне для ночлега.

— Как почивали, Петр Алексеич?

— Покорно благодарю.

— Ха-ха-ха, — отвечает Любовь Александровна, и ее лоснящееся от одеколона лицо с прыщиками на лбу и левой щеке ухмыляется лучезарно, хохочет от лба до затылка.

Мне становится неловко, я оглядываю себя, думаю, что́ я сделал смешного. Кажется, ничего. Но Любовь Александровна продолжает хохотать; тело ее дрожит, руки сами собой обдергивают платье то спереди, то сзади, то поправляют пламенный бант на груди.

— Что же вам смешно, Любовь Александровна?

— А сон какой видели?

— Не помню.

— Неправда, ха-ха-ха, скажите! Вы помните сон.

— Ну, помню, а сказать не могу.

— Отчего же?

— Да неприличный сон, щекотливый в некотором роде; девица слушать не будет...

— Ничего, говорите.

— Если уж вы требуете, то извольте; только, чур, не пенять на меня, не сердиться.

— О, меня трудно рассердить. Вот вас так я рассержу, непременно рассержу. Ну, что же сон? — стукнув ногой, прикрикнула Любовь Александровна.

— Видел я, будто купаюсь. Разделся я, снял рубашку, перекрестился и в воду. На другом берегу речки, гляжу, тоже раздевается девушка, хорошенькая такая, потом перекрестилась и тоже в воду. Вот и поплыли мы друг к другу, схватились руками и... Нет, Любовь Александровна, дальше не могу...

— Ха-ха-ха! — взвизгнув, захохотала Любовь Александровна. — Молчите, молчите!.. А под подушку глядели?

Я бросился под подушку, там лежала червонная дама. Оглянулся, а Любушки уже нет, и звонкий голос ее раздается уже в чайной.

После этого раскрыл я учебники, чтобы приготовиться к лекции.

— Петр Алексеич! чай пить! — сказала Любушка, явившись внезапно.

— Нельзя ли, Любовь Александровна, сюда прислать.

— А, вы не хотите пить с нами? Не будет вам сюда чаю.

Делать нечего, пошли в чайную. Там подошла ко мне Сонечка, меньшая сестра Любушки, кандидатка кобылы, дьявола и ангела...

— Посмотрите, Петр Алексеич, какая ниточка.

— Да, премиленькая, — отвечаю я со злобою в сердце и совершенным отсутствием выражения на лице.

— А у меня какой кошелек есть, — продолжает она.

Я молчу.

— Вы видели? Показать вам? Покажу, покажу, непременно покажу, если вы не видали. Ах, какой кошелек, Петр Алексеич!

— Да, очень хороший, должно быть, — отвечаю я. — У меня есть знакомая девочка, так у той есть картинка, тоже очень хорошая.

— А вот посмотрите-ка, паук ползет... какой некрасивый...

— А вот у вас полосатое платьице. А чеснок во щи не кладут у вас? — ответил я скороговоркою. Сказал, да и сробел. Поймут, думаю, рассердятся; однако не поняли.

— Сонька, прочь пошла! — сказал мой ученик Петя, схватил мою собеседницу за платье и толкнул на диван.

— Ах, Петька!.. Смотри, у меня башмачок развязался, — продолжала жеманно Соня.

— Что ты, Сонька, кокетничаешь? — заметил ей юнкер, старший сын полковника. — Такая козявка, а тоже кокетничает...

Я выпил чашку чаю с знатными сливками, пенка так и разбегалась жирными, золотистыми кругами. При этом меня спросили:

— Вы любите пенки?

— Люблю.

— Ну, у вас будет жена рябая.

Я выпил, опрокинул чашку и положил кусочек сахару наверх, думаю: что будет.

— А! Вот как вы. Сядьте же сами так. У вас жена будет так сидеть. А что, вы были когда-нибудь влюблены, Петр Алексеич?

— Нет. Любовь, как я вижу, очень глупа.

Наконец пробрало Любовь Александровну. Она надулась; физиономия ее еще более раскраснелась. Не знаю, что вышло бы дальше, но в это время в комнату вошел сам папенька, бык холмогорский в халате, бас — как труба. Брюхо у него полчаса в окружности — это ширина, а вышина — пальцем не достанешь до его красной от пива рожи. Все притихли. Любушка сидела как умница, сложа ручки и потупив глазки. Сонечка ушла наверх, а мальчики вытянулись в струнку.

— Доброго утра, Александр Фомич! — приветствовал я эту машину.

— Покорно благодарю, Петр Алексеич. Знатно заснул. После бани-то, знаете... Черт! — закричал он вдруг страшным басищем, и весь корпус его заколебался. — Анисья! Лукерья! или как тебя... дьявол ты эдакой!..

Явилась кухарка.

— Что же ты, леший, не вытерла стола? — сказал полковник октавою и внушительно. У него только и было заботы осведомиться: вытерты ли стекла, что приготовят к ужину и обеду и сколько градусов мороза и тепла.

— А ты, Любка, зачем спозаранку ржешь, как кобыла?

Любушка молчит. Ну, думаю, испортили весь день полковнику; вспышки его теперь долго не успокоятся. Ничуть не бывало. Он преспокойно и весело тотчас же обратился ко мне:

— Да, знатно поспал. А отчего? Баня, да какая баня-то! Нужно и мыться умеючи. Как придете в баню, надо окатиться холодной водой, хорошо тоже взять шайку холодной воды да шайку теплой и поливать себя полосами: это производит особенное наслаждение... Потом надо попариться и полежать немного; под дождь, и опять полежать; мыться мылом, попариться еще раз и опять полежать, потом следует окатиться холодной водой и лежать уже в передбаннике, где раздеваются. После бани надо непременно выпить косушку и в постель ложиться голому, тогда будет отличное дело. Это все я по опыту знаю... Не так! не так!.. Ну зачем вы растрепали светильню у свечки? Соберите ее в кучу! Вот так. Вы думаете, светлее будет по вашему-то? только на одну минуту. То-то, везде опытность нужна. Поживете, научитесь многому от нас, стариков.

Я начал лекцию. Ученики уселись и навострили уши. Вдруг является Сонечка.

— Петр Алексеич! Если вам понадобится чернильница, так она в кабинете.

Ушла. Продолжаем. Смотрю, опять заглядывает.

— Если холодно в вашей комнате, так скажите: Анисья истопит.

Опять скрылась. Думаю, не запереть ли комнату на ключ? Входит Любовь Александровна.

— Что вам? — спрашиваю.

— Вот сегодняшняя газета.

— Хорошо, покорно благодарю.

Потом приходит кухарка с дровами, юнкер является взять сигару, которую он оставил в моей комнате; словом, невозможно перечислить всех явлений. Лекция шла нелепо. Два часа пробился я и отпустил учеников с пустыми головами. Глупо, до крайности глупо было мое положение. Отказаться от места — неделикатно; сказать, что все они надоели, — невозможно. Ведь такие люди и не поймут, чем они могли надоесть. Что делать? Нот вот отворяется дверь, и является Любушка; за ней Сонечка.

— Петр Алексеич, нет ли у вас хорошенькой книжечки?

— Нет у меня хорошенькой книжечки, Любовь Александровна.

— Однако?..

— А что вы называете хорошенькою книжечкою?

— Да вот «Вечный жид» мы читали, «Смерть и честь», роман, «Прекрасная магометанка» и много разных романов.

— Что же, вам понравилась «Прекрасная магометанка»?

— «Вечный жид» хорош.

— А «Прекрасная магометанка»?

— Тоже хорошо.

— Ну, так я не могу вам предлагать книг.

— Отчего?

— Вы любите глупые книги, которые и читать не стоит.

— Ах, ученый какой! Романы — глупость?

— Не то, романы-то глупые читаете вы.

— Ишь какой! Ах, да, вы хотите рассердить меня?

как же! А вот я вас рассержу. — Она ударила меня по плечу.

— Вы одни вечером не боитесь гулять? — спросил я.

— Не скажу...

— Вы верхом без седла ездите, Любовь Александровна?

— Ах, какой насмешник!

Ну, думаю, тебя ничем не проймешь. Я лег на кровать, — нейдет вон, болтает. Поднял ногу на комод, — ничего; стал снимать сюртук. Ушла. Наконец-то!..»

— Ну-ка, что вы приготовили нам, братцы? — спрашивал полковник, усаживаясь обедать. — Дайте-ка мне рюмочку... Кисло!.. Первая колом пошла!.. Что же скажет вторая?.. Вторая соколом! Ну, дальше полетят мелкие пташечки!.. Любка, черт тебя побери, где редька со сметаной?

Подали редьку со сметаной.

— Петенька?

— Что, папаша?

— Ты зачем в носу ковыряешь? Он у тебя болит?

— Нет, не болит.

— Так ты дурак. Разве можно ковырять в носу?

Затем последовал длинный рассказ о том, как один генерал имел привычку ковырять в носу. На параде он и начни ковырять — чином обошли. Да! Во время рассказа щи в его тарелке простыли.

— Любка, ведь ты дьявол. Щи-то холоднехоньки!

— Они простыли уже на столе, папенька.

— Дура ты, вот что!

Любушка молчала с выражением полной привычки к такому порядку дел.

— Да подлей же горячих-то, черт!

Она торопливо опустила разливательную ложку в щи.

— Оставь, позови мне Верочку.

Верочка пришла и налила ему щей.

— Вот это bene, [1] — сказал он. — Много секли меня за эти bene, male, stultus, patres conscripti и всякую латынь... А тебя, Вася?

Вася молчал.

[1] Хорошо *(лат.)*. — *Ред.*

— И тебя тоже... Чего стыдиться! Секли так секли — экая беда. И я тебя сек, потому что я отец, а вот вырос большой, и пальцем не трону — сам возраст и разум имеешь. А тебя, Верочка, сек я?

Верочка покраснела.

— Сек ли я?

— Нет, — ответила она.

— Ну да. Я, Петр Алексеич, — обратился он к Потесину, — баб не секу и не бью. Вот этих дураков драл, и то до шестнадцати лет только. Как шестнадцать лет стукнет которому, довольно: умен — благодарение господу, нет — убирайся к черту. Так ли я говорю?

Потесин промолчал.

— Однако кто ж тебя-то сек?

Верочка не отвечала.

— Кто ее, Петя, сек?

— Мамаша, — отвечал Петя.

— Вот! — внушительно сказал отец. — Женщину должна сечь женщина. Ну, да как их и секли-то? выдернет мать прут, не ощиплет даже листьев, голову в подол, да по среднему-то месту раз пяток и шлепнет. Какое это сеченье! А вас так ли секли?

Петя усмехнулся, потому что отец, очевидно, был в добром расположении духа.

— А вашего брата на скамеечку, за руки, за ноги попридержат да без листьев штук двадцать пять и дадут. Так ли я говорю?

— Так, — отвечал Петя с какой-то неопределенной улыбкой.

— Вот! — отнесся полковник к Потесину. — Вася!

Вася недослышал.

— Черт! я тебя спрашиваю.

Васю толкнули под бок.

— Ты оглох, что ли?.. Был у Неёловых?

— Был-с.

— Ну, что же?

— Унтер-офицер, произведенный в подпрапорщики, жених Буевой.

— Что-о?

— Унтер-офицер Мяснов, произведенный в подпрапорщики...

— Боже ты, боже! да он никак с ума сошел!.. Повтори, что ты сказал?

— Унтер-офицер, произведенный...

— Васька, ты осел!

Вася покраснел от злости.

— Скажи еще раз.

Вася озлился, соскочил со стула и вышел вон из комнаты, хлопнув дверью. Кажется, должно было ожидать грозы, — ничего не бывало.

— Верочка, подлей еще...

Ему подлили. Он, не наклонясь к столу, издали стал дуть на щи и без особого усилия поднял в тарелке бурю. Потом стал стремительно есть. Когда щей осталось немного, он спросил:

— А где же Вася?

— Ушел, — ответили ему.

— Ну и черт с ним! пусть не жрет!.

Он докончил щи. После этого только объяснилось, за что он сердился на Васю.

— Болван эдакой, — заговорил полковник. — Дернуло же его сказать: унтер-офицер, произведенный в офицеры! Выходит, что дочь моего приятеля выходит за солдата. Ах ты безмозглая башка! Не мог сказать прямо: выходит за подпрапорщика! Вот!..

В это время принесли жаркое. Направление мыслей полковника переменилось.

— Дайте мне мясца, — заговорил он, и на лице его отразилась невиннейшая радость, ангельски кроткое наслаждение прошло по его душе... Глазки его засверкали плотоядно.

— Слава тебе господи! — говорил он, наклонившись к столу всей массой своего тела, разинув свою огромную яму, из которой выставился желтый клык, и сдерживая улыбку и радостное дыхание. — Люблю скоромные дни... Верочка, мясца посырее положи... с кровью, голубушка, с кровью... Верочка, дочь моя, крови побольше!.. — В это время из ямы под тупым носом выставился другой толстый клык. — Братцы, дайте нам с кровью, — говорил, сладострастно замирая, полковник...

— Га-га-га! — закричал он, когда положили ему на тарелку пылающий, с кровью, кусок говядины. Он выпил и больше не мог говорить, пожирая огненное мясо.

Потесин дивился, глядя на него; дивился, как не повскакают во рту у него пузыри от обжогов... «Плотоядное!» — думал он.

Полковник, проглотив свою порцию, опять заржал от наслаждения...

— Ну, теперь что еще нам дадут? — спросил он.

— Пироги.

— А что это у вас, Петр Алексеич, зубы, верно, заболели?

— Нет.

— Что же вы салфеткой-то прикрыли рот?

— Так.

— Как это так?

— Трудно объяснить, почему принимаешь то или другое положение тела: отчего положишь ногу на ногу, подопрешь лицо — и сам не знаешь.

— Разве что вот сам-то не знаешь, так; а вы вот смеетесь чему-то, — говорил он, чавкая пирог.

— Веселые мысли в голове.

— Какие же? скажите.

— Да мало ли что в голову придет.

— Конечно. Значит, больше нам ничего не дадут?

— Ничего.

— Черт же с вами!.. Благодарю тя, Христе, боже наш (на этом месте он рыгнул и перекрестил рот), яко насытил нас еси-и (отрыжка и крест)... — Конец молитвы прошел благополучно.

— Теперь пойдемте, Петр Алексеич, и воскурим сигары.

Конечно, Потесин не мог ужиться в такой семейке и скоро простился с полковником. После этого он начал было обличительные статейки пописывать, но статейки выходили неудачные, и он бросил этого рода промысел. Потом он нашел себе еще какие-то уроки и здесь, вероятно, увлекся во второй раз той неприступной девушкой, которую он хотел развратить во что бы то ни стало. Он сделал ей предложение и получил отказ (см. выше). С горя он закутил снова, захворал, поступил в больницу, где его обокрали начисто, и, выздоровев, снова перебрался на «большую квартиру».

Вот еще несколько отрывков, относящихся к характеристике героя:

Главный герой должен все переиспытать на свете — добро и зло, страсти скверные и высокие, — как из любопытства, так и по своей кипучей натуре; когда же пройдет пыл юности, начинается его практическая деятельность. Он везде принят — в честных и бесчестных домах. Прогоревши и перенесши на своей шкуре не только бедствия, но и пороки, он бросил обличать род

человеческий, что делал во время личного разврата, и сказал: «Никто не виноват!» В кабаке, в уединенном пьянстве, вглядываясь в свою душу и во все нравственные убеждения человечества, глубоко, искренно и рационально отрицая их, он на другой день, среди стариков, признавал законным и их отрицание новой жизни (потому что старики *не могут* по самой своей натуре не отрицать ее). На третий день он был в изящной и образованной семье, среди передовых людей, которым постоянно делал возражения и предлагал вопросы, вынесенные им из жизни, и часто ставил их в тупик.

В период переходного состояния, когда он выпуча глаза смотрел на несущуюся перед ним жизнь, то бурную, то тихую, то светлую, то мрачную, которая, однако, не могла увлечь его за собою и перед которою он стоял особняком, только наблюдая ее и желая постигнуть ее закрытый, тайный смысл, — в это время он сшил тетрадку, на которой было написано: «Для записи». На первой странице этой тетради читаем: «Наконец приступаю к давно предполагаемому делу. Буду записывать темы разговоров, которые где-либо услышу, и развитие их вкратце. Потом, все случаи, выводящие моих знакомых из апатического состояния; занятия мужчин домами и движимостью, женщин — домашнее и в гостях и проч.».

Потесин никогда ни о чем не плакал. Это его особенность. Умерла его мать, он ходил как окаменелый; но ни одной слезы не выпало из его глаз: они были сухи. Он и не хохотал никогда, хотя иногда и смеялся, а чаще всего улыбался. Всякое чувство, радостное или печальное, злое или доброе, он большею частию переваривал внутри себя; тем оно сильнее и тяжелее было, чем меньше обнаруживалось.

При большом стечении разного рода неудач Потесин мучил и себя и других. Он доходил до бешенства и самозабвения. Кухарка, навестивший его сосед, мирный кот — все чувствовали расположение его духа. Он сначала молчал, потом начинал вздыхать, далее скрипеть зубами, издавать диковатые звуки и возгласы вроде: «черт возьми!..», «свиньи!» и т. п. Когда он был сердит, у него всегда был сжат кулак. Наконец, раздраженный чем-нибудь, — а в таких случаях его все могло раздражить, — он иногда доходил до исступления, делался несправедлив и неприступен и, не помня себя, приводил в

исполнение первую пришедшую в голову мысль. Кот сделал ему ласковое «курны», а он ударил его ногой. Отчего раздается удар двери? звон посуды? Отчего книга полетела в угол? стул упал?.. «Мне тяжело!.. Я глупею!.. Я с ума схожу!..» — говаривал он, опомнившись немного. Ему вдруг становилось совестно.

— К чему столько соли навалила во щи? — говорил он сердито кухарке.

— На вас сегодня не угодишь.

— И вправду не угодишь, — сознавался перед собою Потесин... После таких размышлений он успевал овладеть собою.

Он умел говорить своему знакомому в таких формах, что тот его слова принимал за циническую шутку, между тем как слова его были чистая монета. Таким образом, проверяя самые сокровенные думы и проступки, он так маскировался, что и не догадывались о его дипломатических проделках. Иногда то, что было с ним, или что он предпринимал, или, наконец, просто размышлял, он приписывал какому-нибудь псевдониму и под этим покровом выщупывал нужные ему мысли и мнения его ближних. Но самый тонкий и неуловимый метод употреблялся им тогда, когда он хотел изучить какого-нибудь человека; он заговаривал в этом случае о разного рода вещах, которые, казалось бы, и не относились прямо к делу, но ему достаточно было и этого; узнав логику экспериментируемого, он уже умел как-то догадаться, что́ человек думает и о том, о чем никому и никогда не говорит. Здесь представить пример его глубокого анализа на второй любви, где он действовал так иезуитски, не разбирая средств, которых даже и цели не оправдывали. Когда хотел, то умел он впустить тонкий яд в душу ближнего, не употребляя при этом новых слов, которые необходимы многим для выражения новой идеи; он в старые формы вливал новый дух, не отвергая того, что не вливай нового вина в старые мехи — они разорвутся, но добавляя: «И пусть рвутся, дух же не умрет», разумея под духом свое направление мысли и жизни...

В «большой квартире» Потесин нанял комнатку крошечную, чуть ли не в подвале. Здесь уже и соседи его были не те, что прежде, он очутился среди забитых, грязных существ, столкнулся лицом

к лицу с голью грошовою, с подонками общества. Его не покоробило от этого соседства; целый ряд неудач, безденежье, недостаток кредита и ежедневное пьянство смирили Потесина, и он опускался ниже и ниже. Родственники и прежний элегантный круг знакомства заговорили об нем с сожалением, пошли разные сплетни и упреки, Потесин не обращал на это внимания и мало-помалу теснее сживался с своими новыми соседями, тем более что они не на шутку начали интересовать его.

Вот несколько типов из новых его приятелей.

Захудалый род. Еще не более как лет сорок назад существовал знаменитый род князей Ремнищевых, которого богатые поместья хотя и были разорены, но все же позволяли владетелю их кутить напропалую на пять губерний. В глубокой древности встречаются знаменитые предки этого рода. Школьник, зубря русскую историю, непременно встречается с этим именем. С Иоанном III один из предков его ходил под Новгородом и жег его, а внук этого доблестного предка рыл народ в Волхов; правнук был другом Годунова и верным его слугою; на копье другого потомка попал известный Матвеев; Петр I впоследствии сорвал голову этому потомку. Большие услуги Ремнищевы оказали отечеству нашему при Бироне, Елисавете, Екатерине Великой и в 1812 году. Но уже в прошлое царствование угас этот знаменитый род в лице Епифана Андреича Ремнищева, князя и надворного советника, и в чине сем состоявшего канцелярским чиновником. Странная судьба этого именитого, вельможного канцеляриста. Отец его кормил пять губерний, а он едва прокармливает свою тщедушную особу. У нас есть много таких князей. Знал я одного грузинского князя. Известно, что прежде, чем отдалось под наше покровительство грузинское царство, царями его титулы рассыпались направо и налево щедрою рукою. Так, один из царей, проезжая около реки, остановился посмотреть, как рыбаки закидывали сети. «На мое счастье», — сказал он. На его счастье попалась какая-то огромная рыба, которую хозяин невода, простой мужик, и поднес царю. Царь был так рад, что наградил его титулом князя, но денег не дал ни гроша.

Впрочем, и то хорошо: теперь никто не может оскорбить его, а если кто ударит, то можно содрать такое бесчестье, что обогатится вся семья и потомство. И Епифан Андреич давно бы приобрел огромные богатства,

если бы только получал деньги за все свои оскорбления, по Своду законов; но это была такая забитая личность, что за его бесчестье можно было содрать с него же.

В этой же большой квартире жил отставной титулярный советник, который три раза срывал по 300 рублей серебром за то, что били его морду, а морду его, ей-богу, и даром можно бить. Эта шельма, уволенная по прошению, обыкновенно подбирал человек шесть забулдыг, в их присутствии раздражал какого-нибудь незнакомого господина, тот бил его по морде, начиналось дело, и титулярный получал следуемый по закону гонорарий. Наконец гражданская палата обратила внимание на то обстоятельство, что титулярного что-то часто очень бьют, и запретила ему впредь подавать просьбы. Чем промышлять? последний товар — физиономия — упала в цене; дошло до того, что бить стало можно эту физиономию, плевать в нее, как в плевальницу, тыкать пальцами, топтать ногами. Тогда он прибегнул к другому средству.

Приходит к нему какой-нибудь промыслитель — чинопер.

— Дело, — говорит он.

Потом, глядя серьезно на чинопера, спрашивал: «Сколько?»

— Пятьдесят.

— Сто.

— Не дадут.

— Дадут. За это и больше дадут.

— Ну, шестьдесят.

— Девяносто.

— Семьдесят.

— Семьдесят пять.

— Идет.

— На стол.

Чинопер кладет на стол 75 рублей.

— По какому делу?

— Присягу в убийстве.

— Хорошо, — говорит титулярный и, расспросив подробности дела, дает присягу.

Наконец ему запретили и присягу держать. Хотя деньжонки у него и были сколочены, однако это ему нанесло удар. Поседел несчастный. Осталось одно — сочинять кое-какие прошения и давать кляузные советы.

Вот это титулярное существо, видя простоватость Епифана Андреича, хотело, как вы думаете, что сделать? получить гонорарий и за физиономию представителя захудалого рода князей Ремнищевых.

— Ведь ты князь? — говорил он ему на именинах певчего.

— Какой же я князь?

— У тебя ведь в сохранности все грамоты?

— Да.

— Чего ж ты зеваешь? Сделаем дельце. Если бы ты был отребье, простой мужлан, тогда и рожа-то твоя стоила бы всего три рубля с копейками; а то тут княжеская корона страдает.

— Нет, нет, — мотал головою его сиятельство.

— Дурак, брат, ты. Аль ты думаешь, что очень больно будет?

— Да и больно, а я такой хилый, — отвечал захудалый род.

— Ну, можно вот как сделать: собрать свидетелей, да и подать просьбу на какого-нибудь богача — бил, дескать. Тут боли не будет. (Сначала титулярный «ловец людей» говорил с ним на *вы*, но по мере опьянения и раздражения перешел на *ты* и наконец на *брат*.)

— За что же человека-то обижать?

— А деньги? Они ведь на полу не валяются. Ты можешь несколько раз получить их.

— Нет, я не хочу.

— Дурак!

— Зачем же браниться?

— Князь еще.

— Ну так что ж? ну и отстаньте от меня, я никого не трогаю. Что ж, что глуп, я себя берегу. Мне что?..

— Побить бы тебя надо!

— Я вас прошу, оставьте меня. Вот я вам говорю *вы*, а...

— А я не только не говорю *вы*, я даже побить хочу.

— Я закричу! Что это такое? За меня заступятся.

— Хорошо же, я тебе покажу кузькину мать...

Что это за кузькина мать, мы не можем объяснить читателю. У нас есть много таких присловий, которые от времени утратили смысл. Вероятно, кузькина мать была ядовитая баба, если ею стращают захудалый род. От-

чего, например, карты иногда называют святцами? Вы не слыхали этого? Говорят, будто какой-то поп святцы продал, а карты купил, — вот и пошли карты называться святцами, и т. п.

Епифан Андреич был хил и захудал. Эта была забитая личность. Выражение лица доброе, но запуганное, недоверчивое, в одиночку всегда довольное. Он был единственный сын отца, который ненавидел Епифана еще в то время, когда он был в утробе матери, потому что любил в это время другую женщину. Он выгнал Епифана из дому на двенадцатом году, вследствие чего он и приютился у своей тетки. Но эта тетка-благодетельница была не лучше отца. Черт знает, чего только она с ним не делала...

Вглядываясь в лицо Епифана Андреича, вы не замечаете в нем ничего глупого; голова его устроена правильно, лицо не развито на счет черепа, лоб широкий, и, несмотря на сорок лет, моложаво и красиво; но глуп он, положительно глуп. Причина тому простая — отец его, под пьяную руку, по его молодому, еще не окрепшему темени ударил пять раз своею здоровенной, широкой ладонью — и вот пошел Епифан гулять по свету дураком, и все над ним смеются. Потеряв ум, он утратил и ту небольшую любовь, которую старался питать к нему отец. Отец возненавидел его тем более, что он же был и причиной сыновней глупости и, таким образом, был для него постоянным укором. Поэтому он и поспешил отправить сына в Питер к своей сестре, прося определить его в корпус. Та определила его в гимназию. Епифан никому не рассказывал об этом случае по той причине, что нигде не встречал участия и недоверчиво относился к людям. (В ходе романа он расскажет об этом только одному Потесину, откуда читатель и должен узнать о прежней жизни захудалого рода. Встретив в Потесине полное участие, а именно после того, как Потесин спас его от титулярного, Епифан высказал ему все, и тут-то поразительный плач его о своей бедности душевной, — не вытерпел голубчик.) В гимназии огромных трудов стоило ему заучивать уроки, и его там часто парили. За год до окончания курса Епифан получил известие, что отец его умер; Епифан сдуру плакал, точно и бог весть что утратил. Спустя еще немного пришло

другое известие, более печальное: все имения пошли с молотка в уплату отцовских долгов. Епифан опять плакал, и теперь было о чем плакать. Кончивши курс, он поступил в департамент в качестве канцелярского чиновника и шута. (Характеристика. — Его мечты и хозяйство. — Любовь к соседке-уроду. — Характеристика того, как можно влюбиться в урода, — тут особого рода любовь. — Теория, психически проверенная, что дурак, быть может, умнее нас, умников, но у него свой склад души. — Положительная честность и добродушие. — Он умел разговаривать с неодушевленными вещами, для него каждая из них имела смысл. — Скопидомство. — Скандал, учиненный им в департаменте, вследствие внушений Потесина о том, что он не должен позволить унижать свою личность, и проч.)

Вот рецепт, по которому можно умного мальчика превратить в дурака. Бейте его по голове каждый день. Через полгода он будет жалко глуп, хоть бы и не родился дураком. В то же время пускай родные, знакомые, начальники, товарищи, прислуга будут смотреть на него как на дурака, с презрением отзываться о каждом его слове, мысли, побуждении, движении, при остротах пожимать с сожалением плечами, при жалобах хохотать, — такой безапелляционный суд произведет свое действие, человек разубедится в своем уме, его одурачат, и он действительно одуреет. Несчастный, захудалый Ремнищев захудал и морально; беден стал и телом и душою. И физический и нравственный гнет на голову создали из него забитое, несчастное, глуповатое существо.

Захудалый Ремнищев часто прислушивался ко всем звукам и явлениям своей комнаты: смотрел в жерло лежанки, наблюдая работу огня, треск полена и тление углей; играл с котятами, занимался росчерками пером на бумаге. Чай он пил не столько с аппетитом, сколько с любовью хозяйничать, поэтому чайные приборы были у него чисты, в порядке, — он точно играл, как маленькие дети играют в чай. Перетирал и пересчитывал старые деньги; иногда пересчитывал без всякой нужды и новые деньги, и проч.

Захудалый род, приходя в азарт или впадая под редко-редко откровенную руку, делал подчас довольно странные сближения, например, показывая на палец, он

спрашивал: «Это что?» Снисходительный слушатель отвечал ему: «Палец», пораздражительнее: «Ковырни в носу, узнаешь, что», а наглый: «Болван, брат, ты, захлопни скорее яму, которая у тебя называется ртом». Иные ругались и почище. Под откровенный час он изредка высказывал свои убеждения, долго зревшие в его обезмозженной голове, и слышал злые насмешки... Еще благо тебе, Епифан, что редко высказывался ты перед людьми, а больше говорил со столами и вещами, а то бы натерпелся ты за то, что подлый деспот отец когда-то треснул тебя по неокрепшему твоему черепу и вышиб из тебя спасителя жизни людской, мозг из черепа. И много в твоей жизни будет горя-злосчастья, но знай, что без горя-злосчастья и счастье не ходит по Руси. Ты *младшим братом* стал, а младший брат и есть счастье... Ну, и пусть их!..

Певчий. У нас при церквах часто устраиваются вольные певческие хоры, или так называемая «сборная братия». Какой-нибудь мещанин, маленький чиновник, отставной унтер-офицер, заштатный дьячок и тому подобный люд, имеющий какие-нибудь теноры или басы, составляют партию, и, выбрав из среды себя артиста, знающего мало-мальски ноту и владеющего скрипицей, они нанимаются петь при какой-нибудь церкви рублей за шестьсот в год. Рассчитывая на заказные обедни, выносы, панихиды и славленье рождественское, крещенское и пасхальное, они могут надеяться получить каждый рублей по восьми в месяц и до пятнадцати; маленьким певчим, дискантам и альтам, из детей бедных родителей, достается рубля по два или по три в месяц, хотя они несут ту же службу, какую и большие. В «большой квартире» жил один из таких певцов, некто Алексей Акимыч Частоколов. Это был снаряд о восьмнадцати октавах. У него не было ни роду ни племени, ни отца ни матери, он сам не знал, сколько лет ему, знал только, что его какой-то мещанин спас от проруби, где его думали было утопить, усыновил его и дал ему некоторое воспитание.

Среднего роста, лет тридцати от роду, плохо скроен да крепко сшит, могуч и голосист, Алексей Акимыч был славою хора. Балакирев и колода засаленных карт —

вот и вся библиотека Алексея Акимыча. — Упражнение его на восемнадцати октавах. — Всегда без денег, всегда пьяный. — Взгляд его на жизнь и отвращение к науке. — Дикий и самобытный язык и существование у нас во многих кружках оригинальных слов и оборотов речи, читателю, вероятно, неизвестных. — Цинизм последнего предела. Ненависть к барам, франтам, богачам, предпочтение редьки ананасу и т. п.

Певчего присловья.[1] Поймал вошь, будет дождь; поймал две рядом, будет с градом. Вот теперь совсем скотина, — хвоста не было, а теперь и хвост есть. (Певчий должен быть скандальер. Он силен физически. Офицеру, которого он обругал скотиной, он же показал кулак, сказав: «Поговори!»)

Зевнул и, перекрестя рот, сказал: «Была у волка одна песня, да и ту переняял». — «Если поплевать на ладонь да треснуть ею хорошенько по харе, то весь румянец пропадет». — «Если я перед бабой, перед гадиной женского пола спасовал (он выразился рельефнее, но как именно, напечатать нельзя), так после этого я дурак и скотина. Ведь баба глупее и гаже мужчины. Курица глупее петуха, кобыла — жеребца, сука — кобеля, а баба глупее человека, то есть мужчины. Я ведь кобель, а меня сука обошла. Хорошо же!»

Ел воробьев, колюшек; крыс давил собственными руками. Рассматривая свою шапку, он соображал, что из шапки его можно суп сварить, и в самом деле, шапка его была очень жирна. Его характеристика своих сапог, пальто, своей фигуры; его думы над пустыми щами и размазней; его желудок, способный переваривать что угодно.

Фразы: «Того и гляди, что экватор на брюхе лопнет». — «Кабы не плешь, так и не голо». — «Холостым поп не бывает, а женатым монах». — «Пью косуху, бью по уху со всего духу я старуху, вот калина, вот малина!» — «Раз, два — голова: три, четыре — прицепили; пять, шесть — что же есть? семь, восемь — сено косим; девять, десять — деньги весить; одиннадцать, двенадцать — милые бранятся». — «Яблочко катилось вкруг

[1] Эти присловья должны были войти в состав разговоров певчего, который, как видно, щеголял такими присловьями. Здесь они собраны автором все вместе для памяти.

огорода, кто его поднял, тот воевода! — вот и вся история!..»

Когда певчий был пьян, он имел обыкновение говорить: «Я зело! значит, не шевелись, не дыши, — иначе кому-нибудь морду побью!» Иногда он забывал произносить это сдерживающее слово — тогда и побивал кому-нибудь морду либо наталкивался на скандал другого рода. Певчий умел разнообразить свой припев: «Я, говорит, зело; ты, говорит, зело; он, говорит, зело; мы, говорит, зело; вы, говорит, зело; они, говорит, зело! недаром же меня секли, — спрягать теперь по камешкам умею». — «Братцы, сделаем зело!» — говаривал он, имея деньги. У него был обычай переменять фразу, вызывающую на выпивку. *Зело* переменилось потом на фразу: «Господа! хотите на левую ногу?» и подпьяна спрягал: «Я на левую ногу, ты на левую ногу» и т. д. Раз его попросили расколоть полено; он расколол, посмотрел на топор, пощупал деньги в кармане и сказал: «Пойду топорище размачивать». С того времени эта фраза была у него призывом к пьянству. Потом: «На двугривенный, господа!» Потом: «На пять желудков!» (После объяснения Потесина, у кого из животных сколько желудков.) Потом: «Терние на жизненном пути рассеяно повсюду». Потом: «Вот так погода — так и валит с ног». Потом: «Давайте стекла выставлять!» и проч. Всякую новую фразу он брал из событий своей жизни или из столкновений с кем-нибудь и с чем-нибудь.

Описать любовь Частоколова к бане и здесь изобразить голых, парящихся, моющихся, кряхтящих и стонущих от удовольствия. Баня для Частоколова заменяла клуб и газеты. Ходя в баню всегда в субботу, когда много бывает народу, он здесь запасался политическими и общественными новостями. Певческая, трактир и баня были единственными местами его публичной деятельности.

Сидя в трактире и раздумавшись о вечных муках, певчий умилился, назвал себя великим грешником и чуть не заплакал. Он взглянул в большой угол.

— Половой! — закричал он.

Явился половой.

— Это что? — спросил он, указывая на образ.

— Бог, — ответил тот.

— А ты дурак!

— Что же лаяться изволите?

— Сегодня какой день?

— Воскресенье, сударь.

— Подай мне на десять копеек деревянного масла.

— Чего-с?

— Чаво-с? Дурак тупорылый!.. На десять копеек деревянного масла.

Половой принес масло.

— Подлей, — сказал певчий, указывая на лампадку.

Рассердившись на полового, певчий тем самым рассеял свое религиозное настроение.

Спьяна, в начале охмеления, он был весел, добр, шутил, поцеловал слепого ребенка и дал ему хлеба и сахару. Потом выпил осьмушку и посидел молча минуты три, после чего выпил еще и крякнул громко. Легкий, освежающий грудь и душу смех пропал. Он стал насмехаться и прибирать гиперболически цинические остроты, придираться ко всем. Еще осьмушка, и на него напало мрачное расположение духа. Он горько взглянул на свой быт, на судьбу свою и проклинал ее. Попомнил он свое бездомовство и безродство, бас его надтреснул и задрожал, показались слезы на глазах, и он зарыдал как ребенок.

— Эх, с горя еще хвачу; черт тебя дери, сивуха, мать моя, помощница и утешительница!

После этого плач перешел в бешенство, он скрежетал зубами и кричал: «Всех задушу, башку размозжу!.. Я вас ненавижу!» Хмель во время развития своего вдруг упадает, когда в короткое время выпито много; так случилось и с ним.

— Простите меня, братцы, я вас оскорбил... Ну, я пьян... я пьян!..

Через несколько минут после упадка хмель опять быстро возрастает. Он вскрикнул дико, и ругань его удесятерилась. Хмель наконец свалил его, и, лежа в грязной постеле, все повторял одно и то же бранное площадное слово.

— Мать? кто ты, мать моя? — бредил он, — девка ты?.. Нет, девки не рожают... Зачем ты меня бросила в прорубь?.. А вы, честные люди, чтобы вам народить таких дьяволов, как я, за то, что вы меня спасли из проруби!.. Отец, кто ты? А!.. Нет, мать не виновата, а вот ты, должно быть, подлец... Чтобы легион чертей в твою свиную душу... Анафема!..

Так и заснул он, не договорив какую-то омерзительную фразу.

(После этих-то именин его и уговаривал Потесин, а потом он отправился к доктору.)

Вдруг Потесин услышал вздохи Алексея Акимыча, которые на этот раз были глуше обыкновенного. Он стоял посреди комнаты, ежеминутно меняя положение своего тела. Он откинул ногу назад и протянул руки вперед, как бы ловил кого в свои объятия; фигура его через минуту изображала знак вопроса, а поднятые кулаки ищут, на чьей бы спине поставить двоеточие. Потом двоеточие расстроилось; остановился Алексей Акимыч, точно был по колени вкопан в пол комнаты. Картина вышла истинно живописная! Солнечный полусвет пробирается сквозь тряпицу, завешивающую окно; на ржавой стене полоса солнца. Из-под кровати выбежала мышь и нюхает воздух; у него и мыши-то голодные, а вот у хозяина поймали на днях — жирная, что свинья. (В бедных квартирах и животные бедные, худощавые.) Стоит наш Частоколов, поводя помутившимися очами по стенам, по полу, по потолку; берет он полу своего замасленного сюртука, поднимает ее, смотрит на нее бессмысленно и потом сморкается в нее. Спьяна у него глаза косятся, оба сходятся к углам около носу, и он, при этом неестественном положении глаз, видит синее тело своего носа и хочет плюнуть на кончик его. В одной руке у него ситник, другою он держит за хвост селедку: соленая шельма мотает башкой и, как будто дивясь на певчего, пучит глаза на его ноги. Поднял Алексей Акимыч отяжелевшую руку кверху, поймал зубами ситник и стал лениво жевать; хотел он то же сделать и с селедкой, но та с размаху влепилась ему в щеку. Зарыдал певчий, плюнул на селедку и решился во что бы то ни стало поймать ее; опять взмахнул рукой — селедка съездила его по лбу.

— Чего же ты!.. Эй, ты... чего злишься?.. — проговорил он в недоумении и печально.

В третий раз поднялась рука, но, ослабев над головою, опустилась и на обратном полете всунула селедку за галстук баса. При этом певчий издал странный, неразгаданный звук, в котором слышалось и ворчанье

живота, и отрыжка, и скрып двери, и оттенок какой-то жалобной ноты. Он понурил голову, как измученный конь, покачал в раздумье головою, выдернул из-за галстука селедку, шлепнул ее об пол и закричал: «Розог сюда!.. плетей!.. я тебе дам!.. выпорю... так выпорю, как меня пороли, шельма... Что смотришь?.. чертова кукла...» Он прослезился, утер полою нос и упал на грязную кровать. Бахус с рук на руки сдал его Морфею...

Между тем мать-сивуха, проклятие нашей земли, со дня на день дорожала и становилась ядовитее, вонючее и гаже. Частоколов пил ее с жадностью человека, пьющего воду в пустыне. Его здоровая грудь расхлябалась, печень расширилась, он постоянно кашлял и мокротой бурого цвета устилал пол своей невзрачной комнаты. Лицо его чернело и отливалось каким-то медноватым цветом; рука, подносящая ко рту откупной стакан, дрожала. Он потерял половину своей силы: голос его надтреснулся и хрипел, помутившиеся глаза слезились; он постоянно чувствовал какой-то страх, как будто не мог припомнить страшное преступление, сделанное им на днях. Череп его утомился, «трещала *черепица*», как сам он выражался, память ослабела, и видимо поглупел этот богатырь-циник. Замечательно, что на доброе дело денег достать бывает трудно, а на худое они сами лезут в карман, точно и в самом деле черт помогает. Певчий был почти постоянно пьян. Какой-то червяк сосал его сердце. Он спросил однажды у Потесина, правда ли, что у пьяниц под желудком образуются пузыри, наполненные водкой, которые и заставляют их пить? Потесин советовал ему сходить к доктору и указал ему одного отличного диагноста. Диагност исследовал все его тело и сказал, что от запоя можно вылечить, а от пьянства нет. От пьянства одно спасенье — сила воли.

— Сколько раз в году вы были пьяны? — спросил его доктор.

— Да большую часть года.

— А знаете ли, что вы, по нашим законам, подлежите заключению в исправительном доме? Ваше звание?

— Мещанин.

— Так в рабочем доме.

— Чем же я виноват, что у нас болезни не лечатся, а наказываются, да, кажется, и во всем свете так? Неужели так-таки никакого средства и нет у вас?

— Есть средства. Например, вино подливают во все кушанья страждущего пьянством; воздух напитывают водкой; одежду душат водкой; через несколько времени она до того опротивеет, что человек не может слышать запаху ее.

— Я об этом слышал.

— А пробовали?

— Я в водку крошил хлеб и ел.

— Ну и что же?

— Ничего. У меня дьявольская натура.

— Так вот что: на Песках живет старичок, который, говорят, лечит от пьянства.

— Шарлатан?

— Нет, он действует нравственными средствами. У него есть одно средство, сильно возбуждающее волю больного.

— Какое?

— Согласитесь ли вы открыть ему секрет, который был бы вам очень дорог и даже опасен?

— Зачем же это?

— В случае, если вы не оставите пить, он расскажет этот секрет вашим знакомым.

— На это не согласен.

— Вы физически и нравственно несокрушимы. Я бы вас положил в больницу и не выпустил бы раньше месяца. Вы бы вытрезвились хорошенько.

— А потом?

— Потом я советую вам вместо водки употреблять виноградные вина.

Частоколов усмехнулся.

— Денег-то где же взять?

— Гм! Причина неоспоримая.

Доктор долго еще прибирал разные средства, и все оказывались или неудобными, или невозможными. Истощивши весь этот запас своих сведений по этой части и видя, что ничто не берет, доктор сказал:

— Да вы дьявол после этого.

— Дьявол, — ответил певчий.

— Веруете ли вы в бога?

— Еще бы!

— Так попробуйте молиться.

Певчий, усмехнувшись горько, только рукой махнул.

Долго на него смотрел добрый доктор и потом прошептал: «Вы погибший человек!»

— Погибший?

— Да.

Побледнел тот. У доктора блеснула мысль испугать его вечными мученьями.

— Да, — сказал он, — вы погибший; и навеки!..

Певчий зубами заскрипел и долго думал крепкую, бедняга, думу.

— Навеки? — повторил он. — Навеки... — Захохотал, сплюнул на пол и направился к двери, не прощаясь, не поблагодарив даже за сеанс.

— Послушайте, — закричал вслед ему доктор, — вы не сделайте чего-нибудь над собой!..

— Пить буду, — было мрачным ответом.

— Слушайте: исправьтесь!

— Пить буду! — и слово *буду* точно гвоздем прибил.

— Пропал этот человек, — проговорил доктор. — Что же, наша наука даже до сих пор от пьянства лечить не умеет, а мое отечество пьет смертным поем... — И долго думал доктор, как лечить пьяниц, и ничего, конечно, не выдумал.

Идя через мост, Частоколов в раздумье хотел броситься в воду, да помешали (сцена). Дома его первые трезвые слезы, потому что ослабевшие нервы не могли удерживать их.

Откуп быстро разрушал этот сильный и здоровый организм. Частоколов знал, что во время пьянства он делал разные нелепости, даже подлости: брал чужие деньги без спросу, был откровенен некстати; ругал, что в трезвом виде хвалил, и наоборот, — но не мог удержаться. Вот откуда у него страх и сожаление о пропитых днях своей жизни...

О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, — чтоб тебе насквозь прошло! О святорусский народ — брось пить, — я один из бросающих. Правда, все великие люди пили (по Гервинусу), отсюда следует, что ты великий народ, народ-пьяница; но будь трезвым великим народом!.. Великий русский народ, расшиби ты поганую посуду с поганой сивухой; наплюй в окна кабаков и в рожи их производителей! Отрезвись — и пой хоть ту же унылую песенку, какую пел до сих пор, только не спьяна! Но чую, чую взбешенной душой, что это-все

напрасно написано: доктор не вылечит певчего... Значит, так тому и быть, на роду, что ль, нам написано это... Проклятая жизнь и проклятая ты, природа!..

Чую, что смерть идет ко мне быстрыми шагами. Итак, много ли нажил?..

О, проклятая жизнь!..

Приятели певчего. Двое бородатых детей, под влиянием сытного ужина, развеселились и разыгрались. Если бы существовали на свете котята величиною с хорошего бычка, то их в настоящую минуту можно было бы сравнить с котятами, — так они были милы. Федька ударил Олешку чулком; Олешка ответил Федьке сапогом, и оба от удовольствия заржали.

— Ах ты кирпичник! — сказал Федька, а сам чесал не мытую три месяца голову, от которой пошла пыль столбом.

— Чего дерешь войлок-то? — спросил Олешка. — Али аспиды завелись?

Федька захохотал удушливым, неудержимым хохотом. Он вечно хохотал и любил, когда его ругали, и чем крепче его ругали, тем он громче хохотал. Он на минутку было успокоился, но потом опять его стал душить хохот, как нечистая сила. Олешка воспользовался этим случаем и разбросал по комнате сапоги и чулки Федьки, после чего он еще пуще, еще неудержимее залился. Ему хотелось что-то сказать, но смех захлестывал его дыханье, и из горла вырывалось что-то похожее на звук пузырей, выходящих из воды. Наконец настал перелом; он мало-помалу успокоился.

— У тебя, брат, не кровь, а сладкий суп в жилах, — сказал Олешка.

— Ах ты необразованная скотина! — ответил Федька и поднял сапог над головою Олешки; а тот в одно мгновенье превратил подушку в щит, ноги в стенобитную машину и стал ими действовать в грудь и живот противника. Но противник неожиданно кинулся на шею Олешки, сел к нему на спину и поднял башмак над головою.

— Живота или смерти?

— Молчи, овчий зрак!

Он ухватил его за рубаху, она затрещала и разодралась натрое. Должно было ожидать беды. Федька был

из тех людей, которых трудно было вывести из терпенья, но если выводили, то не было на него никакой удержи. Олешка боялся за свои жидкие кости, но он нашелся. Около Федьки все было в беспорядке: подушка в ногах, одеяло на полу, сапоги в головах, и черное тело, заросшее волосами, было еле прикрыто изодранными клочьями грязной рубахи. Видя это, Олешка проговорил: «Как Иов на гноище». С этого слова опять проняло баса, и он залился неудержимо. Однако ненадолго. Взглянув на свою рубаху, он осерчал, глаза его засверкали сурово.

— Ну, трясина поганая, давайся лучше сам, а не то худо будет, — сказал он.

— Да что ж ты сделаешь?

— И тебе разорву хитон.

— Да ну! ведь я не нарочно.

— А я разорву нарочно.

Федька спустил ногу с тюфяка.

— На, рви, черт с тобой!

Олешка подошел к нему и подставил ворот рубахи. Такая покорность обезоружила Федьку, но, заметив, что Олешка на то и рассчитывал, — «дескать, разжалоблю», — он сгреб его за рубашку и рванул грязный и ветхий холст — только клочья полетели... Увидев растрепанные клочья, Федька захохотал, насколько хватило его здоровых легких, и повалился в корчах на кровать. Олешка ругал его, бил голенищем, таскал за волоса, а Федька хохотал себе так, что брюхо у него трещало. Здоров был Федька хохотать.

Еще жильцы «большой квартиры». Хозяин, снимавший «большую квартиру», был женат на Аграфене Дмитревне, урожденной Животаго. Он немножко побаивался своей Животаго. Единственное дитя, Ваню, она вскормила на славу. Дитятко было холено, хранено. Ни загар, ни холод никогда не касались его; белое тело его было нежно и мягко. Отец лишь за двери, урожденная Животаго непременно запихнет своему сынку в рот кусок сахару либо даст булку, намазанную патокой. То и другое Ваня съест и показывает потом матери свои почерневшие уже зубки. У Вани все животишко болел, а животишко был у него кругленький, пухленький, тугой такой, ручонки и ножонки тоже, на лбу синие жилки, под гла-

зами темные пятна, лицо белое, как булка. Ваня постоянно ходил за маменькиным хвостом и в кухню, и в спальню, и в церковь, и в гости. Отец не любил его, называл сынка тварью и животным. Ваня боялся папашу как черта, а ненавидеть его не умел. Но мать не давала сына в обиду. Лишь только папаша даст где-нибудь за углом затрещину своему сынишке, Ваня заревет, и урожденная Животаго так и бросится с кулаками на мужа. — Травля сынишки во время исповеди матери, когда отец и сын оставались дома вдвоем (показать, как благочестиво приготовлялись жители «большой квартиры» к пасхе). Этого Ваню потом определили в гимназию, где его как ни тянули кверху за уши, однако исключили. Вот и осуществилась мечта матери: он чиновник. Но и в зрелые лета он сохранил свое ребячество, постоянно ел пряники и пастилу, любил все блестящее и сидел либо дома, либо в департаменте, где над ним все смеялись.

Детское население «большой квартиры». Дети разных углов «большой квартиры» имели постоянные сношения между собою, зимою в коридорчике, а летом на дворе и в саду. В этой главе должно сделать замечание, что она буквально принадлежит не мне, а составлена на основании письменных мемуаров одного мальчика, выправленных и дополненных мною со слов маленького автора. Сюда войдут все сословные, семейные, религиозные, общественные, сказочные стороны детской жизни; их увеселения, проказы, вражда и скандалы, отношения к родителям, к старшим, к наукам и проч. Главная задача этого отдела — показать, как развивается детская молодая жизнь в среде мещанства и бедного чиновничества; впечатления самых юных лет.

Машка была девочка лет одиннадцати, а Лешка мальчик лет трех, ее родной брат. На Машке была надета из грубого, неизносимого холста рубашонка, платьишко ситцевое, сильно поношенное, — и только; босоногая, голорукая, она и дома и на улице, и летом и зимою ходила в таком виде. Братишка ее был в одной рубашонке. Машка, когда ее мать уходила торговать, хозяйничала и нянчила Лешку.

— Машка! — закричал Лешка.

— Чего тебе?

— Есть хочу!..
— Ел ведь хлеб?
— Еще хочу.
— Мамка заругает.
— Есть дай!
— А вот я тебе дам.

Машка подходит и дает ему шлепка. Лешка заревел.

— Не реви!
— Есть хочу.
— Я же тебе еще дам.

Машка дала еще три шлепка. Плач брата усилился. Машка злилась и продолжала бить братишку.

— Я тебе дам, околелый!..

Она решилась во что бы то ни стало заставить Лешку молчать; но побои, естественно, увеличивали только плач ребенка. Машка выходила из себя. Она достала розгу и стала сечь Лешку. Визг был оглушающий; кричал Лешка, кричала и сестра-нянька. Наконец оба затихли на время. Около двадцати минут было тихо; но возня, плач, розги и побои еще больше увеличили аппетит ребенка. Лешка подошел к сестре и стал ласкаться к ней, выпрашивая есть. Когда просьбы его оказались неуспешными, он стал попрекать сестру, что она сама наелась, а ему не дает. Когда и это не достигло цели, он грозил пожаловаться матери, что она съела хлеб.

— А я на тебя скажу, — отвечала Машка.

После этого опять начинается крик и плач. «Есть хочу!» — ревел Лешка. Опять побои, и опять, после долгой возни, тишина. Когда Машка убрала все, что поручила ей мать, она пошла в коридор, куда обыкновенно собирались дети с квартиры. Лешка огляделся, запер дверь на задвижку, подошел к шкапу, шкап на ключе. Он погрозил на шкап кулаком; потом полез в сундук, нашел в нем сухую корку, которую и съел, да пять кусков сахару. Зная, что они считаны у матери, он не съел ни одного целого куска, а от каждого отломил по небольшому кусочку. Эти скудные крохи черствого хлеба и рыхлого сахара только раздразнили его аппетит. Он опять подошел к шкапу, посмотрел на него со злостью и прошептал: «Машка стерва! Машка рожа!» Он знал, что Машка доставала из шкапа хлеб без пособия ключа. Она высылала его в коридор, откуда он и подсмотрел, как она с большими усилиями отодвигала шкап от сте-

ны, вынимала заднюю доску и доставала хлеб. Он хотел сделать то же самое; но сколько ни пыхтел, шкап не подавался — силенки у него не хватило. Ничто так не располагает здорового человека к дурному настроению, как голод. Всякое другое ощущение, нравственное или физическое, имеет другой характер. Человек не только голодный, но недокормленный, постоянно зол; все его раздражает и бесит, всех он ненавидит, ничто его не успокоит. Пусть вас лишили денег, даже чести, но если у вас есть любящая, например, девушка, она своими ласками сумеет смягчить силу ваших страданий; но когда голод мучит человека, все поцелуи и ласки бесят его. Из корысти, мести люди режут людей; с голоду они едят друг друга, едят сами себя. — Характеристика того, как злился Лешка. — Нестерпимый голод вызвал его за двери. Он прошел коридор. Произошла кража булок, причем ему нисколько не было стыдно: он наслаждался...

Итак, Лешка, в существе дела, был преступником против общества: он хотел обокрасть мать свою, съел тайком ее сахар и сухую корку хлеба, хотел забраться в чужой шкап, украл у соседа булки. Он уже был каналья и шельма, которого должно преследовать правосудие. Скажут: «Ему только семь лет от роду»; что ж из этого: по закону божьему, грехи прощаются только до семи лет, а по гражданскому, если ребенок в этих летах сделал поджог, совершил кражу, убийство и проч., его отбирают от родителей, растят до двадцати с годом и дерут на площади. По рациональному взгляду на вещи, преступления Лешки совершались по тем же причинам, по каким совершаются преступления и взрослых, — нужда и отсутствие нравственного развития, а в том и другом не виноват человек. Однако взрослого дерут же, хоть он и не виноват, — общество этого требует; значит, если быть последовательным, надо драть и детей. Да общество и действительно последовательно в своем взгляде на правосудие. Ребенка не порют на площади, но публичная казнь вполне заменяется казнью домашнею. Телу его больно; в обществе товарищей над ним смеются, и он на несколько времени остается отверженцем. (Надо параллельно вести воровство и мазурничество Лешки с воровством и аферами хозяина «большой квартиры». Перед казнью хозяина «большой квартиры» сцены с Лешкой — страшная порка и ссылка его в сапожные подмастерья.

Впечатление наказания Лешки на детей и впечатление казни хозяина «большой квартиры» на взрослых.)

Вот вопрос: когда Лешка сделался вором? Пока он не научился бегать, лет до трех, пока удовлетворялись его потребности — он не был вором...

Жизнь детей в «большой квартире» описать в том роде, как описан «Зимний вечер в бурсе». Здесь свое товарищество, игры, предания, законы, обычаи, предприятия, судьи, фискалы, общественное мнение. Должно уловить в детях «большой квартиры» типические лица, здесь только встречающиеся.

Тут же живет *невинно падшая* девушка, любовница Потесина, которую он хотел просветить и перевоспитать. Высоконравственная девушка. История ее невинного падения — вследствие наглого насилия. Милый, поэтический характер. Ее успешное развитие и скверный исход: белогорячечная смерть. Эта история пройдет через всю «большую квартиру».

Мещанин-безбожник. (Он сидит с Потесиным в трактире и рассуждает.)

— Я сейчас стражение давал, — говорит мещанин.

— Кому?

— Брату, сестре, зятю, матери и сыну.

— Что же, победил?

— Черт их победит. Их пятеро, а я один.

— За что же тебя припекали?

— Известно, за поведение.

— Ага!

— А что им за дело? Я свое пью. Если бы я долгов наделал, так, пожалуй, ругай. Что заработал, что пропил — все мое.

— Чем пропивать-то, лучше помог бы своим.

— Помогали довольно; пора и на себя пожить; благо, батька на том свете.

— Дело ты говоришь?

Мещанин усмехнулся.

— Я, Петр Алексеич, человек бывалый и знающий. Что они родные, так они будут с меня шкуру драть! Ска-

зал, что гроша не дам, — вот и все. Пять лет ведь поедом ели; после отцовского благословения до сих пор опомниться не могу. Нет, Петр Алексеич, я многое знаю: меня не проведешь.

Он посмотрел на Потесина свысока, как бы говоря: «Мелко плаваешь, куда тебе до нас? мало каши ел...»

— Что ж ты знаешь?

— Знаем-с. Знаем то, чего вы и во сне не видали, — вот что...

Потесин пристально поглядел на него...

В кругу таких знакомых, как «певчий», «титулярный» и «захудалый род», Потесин спился окончательно. Сперва он думал было и их *просветить*, и их силою своего влияния вызвать к жизни лучшей; но, потерпев фиаско, отчаялся в своих силах, стал презирать самого себя. Он понял, что корень зла лежит не в личности каждого субъекта, а во всем обществе, что принципами тут ничего не поделаешь, и в первый раз пожалел, зачем он не подлецом родился: тогда бы легче жить было. Службу свою чиновничью он совсем бросил, хотя и числился еще на службе; денег у него не было... Однажды в пьяном виде он утащил чьи-то часы и пропил их. Сплетня об этом пронеслась между его родственниками и знакомыми, и взбешенный дядя (генерал) явился читать Потесину наставленья.

— Ты, пьяница, в нетрезвом виде украл часы, а потом пропил шубу своего товарища, жил на чужой счет, подличать стал! — говорил дядя.

— Все это я и без тебя знаю.

— Я всем расскажу о твоих похождениях.

— Да и без тебя все знают.

— Откуда же? — спросил с удивлением дядя.

— Я сам везде рассказал, — ответил спокойно Потесин.

Дядя вытаращил глаза.

— Ты или сумасшедший, или врешь?

— Дело в том, — продолжал Потесин, — что я сделал подлость в пьяном виде; часы взял чужие в беспамятстве и снес их в трактир; на другое утро мне самому про мое же дело рассказывали, и это было для меня новостью. Шубу я надел чужую по ошибке и потерял ее. Я сознаюсь, что сделал эти гадости, но я поправил их, рассчитавшись с кем следует. А ты своей подлости не сознаешь, и вот в эту самую минуту тебя подлость не раздражает; ты рад, что я сделал подлость... Кто же из нас подлее?

У дяди сверкнули глаза.

— Что ж, ты хочешь порвать все связи: с начальством разругался, хочешь и родню послать к черту?

— Чем же я виноват, что скот родным братом у моего отца?

Дядя поднялся со стула.

— Ты ведь тоже мое начальство; значит, я и тебя ругаю. Да и кой черт ты толкуешь о родственных связях, когда не мог приютить у себя на месяц сестру мою, а вместо жены имеешь на содержании какую-то шельму, которая тебя по роже башмаком бьет — и, по моему мнению, хорошо делает! На ее месте я сек бы тебя и посыпал перцем.

— После этого...

— После этого гусь свинье не товарищ.

— Помни же меня.

— Иван!

Явился прислужник.

— Проводи моего дядю да никогда не пускай его ко мне.

Дядя побледнел.

— Ты еще не получил отставки, — заговорил он с пеной на губах, — твоя судьба в нашей власти.

— Вон! — закричал Потесин.

Прислужник сделал движение к дяде. Дядя скрылся.

Потесин и здесь выдержал свой характер. Когда приходила такая минута, он сразу прерывал всякую связь.

— Итак, отставка? — спросил его приятель.

— Отставка.

— А мечты о службе?

— Болван я был.

— Однако у тебя ресурсов к жизни нет никаких, а долги есть.

— Скверно, брат.

— Ты бы подождал хоть до праздника.

— То есть бездельничать еще три месяца и за это деньги брать?

— Ты бы мог и не бездельничать. Помнишь ли, кто больше тебя дело делал? Не ты ли спас от разграбления казенных денег пятнадцать тысяч?

— Так что же? Эти пятнадцать тысяч были украдены через полгода без всякого следа и возврата. Значит, я воду толок да переливал ее из пустого в порожнее.

— Однако ты подвел столоначальника под дело за эту кражу, и его выгнали вон.

— То есть его перевели на другое место, где, правда, он имеет меньше случаев воровать; а на его место посадили такого же мерзавца.

— Ты предавал гласности...

— А!.. замолчи, пожалуйста. Воровал я дела да перепечатывал их, разумеется, без имен, — ничего и не вышло.

— Однако они узнали себя и под чужими именами.

— И хохотали над писателем...

— Ты не гнул спины, не подличал, не делал визитов к начальникам...

— Это я могу и в отставке делать. А! безделье это, а не служба...

Оба долго молчали.

— Что же ты предпримешь теперь? — спросил друг.

Потесин не отвечал. Лицо его было мрачно. Он глубоко задумался. По временам бешенство сверкало в его глазах. Он сел за стол и закрыл лицо руками. Приятелю показалось, что Потесин плакал, а Потесин скрежетал зубами.

— Знаешь, о чем я думаю? — спросил он неожиданно.

— Что такое?

— Я в эти минуты почти уверился, что когда-нибудь... (Потесин поднял голову спокойно и дерзко глядел на приятеля) *у-кра-ду*... (он с расстановкой и особенным ударением сказал слово *украду*).

— Ты? — спросил пораженный товарищ.

— Я... я... но не пустяки какие-нибудь, а двести, пятьсот тысяч... Глупее я их, что ли? Я кутить хочу, я пить хочу!..

Потесин не давал вымолвить слова своему приятелю и развел перед ним стремительно целую систему подлостей, причем роль подлеца взял на себя и показал такое знание практических приемов для устройства карьеры, знание человеческих душ, что действительно только отвращение к подлости держало его в черном теле. Он нарисовал картину благосостояния, когда будет богат крадеными деньгами.

— Тогда честные люди будут моими приятелями, — говорил он, — литераторов своих заведу, художников, школы устрою, кутить буду.

— Это дико наконец, — перебил его товарищ. — Я тебя знаю; ты не способен украсть; ты напрасно только развращаешь свое воображение.

— А если хочешь еще больше меня знать, так я тебе скажу, что воображение мое давно развращено и что я по натуре своей способен на всякую гадость. А вот выходи-ка на свежую воду, на последнюю откровенность. Я не струшу, буду говорить, что думаю; говори и ты, что думать будешь. Иначе не стоит и говорить...

— Согласен.

— Да, всякого плутовства полную правду.

— Ну, ну.

— *Ты* двести тысяч украл бы?

У приятеля краска выступила на лицо. Он оскорбился, но Потесин не дал ему и слова сказать.

— Ну, пятьсот тысяч? — спросил он. — У Штукарева, у Сорокина, например?

— Отчего же у них украсть можно? — с досадой и пожимая плечами, ответил тот.

— Ведь у них у самих краденое, чужое, а не свое.

— Но и не твое.

— Да и ничье. Капиталы лежат в их сундуках, а ведь это не им принадлежащая собственность. Она ничья. Кто завладел, тот и владей. Это все одно, что незанятая земля; кто выкинул первый флаг, тот и берет ее себе. Если бы ты нашел клад, в земле зарытый разбойниками, небойсь, совестно было бы присвоить его? Прежде, бывало, атаман с своей шайкой промышляли ножом и кистенем, а теперь сивухой или чем-нибудь в этом роде; прежде зарывали деньги в землю, а теперь прячут в сундуки. Так разве не все одно значит — взять их деньги, что и клад найти?

(Объяснения и спор.)

— Черт знает, какое счастье этим богачам, — ответил задумчиво приятель Потесина.

— Постой же, теперь я тебя поймал. Ты рассердился, когда заговорили о воровстве, потом ты поддался размышлению, а теперь с удовольствием мечтаешь о чужих деньгах, — и вот что я тебе скажу: ты *вероятно* когда-нибудь украдешь, а я *непременно*.

— Послушай, после этого мы разойдемся с тобой навсегда.

— Если бы ты не был способен украсть, то уж и разошелся бы.

— Что ты это, в психологии, что ли, упражняться вздумал? Но согласись, что несносно это взаимное щупанье голов.

— В этих словах новое сознание того, что в твоей голове я ощупал твое воровство.

— Ты клевещешь на себя и на других. Прощай, брат.

Приятели разошлись. Потесин лег на диван. Скверно было на его душе. Он злился и хотел удержать развитие высказанных им мыслей, но они текли одна за другою без его спросу.

«Низость, — думал он, — что это такое? неприятные отношения одного ближнего к другому. Кража, например, — низость, а наказание за кражу — низость или нет?

«Ну, все, кажется, обрушилось на меня. Что еще осталось? Заодно уж все переиспытать, что только есть скверного, тяжелого и бедового на свете, чтобы иметь самому право на все!.. Но нет, я еще рассуждаю, значит, еще не задавило меня несчастье... Да черт знает, может быть, меня никакая беда не задавит».

После этого случая Потесин допился до белой горячки и поступил в больницу. За ним ухаживал захудалый князь и *невинно падшая* девушка — последняя любовь героя, и здесь только он мог вполне оценить их доброту и привязанность к себе. В этой главе автор предполагал описать разнообразные галлюцинации белой горячки и посмотреть на них с психологической точки зрения.

По выходе из больницы Потесин недолго жил на «большой квартире». Там скоро случился какой-то скандал; Потесин вступился за дворника, с кем-то подрался, и его выгнали из квартиры. Лишившись последнего приюта, без куска хлеба, без копейки денег, полубольной и разочарованный во всем, Потесин решился покинуть Петербург и ехать на родину. Он написал старику отцу, чтобы ему выслали денег.

Ночь точно опьянела и сдуру, шатаясь по городу, грязная, злилась и плевала на площади и дороги, дома и кабаки, в лица запоздалых пешеходов и животных... На небе мрак, на земле мрак, на водах мрак. Небо разорвано в клочья, и по небу облака, словно рубища нищих, несутся. Несчастные каналы, помойные ямы и склады разной пакости в грязных дворах родного города, где лежит гниль и падаль, — дышат, дышат и отравляют



воздух миазмами и зловонием, а в этом зловонии зарождается мать-холера, грядущая на город с корчами и рвотой... Гром заржал на небе; молния разнолинейными ослепительными полосами осветила безобразнейшую картину природы. Ветер взвыл и помчался, понес грязный и промозглый воздух по улицам, застучал жестью крыш, расшибал со звоном стекла в окнах и далее понес по городу грязный и промозглый воздух. Нева развозилась; она теперь темна, но с рассветом покажет желтую, мутную воду. О мать-природа, как подчас ты бываешь жестока и отвратительна!..

В эту ночь пьяный Потесин шлялся по городу, отыскивая ночлега, и под влиянием мертвящей душу тоски подумывал впервые о самоубийстве.

## III

Из третьей части романа уцелело в рукописи очень немного.
Потесин вернулся на родину. Родные места и приветливые лица родственников оживили убитого горем Потесина. Сестра встретила его, впрочем, желчными упреками.

Спор между братом и сестрою, по возвращении на родину, в котором сестра упрекает брата в разврате, зачем он не женился, зачем провел бессемейную жизнь, за то, одним словом, что и он мужчина. Во всем этом слышно одно — жалоба на горькое положение женщины. На обвинения брат отвечает: я не виноват, ни в чем не виноват. Начинается взаимная исповедь и горькие жалобы на судьбу прожитого времени. После того временное между ними примирение и братски-сестринские поцелуи. Сестра, оставшись наедине и рассмотрев свое устарелое, измученное лицо, опять начинает злиться. Потом ночью скорбный плач об отжитой даром и нерадостной своей молодости; вместе с враждой к брату в ней растет религиозное чувство, уничтоженное, казалось, в ней братом еще в молодые годы. Таким образом, религиозное чувство в ней было следствием несчастно проведенной жизни. Но так как оно в ней было не потребностью натуры, а создано искусственно ее неисходным положением, то и не внесло в ее душу примиряющих начал, а только разогрело в ней надежду — хоть *там,* за гробом, я буду блаженствовать. В ее религиозном чувстве не было любви, а действовал глубокий эгоизм и желание мстить. «Я здесь страдала, — думала она, — а они там будут страдать». Страдания людей она не представляла в грубых, лубочных формах наших отечественных адов. Как женщина образованная, она этого не делала. У ней была самостоятельная религия. Люди, по ее понятию, будут унижены нравственно; блаженство представляла тоже духовным. В старые годы она страстно мечтала о загробной жизни и утешалась тем, что там не будет плотских потребностей, что не надо будет есть, дышать, одеваться и проч., что мужчины от женщин отличаться не будут ничем. Она стала ненавидеть свое тело, которое мало жило хорошею жизнью; стала поститься и молиться, и в то же время злость ко всему росла у ней не по дням, а по часам. В ней зрел злой, мрачный аскетизм. Она собралась было в мона-

стырь, но, наслушавшись о неудовлетворительности и внешней строгости жизни монастырской, сказала: «Это значит под конец жизни начинать карьеру, — нет, не подчинюсь никому». И осталась деспотствовать дома.

Старая дева глубоко ненавидела мужчин, на что имела полное право. Мужчины в ее глазах были развратники, эгоисты и проч. Она говорила: «Вот вам пример брат мой». Она превратилась в Пигасова в юбке, смеялась над любовью, влюбленных называла дураками и скотами, а сама, фальшивя таким образом, злилась, распиналась.

Потесин решился переменить образ жизни. Он задумал развить свою семью, начал обучать грамоте крестьянских детей, даже хотел возбудить в самом себе чувство религиозности. Но планы его не удались. Он заметил, что молитва его выходит фальшивая, что к обучению он неспособен. Стараясь вводить в родном доме свои любимые принципы, он перессорился со всею семьею и снова впал в апатию, снова начал высказывать болезненное сожаление, зачем он не подлец. Между тем здоровье его надломилось, и показались все признаки чахотки. На предсмертном одре он оглянулся на свое прошлое, стал требовать у себя отчета в прожитом: что доброго сделал он своими проповедями и обличеньями? Оказалось, что ничего. Проповедями да обличеньями, знать, не разбудишь общества.

Протест дико-честной натуры против общественного зла, неискусный, по неопытности не достигающий цели и потому неправильный, — после ударов самолюбию и знакомства с жизнью, постепенно ослабляясь, переходит в желание перевоспитать подлецов и дураков. Но и на этом пути, вследствие неправильного действия, он терпит неудачу среди своих и чужих и наконец, изнемогая в борьбе, выражает искреннее раскаяние, зачем он не подлец.

Прожив положительно несчастно день за днем свою жизнь, сознавая, что она была честна, но бесплодна, в страшной предсмертной тоске Потесин глубоко клянет свою долю. «Подлецы хоть ели, пили сытно, — думал он, — хоть в свое брюхо жили, а я ни в свое, ни в чужое. Даром, без нужды, без пользы честен был?.. Но эта натура проклятая, эта проклятая честность врожденная, находящаяся в крови, не дала ни разу сделать подлого дела!» Припомнил он спор свой с приятелем, в котором доказывал ему, что украл бы при первом удобном случае: приятель считал это подлостью — и что же? Случай представлялся, а у него (у Потесина) и мысль не шевельнулась о том, чтобы присвоить чужое себе, а прин-

ципист-приятель — украл. Он поклонился кому следует, получил тепленькое местечко и запустил руку в казну, зато и живет добрым семьянином. «Отчего же он устроился, а не я? Поклонился бы, цапнул бы и зажил на славу... Жена, дети, загородная дача, сношения с передовыми людьми и проч. Черт возьми, не жил я, а жить больше не придется. Что же это за тайна в моей деятельности? С первого молоду рьяно, грудь с грудью, боролся я со всеми — успеха никакого, пользы никакой. Бесполезная честность — какая это аномалия житейская! Потом, когда возмужал, признал и подлецов и дураков людьми, хотел вкрасться в их душу и учил заслуживать уважение делом; когда я был педагогом — еще страшнейшая неудача: я для них был авторитет, а между тем ничего не вышло. Бестолковая, благодушная работа — как это глупо!.. Тоска, тоска!.. И теперь, когда я увидел бесполезность практическую всей моей жизни, я искренно жалею, что не крал и не подличал. Ведь я не жил, не видал счастья! Жить хочется хоть бы для того только, чтобы нагадить кому-нибудь... Семья меня ненавидит, один брат только с жадностью слушает мои речи; но я уже говорю теперь вяло, слово мое делается холоднее, превращается в заученную доктрину; слово выходит из памяти, а не из сердца; а между тем поучаю тому, что меня сломило, чему сам не верю. Не дать ли лучше ему совет идти другой дорогой? Я сам погиб, зачем же хочу его погубить? Неужели для того, чтобы испытать дьявольское наслаждение ввалить в яму и другого, если сам в нее попал, сделать несчастными и других, если сам несчастлив? Помню, если одного порют, бывало, то и страшно и обидно, а если сразу человек десять, то идешь даже под розгу припеваючи... Или на людях смерть красна? Но ведь это подло... Опять подло? что же это такое?»

В это время вошел брат его.

— Федя! — сказал Потесин.

— Что тебе, братец?

Потесин задумался. Федя подошел к нему и положил руку на плечо. Потесин отвернулся лицом к окну и тяжело вздохнул.

— Брат, что ты хотел сказать мне?

— После, после.

— Отчего же не теперь?

— Брат, — вдруг сказал Потесин, — ты хочешь погубить свою жизнь?..

— Я тебя не понимаю.

— Хочешь кончить так же, как и я?

— Да хоть еще хуже.

— Дико, братец! Я тебя надул. Уж тебя ненавидят родные, и все будут ненавидеть, если пойдешь по моей дороге.

— Так что же?

— Без пользы.

— Да разве ты не принес никому пользы?

— Никакой.

(Исповедь Потесина и спор с братом.)

Как вы думаете, читатель, если бы он выздоровел, исполнил ли бы сам свои предсмертные мысли и советы? Практического уменья подличать у него хватило бы, потому что он изучил подлость вдоль и поперек. Мы думаем, что он исполнил бы, — впрочем, это наше личное мнение.

В предсмертном бреде у него стали появляться странные логические сочетания мыслей. «Быть может, — думал он, — я оттого не успел на честном пути, что протестовал против зла из личной к нему злости. Меня когда-то давило зло, вот и вышла месть, а не гражданская деятельность; не дави оно, из меня вышел бы ловкий представитель зла. Я всю жизнь мстил и только теперь так поздно догадался, что я по натуре подлец». Его сильно поразили эти мысли...

«А вот выздоровею, — думал он, — тогда... что тогда? Я уж знаю что...»

Он был уверен, что встанет с постели. Мечты его о будущей деятельности в подлом направлении.

Чахотка быстро приближалась к концу. Ждали смерти. Родители плакали. Они пред этим только мечтали женить Потесина на одной из соседних помещиц и тем прикрепить его к месту; имелась в виду и служебная протекция в губернском городе, — теперь все эти планы разрушались. Потесин сам видел, что его уже отпевать следует; он принял более спокойный тон и, как мог, утешал плачущих. Смерть не пугала его.

— Эх, маменька! (говорил он) да о чем же вы печалитесь? Вы умрете? уверены в том? Ну, и я умру. Да знаю, что будет и по смерти моей. Сначала вынесут меня торжественно из квартиры; около получаса понесут гроб

на руках, а потом поставят его на дроги, — отпоют обедню, панихиду, прольются слезы полунеподдельные; потом в каретах поспешат на поминки. Поминки равняются отличному именинному обеду. Во время киселя и блинов заупокойных споют «вечную память»; подпивши, начнут веселиться. И прокутите вы до глубокой ночи, и прокутите весело, счастливо, — и дай вам боже на это дело больше времени, потому что о мертвых нечего болеть, — отжили, и ладно. Потом долго будете вспоминать день моего упокоения не как день скорби (она залечится), а как день веселого праздника. И что же? Неужели вы думаете, что я на это осержусь? Я, напротив, радоваться буду, что моя могила была поводом к лишнему празднику для людей — хоть эти люди и лишние на свете, — лишние, по моему понятию, но не лишние на самом деле. Живите, живите, а когда доживете до смерти, то закажите самые веселые поминки, чтобы ваши живые родственники и потомки также бы на ваших поминках пожили хоть один день из своей жизни весело, ибо веселье и счастье цель жизни человеческой. Братцы, добывайте себе веселья, в каких бы формах оно ни выражалось! Живите, братцы!

На последний раз счастье поблагоприятствовало Потесину и избавило его от возможности сделаться «подлецом». Он умер. Перед смертью он долго давал младшему брату разные наставления, учил его жить... В чем состояли эти наставления Потесина — неизвестно. Вероятно, он повторил брату те же мрачные, болезненно дикие уроки, что одною прямою честностью, одними обличениями в обществе ничего не поделаешь, что лбом стены не пробьешь, что за откровенную честность пострадать можно, что с подлецами подличать следует и т. п. Сильное впечатление произвели на родню эти ядовитые речи.

Юноша-брат, получив предсмертную исповедь и наставление житейское от Потесина, ходил как ошалелый после смерти его. Старшая сестра злилась. Отец глупо смотрел в окно. Братишке стало невыносимо скучно; он под вечер отправился на кладбище, на свежую могилу брата. Сначала он заплакал, потом ужас охватил расцветающую его душу. Он поздно ушел с кладбища. Поди-ка, молодой человек, погуляй по белу свету, поищи добра да счастия! Вот и ты не глуп, как и брат твой, — и с тобою что-то будет? Погибнешь ты или нет? Вероятно, да!

Поздно вернулся он домой. Перед окном сидела неподвижно его старшая сестра. Старая, несчастная старая дева взглянула на него. Ему сделалось страшно — она походила на колдунью. Неужели это бывшая когда-то милая крошка Варя? Она, в сущности дела, тоже мертвый человек. Вспоминала она в эту минуту все пути-дороги жизненные, пройденные ею с мертвым братом, — вспоминала, злилась и роптала. Вставая на сон грядущий, она с бессильною злобою погрозила в окно кулаком. Кому? Кажется, всему миру. Она родилась, чтобы перенесть великую обиду: девство ее осталось ненарушенным. Припомнила она, как не поддавалась соблазну молодых людей, желавших без брака вступить с нею в известные отношения, и старичков, желавших вступить с нею в брак; вспомнила, с какою гордостью она отказывала им, и теперь прокляла и добрую свою нравственность, и чистую душу, и всех людей на свете, как и брат ее проклял все на свете...

Господа! Страшно жить в том обществе, где подобные жизни совершаются сплошь и рядом!..

*1862*



# Андрей Федорыч Чебанов



Андрей Федорыч Чебанов «волею Зевеса был наследником всех своих родных». Он владел по крайней мере тысячью душ. Лишь только стукнуло ему двадцать с годом, срок гражданского совершеннолетия, как он сделался обладателем огромных поместий и земель. Но он получил свободу именно только в двадцать с годом, когда лишился отца и матери. До тех пор его личность самостоятельно, самодеятельно не проявлялась ничем. Не подумайте, что родители его были деспоты, — ничуть не бывало; но он получил то странное, обезличивающее воспитание, которое встречается только у русских богатых и так называемых образованных бар. Он начал говорить по-русски только на двенадцатом году. Родился он за границей, в Италии, и прожил с отцом и матерью там до девяти лет... Элементарное образование он получил в Германии и Франции, а потом в России, но все-таки от немца и француза. Наконец ему наняли дома в учителя для русского языка одного кандидата университета, мещанского происхождения, человека, прошедшего огонь и воду и исходившего почти всю Русь пешком: он из Вологды пришел в Питер с несколькими пятаками в кармане, тяжелым трудом добыл ученую степень и теперь начинал пробивать себе дорогу в свете. Ученик и учитель никогда не могли понять друг друга. Учителю, по фамилии Лесникову, пришлось учить точно не мальчика, сына русского помещика, а какого-то космополита. Очевидно, требовалось долгих трудов, чтобы развить ребенка до понимания духа родного народа и жизни.

Андрюша не понимал не только наших сказок, песен, преданий старины, но подчас и Пушкина с Гоголем. Фразы вроде «Русь страна варварская, дикая» или «посмотрите на Западе, какие там учреждения» и т. п., фразы, имеющие значение в устах людей, знающих и Запад и родину и, следовательно, имеющих основания к сравнениям, — в его устах, разумеется, не имели никакого смысла и звучали презрением к родине... Учитель же его был не то чтобы славянофил, а чересчур верил в народные силы и, будучи сам мужицкий сын, верил именно в мужика. Отсюда уже между учителем и учеником зародился тайный, глубоко зарытый в душе антагонизм. Читали они раз Гоголя. «Да, — сказал маленький космополит, — русский мужик любит в затылке почесать». — «А отчего это?» — спросил учитель. Андрюша не знал, что сказать. «Неужели без причины?» — «Да так», — отвечал Андрюша. «Так ничего не бывает на свете, ни в жизни, ни в природе». — «Так отчего же наш мужик чешет в затылке?» — «А вот узнайте сами, доищитесь». Андрюша, разумеется, ничего не доискался. Тогда учитель объяснил ему: «Мужик чешет затылок оттого, что у него зудит в нем, а зудит в нем от грязи, грязь набилась во время долгой и трудной работы. И француз, и немец, и англичанин, — говорил он, — если поработают несколько часов на жаре и в поту, будут непременно чесать и затылок, и спину, и живот... Если же мужик и после бани чешется, то это у него уже в привычку обратилось». Против такого аргумента ученик ничего не нашелся ответить. Скажет, бывало, Андрюша: «Наш мужик пьяница», — учитель начинает доказывать, что англичане больше пьют, чем русские, а у французских фабричных даже семилетние дети водку пьют. Скажет ли Андрюша, что наш мужик ленив, учитель показывает ему итальянского лаццарони... Если Андрюша ссылался на бедность, неопрятность и невежество русского простолюдина, учитель в параллель ставил английского фабричного, французского мелкого поземельного владельца, глубокое невежество многих граждан той и другой страны, до того глубокое, что многие из них не понимают, что такое бог, потому что в первый раз слышат это имя. Он прямо ему говорил, что мужик наш оттого беден, что он крепостной. И во всем так. Мы сказали, что Лесников не был славянофил, но

он всегда отстаивал перед учеником народ, потому что его раздражало это легкомысленное, ни на чем не основанное отношение к нему Андрюши. «Вы узнайте народ, тогда, пожалуй, браните его и хвалите Запад, а теперь вы не имеете на то никакого права».

Ученик с учителем решительно не могли сойтись.

Другая беда — это несовершеннолетний, отроческий либерализм и претензии на политические тенденции. Тут просто мальчик казался педагогу нестерпимым маленьким фатом, хотя этого и не было на деле. Андрюша был фразером, не подозревая того, как люди и противоположного воспитания бывают квасными патриотами в детстве, считая себя маленькими сынками отечества. Фраза в детстве не заключает в себе лжи, она заключает в себе искреннее чувство, только ложно направленное. Чебанову позволялось читать что хочет, и он имел несчастие читать политику и публицистику, в которых девяти частей не понимал, а десятую понимал шиворот-навыворот. В нем развилось не то чтобы страсть, а пристрастие к общественным вопросам. Читая Круммахера и тому подобных нелепых писателей для детей, он рассуждал о свободе, равенстве, судах, гласности и т. п. Он часто прерывал урок разными вопросами, не относящимися к делу. Словом, он был только по рождению русский, а в космополитическом отношении у него был сумбур в голове.

С одной стороны, совершенная оторванность от родины, родного языка, веры, обычаев и преданий в самом впечатлительном возрасте, с другой стороны, преждевременная, непосильная работа над предметами вовсе не детскими — сильно смущали учителя, и он не раз хотел прекратить кондиции, теряя всякую надежду что-нибудь сделать из своего ученика. Но он замечал в Андрюше доброе, мягкое сердце, полную готовность понять его, внимательность и способность увлекаться, хотя и не был он усидчив, не было у него выдержанности и регулярности в характере. Лесников решился быть не только Андрюшиным учителем, но и воспитателем. Когда мальчик освоился достаточно с русским языком, Лесников стал его водить на пашни, луга, в лес, на озеро, заставлял его вникать в крестьянский быт, смотреть хороводы, слушать песни и сказки. Это не совсем нравилось отцу. «К чему это?» — спрашивал он. «Не

зная нисколько жизни народа русского хотя одной какой-нибудь местности, нельзя знать и языка русского, язык — отражение народной жизни», — отвечал Лесников. Отец соглашался, тем более что видел в учителе безукоризненное усердие; но всячески он, получивши сам французское образование, не особенно заботился и наблюдал успехи сына по предметам Лесникова. Лесников более года добивался, чтобы отпустили ученика его вояжировать с ним по России, которую сам знал хорошо, назначая на первый раз путешествие вдоль по всей Волге. Он основательно доказывал, что гораздо благоразумнее малолетних детей ознакомить сначала с родиной под руководством опытного наставника, нежели шляться с ними без всякой пользы по чужим землям; что, приобретши сведения о своей земле, они в юношестве отправятся за границу с полной подготовкой к дельному путешествию. Его слушали, соглашались с ним, но все-таки Андрюша увидел Волгу только на девятнадцатом году, когда ехал в университет. Во всяком случае, Лесников много принес пользы Андрюше. Если бы не он, бог знает что бы и вышло из мальчика. Беспощадно анализируя его фразы, он спас его в будущем от привычки лгать. Но перевоспитать своего ученика окончательно он все-таки не мог: чересчур сильно было влияние прежних годов. Воспитателями, равно как и учителями по всем другим предметам, кроме русского языка, были немец и француз. Вообще у русского человека не лежит сердце к немцу; Лесников же просто возненавидел своего сотрудника, хотя и звали его гер Шеллинг. Этот-то Шеллинг, собственно, и заправлял всем делом. Отец Чебанов не допускал никакого насилия в воспитании сына: телесные наказания и штрафы какого бы то ни было рода были изгнаны. Допускались в редком случае выговоры и внушения. С баричем обращались почтительно, и сам барич вел себя с достоинством. Каким же образом достигали того, что Андрюша и вел себя как джентльмен и всегда готовил уроки? Он с самого молоду, с пеленок видел около себя порядочность, был приучен к ней постепенно, а главное, употреблялись всевозможные искусственные педагогические меры, чтобы дитя училось легко и шутя. Никакого усилия, никакого почти труда не стоило Андрюше выучивать уроки. Он всегда был исправен, всегда знал урок, но никогда

не работал сам над ним. Немец за неделю до известного урока незаметно для ученика подготовлял его; и потом, при разных учебных пособиях, картах, картинах, моделях и т. п., урок вкладывался в голову мальчика. Была построена целая сеть педагогическая, при помощи которой ловили ум и память мальчика, заставляя их удерживать в себе то, что учитель считал необходимым. Незаметно, легко шло преподавание. При этом постоянно наблюдали здоровье ученика, расположение его духа, впрочем большею частию всегда ровное, ловили, в какую минуту и когда к нему подойти, подмечали те или другие свойства его, склонности — и всем этим пользовались под руководством немца, чтобы достигнуть педагогической цели. Хороша или дурна эта система, пусть всякий судит сам, но Лесников за эту-то систему пуще всего и возненавидел немца. «Уродуют барчонка, — говорил он, — не дадут самому пошевелить мозгами. Барина растят. Этот колбасник не педагог, а лакей по умственной части. В физическом отношении Андрюша избалован, у него два лакея; он сам не оденется, сам умыться не умеет, налить супу в тарелку; хотят, чтобы он сам и в науке ничего не мог делать, ему тоже подают эти лакеи, немец да француз. Из этого выйдет одна гадость — мальчик будет иметь сведения, но он, хотя и не лишен способностей, навсегда останется дилетантом. Теперь перед ним лакействует немецкая кикимора, вырастет большой — будет плясать по дудке того или другого журнала или газеты, того или другого кружка. Отец хвастает, что из его сына не выйдет хлыща, полотера или человека, помешанного на чинах, кутилы; положим, так, но и помимо всего этого можно остаться дураком и весь век коптить небо. Ведь вон у него около тысячи душ крестьян. Не умея сам шевельнуть мозгами, что он с ними будет делать? Разумеется, попадется в лапы первого негодяя управляющего. Зашиб бы этого проклятого немца!» Так рассуждал Лесников. В спорах с немцем он никогда не сходился во мнениях, а в практике педагогической всегда противодействовал ему. Лесников заставлял Андрюшу самого добиваться до истины, руководя только в некоторых научных приемах. Он учил его размышлять. Но и у самого Андрюши не совсем лежало сердце к Лесникову. Хотя он не был совершенно дюжинною личностию, но и не выдавался в среде

окружающих его лиц из ряду вон. Мальчик, дитя своего общества, в душе которого не находилось никаких задатков для протеста какой бы то ни было его стороне, — даже более: который уже был полный член и адепт этого общества, — он чувствовал, что в его быт и миросозерцание Лесников вносит что-то новое, что расстраивает его душевный мир и гармонию детской жизни. Будучи приучен к самонедеятельности, он после работ с Лесниковым утомлялся, впадал в скуку, терял аппетит. Он не любил его, хотя и уважал. Он смотрел на учителя с любопытством, видя в первый раз в своем кругу такого человека. Уже Лесников был полезен мальчику лично своею персоною, заставляя пытливо задумываться над нею. Разумеется, мальчик не мог разгадать натуру плебея, с которым впервые стоял лицом к лицу. Немец, — мы забыли сказать, что этот немец был из католиков, самый гадкий тип немца, — зорко следил за питомцем и шептал на ухо папаше, особенно же мамаше, что их единородное чадо находится в опасности от грубого, неотесанного мужика Лесникова. Папаша был холоден к Лесникову, но уважал его за его честное исполнение своих обязательств. Мамаша же ничего не хотела знать — она ненавидела Лесникова; дошло до того, что всякую простуду, боль живота, рассеянность, случайную и кратковременную холодность к ней сына мама стала объяснять влиянием Лесникова. Последний понимал это и в душе называл ее пресной бабой, которую следует закутать во фланель и поить парным козьим молоком. Досадно было Лесникову, но он упорно шел к своей цели, желая во что бы то ни стало развить в ученике стремление к личной работе. Ему хотелось, чтобы обрусел возможно более этот космополит мальчик, обрусел бы назло и папаше, и мамаше, и проклятым немцу и французу. Как развитый человек мечтает, что невежественный простолюдин ознакомится, под его усилиями, с наукой и искусством образованных людей, так и Лесников бился изо всех сил — только не снизу, а сверху, не из среды простонародия, а из среды аристократизма вырвать человека. Он гордился тем, он мечтал о том, что выйдет, и причиной тому будет он, Лесников.

Но педагог смутно чувствовал, что мало достигает своей цели, хотя и не хотел сознаться в том ясно.

Немца Лесников не любил, но все-таки называл умным скотом; но француза он называл просто безмозглой головой.

Детский либерализм и преждевременная, ни к чему не ведущая дипломатика, привитая насильственно, была делом француза, действительно враля отпетого, всегда искусственно раздражавшегося своими фразами Этого господина Лесников часто обрывал. И за это отец Чебанов уважал Лесникова, потому что смотрел на француза тоже с презрением; но француз состоял в качестве фаворита у мамаши, у которой, откровенно говоря, не было в голове ни царя, ни царицы. Немца она брала под свое покровительство и как учителя и как няньку своего единственного сына, а француза, кроме того, как приятного для нее собеседника и услужливого, ловкого кавалера. Француз внушал ей, что из Андрюши со временем выйдет дипломат, что у него и теперь обнаруживаются явные наклонности к политике, что он, родившись за границею и путешествуя по Европе, видел почти все европейские государства и, таким образом, даже на двенадцатом году обогатился сведениями, необходимыми для дипломата и политика. «Глупая женщина, — думал Лесников, — чему верит! Чтобы быть дипломатом, надо иметь способность к самостоятельной работе мозгами, а мальчика только я заставляю работать ими. Во всех других случаях мозгами ребенка работают немец и француз, хотя того дитя и не подозревает. Его головой распоряжаются по произволу. Вся эта страсть к политике в Андрюше напущена, раздута искусственно, и это тем легче было сделать, что мальчику всегда хочется, чтобы его считали взрослым, а он тут делит и межует Европу, устраивает конгрессы, заключает конвенции, рассылает царям и царицам ноты, а подчас и головомойки... Это считают признаком дипломатического призвания!.. Знатный выйдет дипломат из мальчика, которого растят педагогические холопы!..»

Относительно подготовки ребенка к дипломатике чрез путешествие его по Европе Лесников тоже не мог согласиться с французом.

«Самое путешествие, — говорил он, — повело ко вреду Андрюши. Быстро перелетая из города в город, не останавливаясь нигде надолго, он приобрел дурную привычку к невнимательности и верхоглядству. Это то

же самое, что в один прием обойти петербургский Эрмитаж, — не много будет сделано для эстетического развития. Лучше было бы внимательно изучить одну деревню, нежели быстро окидывать взором целые территории. Неужели, если я промчусь семьсот верст в течение полутора суток по железной дороге, то это будет значить, что я путешествовал на протяжении семисот верст? Такие вояжи, какие делал Андрюша, способны приготовить не дипломата, а шатуна, который весь век будет слоняться без толку по белу свету. Самое путешествие за границей, о котором иной весь век мечтает, да часто так и умирает с прекрасною мечтою, путешествие, ознакомляющее нас с бытом и учреждениями других народов, сглаживает наш узкий либерализм, — для этих господ служит только ко вреду. Глупа эта женщина, что слушает француза!»

«Но я, — думал Лесников с упорством, — спасу этого мальчика!.. Посмотрим, чья возьмет!..»

Но с французом бороться было трудно. Когда Лесников шел против методы немца, вводя ученика своего в новый мир, тогда мальчика часто увлекала новизна предметов и даже самая самодеятельность; но идти против француза — значило тревожить детское самолюбие, разочаровывать ребенка, доказывать ему, что он не взрослый, а дитя. Против француза у него было мало шансов, и он потерпел в борьбе с ним полное фиаско.

Таким образом, Лесников встал во враждебные отношения со всеми сотрудниками по делу образования Андрюши. Но он не совсем дружелюбно относился и к ученику. Ему не нравился характер мальчика. Такие характеры многие называют внешними. В них есть одна определяющая черта. Андрюша не понимал природы, не умел наслаждаться ею; он не засматривался на ясное небо ни днем, ни ночью, не прислушивался к голосам и шуму леса; пруды, каскады, ручьи и ключи не имели для него поэтической прелести; в грозе он не находил ничего грандиозного. Это, по словам Лесникова, зависело тоже от бестолкового, как выражался он, путешествия по Европе, где пейзажи разных стран перед ним сменялись, как в калейдоскопе, так что пригляделись и приелись. Его более занимала театральная декорация, чем самый роскошный природный вид. Природа была для него мертвою книгой. Он жил единственно среди

людей. Но и здесь надобно сделать ограничение. Отец и мать его были аристократы в душе, но в то же время люди настолько с тактом, что никогда не обнаруживали своего аристократизма резко. Собственно говоря, они не презирали плебеев, не считали их людьми другого порядка, даже не называли пошлым именем *меньшей братии,* считая себя *старшей;* но... да трудно и понять то чувство, с которым они относились к плебею. То чувство было не презрение, а что-то вроде гадливости, нежелания прикоснуться к неприятному предмету. «Ты нам ровен, — сказали бы они плебею, формулируя свои убеждения, — имеешь право на все, на что имеем мы; но не суйся к нам; между нами могут быть разного рода сделки, но никак не близкое знакомство или родство!» Что ж? на этом можно еще сойтись, если уж не хотят аристократы слиться с плебсом. Но не так думал Лесников. Ему досадно было, что семейные убеждения довольно сильно отразились на Андрюше. Андрюша был честен и добр, но все-таки чувство необщительности с другими классами не рекомендовало его характер. Лесникову хотелось во что бы то ни стало перевоспитать мальчика.

Но чем же кончилось дело?

Дело кончилось тем, что Лесников однажды вышел из себя и выругал немца. Устроился довольно почтенный скандал. Лесникову предложили оставить дом Чебановых.

Долго он сидел в последний вечер, который проводил у Чебановых.

«Ну, что же я успел сделать для Андрюши? — думал он. — Мальчик начал довольно правильно владеть родным языком, ознакомился несколько с окружающею его жизнью, полюбил некоторых русских поэтов, хотя народная поэзия, даже Кольцов, более других понятный высшему классу, осталась для него неразрезанною книгой. Он все-таки остался барином».

Лесников злился. Ему жалко чего-то было, и в то же время он чуял в душе обиду, досаду, оскорбление.

Но чего ему жалко было?

Не о потере выгодного в денежном отношении места учительского он жалел. Он успел скопить деньжонки. С Чебановыми-родителями он не прерывал никаких интимных связей. Немца и француза, своих сотрудников,

он, как говорил, повесил бы на первой осине, хотя, само собою разумеется, не сделал бы этого, если бы к тому и представился случай. Прислуга дома ему тоже не была особенно по сердцу. Нравилась ему местная природа, но не унывать же оттого, что приходилось оставить ее.

«Андрюши, что ли, мне жаль?» — подумал он.

Не любя лгать перед собою, Лесников сознался, что это неправда, что он не любит Андрюшу — и в эту минуту всего более.

Что же?

Ему было горько и досадно. Его самолюбие страдало — не оттого, что ему указали двери, а оттого, что все его труды привели к такому ничтожному результату. Он оказался бессильным в перевоспитании Андрюши. Он теперь называл себя дураком, что взялся за такое дело, а тяжело сознаться самому себе, что ты сглупил.

— Да разве можно перевоспитать барича? — говорил он. — Они и слово особое для себя придумали; их, видите ли, «среда заедает»... жалкие, жалкие люди!.. Говорят, что трудно к мужику подойти, что он зарылся и спрятался от образованного человека, не допускает его в тайники своего миросозерцания; но вряд ли легче проникнуть и в тайники этих аристократов, вряд ли и к ним подойти сумеешь.

После некоторого раздумья он спросил себя:

— Но любил ли я Андрюшу?..

— Нет, — ответил он, — ну и черт с ним.

На другой день он уехал.

*1863*



# Поречане

РАССКАЗ



## I

## Дивный уголок земли

На берегу реки Озерной раскинуты два большие поселения, составляющие предместье огромного и богатого города, — Большая Поречна и Малая Поречна. Они разделяются между собою речкою Чернавкой. При впадении Чернавки в Озерную стоит казенная верфь.

Действие нашего рассказа происходит в Малой Поречне.

Малая Поречна не город, не деревня, не посад. Организация этого селения оригинальна. Обе Поречны основаны Петром I. Он построил при Озерной верфь; для верфи понадобились работники; Петр и выписал из Новгородской, Тверской и Олонецкой губерний разного рода вольных людей, в числе трех сотен, из которых поселил две в Большой Поречне, а одну в Малой. Поколение за поколением, от этих колонистов разрослось население поречан до четырех тысяч. Они должны были работать на царя топором, пилою и долотом на казенной верфи треть года, а остальные две трети могли заниматься чем угодно.

Поречну мы назвали предместием города, но она в то же время составляла квартал города, имела полицейского офицера, городового, хожалых и бутарей. Составляя часть города, она, казалось, должна была подчиняться всем учреждениям и законам городским; но на деле было не так. За то, что поречане для верфи бросили родину, прикрепились к ней, подчинились морскому ведомству, не могли приписаться ни к мещанству, ни к купечеству, они получили многие льготы и привилегии:

им даны были свое правление, суд и расправа, свои *общественные суммы, не подлежащие ведению Думы*; поречане были освобождены от податей, солдатчины и других повинностей; они сами заботились о своей церкви, школе, дорогах и т. п.; наконец, наделены были землями взамен тех, которые оставили для верфи. Вследствие такой конституции, данной поречанам, они, отстаивая свою вольность, всегда воевали с полицией и достигли того, что она не имела для них никакого значения.

При таком самоуправлении поречане по натуре своей были народ своенравного закала. Вы и теперь встретите в Поречне осьмиконечные кресты, врезанные в ворота домов, — знак того, что в ней немало староверов, а в старые годы почти все население Поречны состояло из раскольников беспоповщинской секты. Несколько лет тому назад разрушена их молельня; кладбище, на котором покоились родные их и земляки, было разметано; могильный камень, дерево, железо и бронза были расхищены, самая молельня обращена в православную церковь. Впрочем, в то время большинство поречан были православными, и потому оскорбленье пало на меньшую часть их. Но тем не менее в существе дела, в натуре своей, поречане *все* были раскольники; традиция прежних нравов сохранилась в полной силе в их быту. Поречане наследовали от отцов и дедов независимость и упорство в своих понятиях и жизни, которые еще более развились под влиянием привилегий, данных от Петра.

Самый род занятий, работы, которыми промышляли поречане, должны были вносить в их быт развивающие элементы. Они были столярами, плотниками, токарями, резчиками, позолотчиками. Всякая работа влияет на характер человека: сапожник и портной от сидячей жизни пьянствуют; никто на Руси так не лается, как бурлаки, потому что их работа невыносимо тяжела; мясники — все народ краснощекий и здоровый, потому что постоянно дышат испарениями свежего мяса и едят свежее мясо; рыбаки — люди кроткие, потому что живут среди природы, — недаром Христос из среды их выбрал своих апостолов, и т. д. То же самое было и с поречанами: род занятий влиял на их нравы; особенно токарное и резчицкое дело, которые составляют как бы переходную ступень от ремесла к искусству, стоят в средине

между ними, требовали некоторой развитости и изящного вкуса, понимания симметрии, изобретательности рисунка, знания пород и доброт разного вида дерев; при них употребляются циркуль, транспортир, винты, винкель, стропило, ватерпас и множество других инструментов и приборов, требующих для обращения с ними некоторой образованности и развитости; необходимо было уметь считать и чертить, — а это без грамоты и письма почти немыслимо. Словом, их занятия требовали научных сведений, хотя и не очень больших. Вот почему в Поречне есть школа, и вот почему обыватели ее большею частию народ грамотный; скажем более: некоторые поречане выписывали газеты, даже журналы и покупали книги; правда, такие лица составляли исключение, но все-таки они были. Деды поречан — раскольники, а среди раскольников, как известно, много людей грамотных; поэтому-то грамотность, по преданию, вошла в обычай у поречан; если кто не читал современных изданий, то держал в доме какую-нибудь старинную книгу, рукопись, Библию, а зажиточные даже Четьи-Минею — издание очень дорогое. Все это более или менее должно было цивилизовать поречан.

Быт женщин в Поречне тоже отличался характерными особенностями. Происходя от беспоповцев, у которых мужчина и женщина совокуплялись между собою без брака церковного, поречанки развили и воспитали в себе широко свободные отношения к мужчинам. Поречанка, прежде нежели вступала в супружество, *женихалась* с своим суженым год, два и даже более. Не только посторонние, но и родители редко обращали на то внимание; случалось даже так, что отец и мать ужинают, а дочь их за порогом совершает с своим *душкой* — если не эмансипацию, то... как бы сказать?.. ну, *сипондряцию,* что ли, как выражается один мой знакомый. После такой, нередко трехлетней, сипондряции женихавшиеся почти никогда не изменяли друг другу. Незаконное дитя, следствие жениханья, не стесняло никого: оно, как и законное, делалось прикрепленным к верфи поречанином или поречанкою и приобретало права детей, рожденных в церковном браке. Но, господа, любящие клубничку, помните, крепко помните, что свобода нравов допускалась только между поречанами; пришлые из города не пользовались удобствами местной эмансипации:

если из них кто обнаруживал поползновение на поречанку, то дорого платился за это. Так, один богатый купчик стал ухаживать за хорошенькой поречанкой; его избили до скоротечной чахотки, и последовало отдание души его куда следует. Равным образом, одна довольно крупного чина особа изволила посягнуть на поречанку; эту крупного чина особу до жестокого возбуждения и чувствительности кожи отодрали жгучею крапивой, говоря: «Это значит — мы сеем *крапивное семя*». Подобных историй, устраиваемых пореченским амуром, было немало... Что же это значит?.. Откуда эта свобода для себя и стеснение для посторонних?.. «Нам самим баб надо!» — говорили поречане... И в самом деле, где же взять их, если поречанки будут изменять местному амуру?.. Ведь очень редко не поречанка пойдет за прикрепленного к верфи. Вот почему поречанка, свободная дома, на стороне стеснялась строгим контролем. Но только в этом поречанки и были стеснены; в других отношениях они были женщины вполне самостоятельные. Их сила заключалась в том, что они, не походя на наших барышень, для которых отец должен заготовлять деньги в виде приданого для их замужнего существования, были независимы в материальном отношении. В Поречне муж редко заботился о прокормлении своей жены — она сама кормила себя, а иногда мужа и детей. Поречанки торговали в городе молочными скопами и добывали денег никак не менее своих мужей и братьев. Скажут, что при нашем общественном строе это ничего не значит: муж всегда может отобрать от жены добытые ею деньги. Может. Но, с одной стороны, поречане в долгий период женихания, предшествовавший свадьбе, имели возможность коротко узнать друг друга, вследствие чего меньше было шансов для несчастных браков; а с другой стороны, поречанки имели довольно крепкие мышцы: они носили в город на коромыслах молоко и сливки в жестяных кувшинах мерою в два и три ведра, делая поход верст в двадцать и более, — это развивало их мышцы; наконец, поречанки, по общей слабости женщин — перемывать кости ближнего, любили во время похода болтать; грохот экипажей по мостовой города заглушал их голоса, они должны были сильно напрягать легкие, — оттого легкие развивались, и вот почему поречанки были народ грудастый и горластый; они в спорах

с мужчинами употребляли в дело грудные мехи, от которых зависела немалая доля их успеха. Итак, нравственная сила, денежная сила, мышечная сила и гортанная сила должны были создать тип поречанки. Человека, из которого должен выйти дурной муж, поречанка, если она не дура, разгадать может во время женихаיья и бросить его; если ошибется — пойдет замуж; а муж станет куражиться, она спрячет от него свои деньги; станет муж драться, она сдачи даст; муж окажется сильнее, она заревет во всю свою здоровенную грудь, так что по крайней мере половина Поречны узнает, кто бьет, кого бьет и за что бьет; а вырвавшись из рук сожителя, она, выбежав на улицу, опозорит его на весь мир божий. Случалось и так: муж попадался бесталанный и притом слабосильный; тогда главою семейства становилась женщина: она кормила, поила и одевала семью, заправляла хозяйством, воспитанием детей, а супруг занимал то положение, которое обыкновенно, в большей части случаев, занимает у нас жена по отношению к мужу. Вообще в Поречне женщина не могла быть подавлена мужским деспотизмом.

Итак, в Поречне процветало самоуправление, вольный дух, образованность, эмансипация женских прав... Не правда ли, что дивное местечко, славный уголок земли?.. Но, читатель, не увлекайтесь. С поверхностного, птичьего полета Поречна была прекрасна, но взглянем поближе на нее, и на первый раз взглянем хоть на внешний вид Поречны.

Малая Поречна имеет довольно красивую кладбищенскую церковь, которая разделяет ее на два края, или конца, имеет правление, школу, ресторацию «Магнит», виноторговлю, два кабака, восемь мелочных лавок (мясных и булочных нет). В ней только три каменных дома, остальные — все деревянные, и среди деревянных не более десятка двухэтажных. Почти четвертая часть домов представляет собою вид печальный: это черные, гнилые, рассевшиеся надвое и натрое избушки, вросшие в землю, и у тех избушек прогнили крыши, покачнулись стены, отчего и подперты они досками и кольями; перекосившиеся окна нередко заклеены бумагою или тряпицею, а не то и просто заткнуты мужицким армяком или бабьим капотом. Левый край Малой Поречны вымощен булыжником, но было бы гораздо лучше для обывателей,

когда бы совсем не существовало у них мощеного проспекта, который никогда не ремонтировался и был изъязвлен рытвинами, ухабами, буераками и разного рода чертоплешинами. Посреди проспекта Малой Поречны положены дощатые мостки, страшно исковерканные и испещренные прорехами и неуклюжими заплатами; дыры и заплаты ломали ноги трезвому и пьяному люду пореченскому. В Малой Поречне почти нет садов; обильная зелень только и встречается на кладбище, которое вследствие того служит для обывателей публичным садом. Некогда же селение было окружено дремучими лесами, переполненными сосною и елью, березняком, осиной и рябиной, в них попадались дуб и клен; но леса давно вырублены верст на двадцать кругом во все стороны — дерево пошло на топливо, постройки и поделки разного рода, даже коренья вырыты из земли и сожжены в печах пореченских. Теперь сзади селения лежат необъятные для взора сенокосы, а спереди течет широкая, быстрая, светловодная красавица, река Озерная.

Таков общий вид Поречны. Отчего же он, несмотря на самоуправление, вольный дух, образованность и эмансипацию, так печален? А вот разберем, каковы в ней были самоуправление, вольный дух, образованность и эмансипация женских прав: тогда и увидим, в чем дело.

## II

## Бабу надо

Иван Семеныч Огородников, пореченский селянин, столярный мастер, был здоровеннейший парень лет двадцати четырех, красавец собой, курчавый, широкоплечий, крепкогрудый и первый силач на Поречне. Он, несмотря на видимую доброту своего сердца, был, как увидим, мошенник на правую руку и на левую руку.

Иван Семеныч зимним вечером сидел в своей неприглядной маленькой мастерской, которую рассматривал с полным отвращением. Взглянул он на верстак, на оструганную доску, на опилки под верстаком, на сальный огарок на нем — и на все это плюнул со злостью...

— Чего же я злюсь? — спросил он себя.

— Не знаю, — ответил он сам себе.

Иван Семеныч стал снова озирать свое жилище.

«Какое у меня, — думал он, — значит, есть богатство и украшение в комнате?.. Посмотрим... В углу образ божией матери, но ведь без всякого оклада... Под ней Георгий-победоносец... да что в нем *плезиру?* сам-то Георгий давным-давно слинял, и осталась от него одна лошадь да ноги самого...»

Иван Семеныч плюнул.

— Посмотрим, что еще у нас?.. Это что? — спросил он, глядя на маленькую, в полвершка величиною, картинку, прикрытую стеклышком.

— Это что?

— Ах ты, леший, — отвечал он, — ведь это с табачной бандероли вырезанная цифра «два»...

— Ты зачем здесь?.. вон!

Иван Семеныч сорвал со стены цифру и растоптал ногами приклеенное к ней стекло.

— Что далее? — говорил он... — А!.. портрет генерала... Но отчего ему рожу перекосило?.. Разве такие бывают генералы? Разве у генералов бывают вместо щек титьки?.. Разве генералы имеют кривой нос?.. А зачем глаза его смотрят — один в Москву, другой в Питер?.. К чему рисуют такие святочные хари?.. Будто это генерал?.. Подожди, я доберусь до тебя, — сказал он, погрозив генералу кулаком... — Господи, как мне скучно, как тяжело! — заключил Иван Семеныч. — Отчего же это?

Иван Семеныч стал ходить по комнате, отыскивая в ней по углам и под лавками причину своей скуки, и нигде не отыскал ее.

— Черт знает что такое!.. — проговорил он. — Кажется, я человек работящий... дело свое справляю, значит, как следует, в храм божий хожу... по праздникам попов принимаю... царю я слуга верный... человек я образованный... я сыт, обут, одет... девчонки на меня зарятся... Чего еще недостает мне?.. А черт с ней и со скукой!.. Дай поработаю!

Иван Семеныч ввинтил доску в верстак и начал стругать ее. Но это мало развлекло его. Он со злостью бросил на пол струг и стал чесать рыжую овчину на своей голове.

— Лягу же спать, черт их дери!

Полез он на печь, но не спится ему... После долгого поворачиванья с боку на бок он проговорил:

— Нет же, стану работать!..

Он взял в руки долото и стал долбить им доску. Но вдруг бешенство напало на него...

— Тяжко, тяжко! — шептал он, всаживая долото в дерево...

В это время перед ним, при мерцающем свете сального огарка, на закоптелой и покрытой тараканами стене вырезалась картина генерала.

— Чего ты смотришь на меня? — закричал Иван Семеныч генералу грозно.

При дрожащем свете огарка генерал мигнул — одним глазом в Москву, другим в Питер.

— Молчи, черт! — кричал наш герой.

Генерал, разумеется, ни слова.

— Поговори ты у меня!

Генерал не говорит. Но у Ивана Семеныча, вероятно, было очень сильное воображение, доводящее его и в трезвом виде до галлюцинаций. При напряженном состоянии нервов ему слышалось что-то.

— Чего ж тебе надобно? — вопил он.

Генерал опять мигнул в Москву и в Питер...

— Хорошо же!

Иван Семеныч всадил долото в лоб генерала.

— Я тебе и брюхо распорю.

Распорол.

— Я тебя совсем задушу!

Иван Семеныч сорвал невинную картину, бросил ее на пол и стал топтать ее своими крепкими ступнями. Но вдруг на него нашло раздумье.

— Что я делаю?.. Что я делаю?.. к чему это?.. Что это со мной? Боже мой, боже мой!..

Он стал шагать по комнате, снова осмотрел ее всю и потом остановился среди бедной хаты. В ту минуту он походил на египтянина, которому сфинкс задал неразрешимую загадку. В чем же состояла эта загадка? В вопросе: «Что мне надо?» Вся фигура Ивана Семеныча выражала темную грусть. Он никак не мог поймать за хвост ту причину, которая породила его грусть. Лицо его снова побагровело злостью, кровь бросилась в голову, зубы стиснулись, кулак сжался; но потом неожиданно лицо осветилось чем-то вроде небесной радуги.

— Кажется, так? — спросил он, ударив себя ладонью по лбу.

Он совсем просветлел.

— Да! — крепко ударил Иван Семеныч словом «да».

Не узнать его теперь: светел стал он, ясен, радужен, похож на сторублевую ассигнацию. Но потом на него напало сомнение, и, подперев пальцем нос, он спросил:

— Будто?

Опять грустью подернулось лицо.

— Именно так!.. Да!.. знаю, что мне надо!.. Что?.. бабу надо!.. Эх, кабы Груньку!..

Иван Семеныч стал одеваться. Оделся и пошел на улицу искать себе бабу.

Милостивые государи, вам, разумеется, не надо бабы, а требуется дама, а вот Ивану Семенычу не надо дамы, а требуется баба. Отыщет ли он ее?

## III

## Баба и любовное объяснение с нею

Иван Семеныч встретил на улице бабу (дама тож), и именно ту, которая ему требовалась.

— Аграфена Митревна, это вы? — спросил он.

— Мы, — было ответом...

— От нас *салон-с* вам.

— Поди прочь, *околелый черт!*

— Мы не околели... От нас *пришпект* вам.

— Что тебе надо, *тавлинник?*

— Табаку не нюхаем... От нас *паперимент* вам.

— Свинья ты!

Иван Семеныч взял Аграфену Митревну за талию: у баб, как и у дам, есть талия.

— Отстань, леший! — сказала пореченская дама (баба тож).

— Полюби меня, — отвечал мой герой...

— Тебя?.. за что?

— За мои таланты.

— У тебя таланты?

— У нас.

— А не хочешь ли, я тебе скажу, что ты, как есть, свинья.



— Это — мы?

— Вы.

Аграфена Митревна расхохоталась.

— Какие это, значит, есть у тебя таланты?

— Что же, Аграфена Митревна, посмотри ты на меня: чем я против других не вышел?

— А ты взгляни, дурак, у тебя изба колется надвое.

Иван Семеныч почесал в затылке.

— Ну, что скажешь?

— Починим.

Иван Семеныч посмотрел в сторону как человек, мучимый совестью.

— В кои веки?

— Уж сделайте одолжение...

— Поди прочь, необразованность.

— Мы необразованны?.. От вас ли я слышу, Аграфена Митревна? Да вот теперь сколько сказал я вам хороших слов.

Иван Семеныч говорил это с полным убеждением. Пореченская образованность выражалась в особого рода типическом красноречии. Это не было красноречие реторическое, стелющееся длинными периодами, не было красноречие семинарское, удобренное славянскими цитатами; это было красноречие чисто туземное, оригинальное и своеобразное. Оно состояло в уменье подбирать *хорошие* слова, вроде *салон, паперимент, пришпект* и т. п. Подслушав в городе, где поречане справляли нередко работы, или вычитав в газете хитрое, нерусское словцо, поречанин пускал его в ход в своем селении. Это слово в устах поречанина совершенно переменяло свой настоящий смысл. Поречанин хорошим словом и обругается, и похвалит, и выразит просьбу, вроде того как и всякий наш соотечественник может выразить крепким русским словцом какое угодно расположение духа. Пореченское красноречие, кроме того, постоянно пересыпалось словами «значит», «околелый черт» и «тавлинник». К туземному красноречию у многих поречан развива-

лась положительная мания. Как теперь помню, переезжал я через Озерную в ялике. Со мною сидел молодой поречанин. Глядя на отстраивающуюся церковь, он сказал: «А ведь церковь строится в историческом стиле». Впадая в его тон, я ответил: «Так; но в основе стиля лежит идеальная трапеция трансцендентального штандпункта». Он заставил меня повторить хитрую фразу несколько раз, запомнил ее, и я уверен, что в тот же день пустил в ход «идеальную трапецию». Таково было красноречие поречан.

— Мы необразованны? — продолжал Иван Семеныч. — Да какой хотите *рецепт* устрою вам.

Аграфене Митревне, очевидно, нравились все *салоны, пришпекты, паперименты* и *рецепты* Ивана Семеныча, но она все-таки отвечала:

— Почище вас найдем.

— Где это?

— Здесь же — в Поречне.

— Кого это?

— Не вас.

— А нас, значит, к свиньям?

— Именно.

— За что же, Аграфена Митревна?

— А за то, что мы для вас — не в коня корм будет: рылом не вышли.

— Что ты говоришь, Аграфена Митревна?.. Побойся ты бога!.. Я ли не красив?.. Посмотри ты на мой рост, на плечи, на грудь, на лапы, наконец, — ведь вона какая рука, кого тресну, так, значит, покойник и будет...

— Что ж из того толку?.. Все-таки у тебя ни кола ни двора... Я на молоке да на сливках добуду рубля два-три, а ты-то что?..

— Я же, Аграфена Митревна, человек работящий.

— Знаю... и вор изрядный...

— Что ж?.. это не к худу: разживемся, даст бог.

— Ты-то?

— Мы.

— Дурак ты, дурак, право, дурак.

— Аграфена Митревна, — стал говорить Иван Семеныч патетическим голосом, — пожалей ты меня, сироту, человека одинокого... Скучно одному, тошно!.. Ни отца,

ни матери нет, ни братьев, ни сестер... Что же мне делать?.. не в кабак же идти... не черту душу продать... Голубушка моя милая!.. полюби меня, Аграфена Митревна... Ей-богу, души своей не пожалею для того, чтоб ты в золоте ходила... Мне без тебя ведь жизнь не жизнь...

— А мне-то что? — ответила Аграфена Митревна.

Темные тучи заходили по лицу Ивана Семеныча.

— Значит, Аграфена Митревна, так-таки и ничего? — спросил он.

— Само собою...

— Когда так, мне все равно!.. Что хочешь, а свое я возьму!.. Я люблю тебя, Грушенька!..

Иван Семеныч бросился на бабу (дама тож) и заключил ее в могучие объятия. Стал он ее «целовать, крепко к груди прижимать»... Но хотя Иван Семеныч был первый богатырь в Поречне, дама сумела высвободиться от него: она укусила Ивана Семеныча в шею; Иван Семеныч в ту минуту отпустил ее; баба (дама тож) ударилась в беги... Иван Семеныч за бабой, баба от него; он за бабой, баба дальше. Он уже настигает бабу, но когда оставалось только протянуть руку и схватить бабу, она скрылась за воротами своего дома...

— Ушла, свинья! — говорил Иван Семеныч.

— Околелый черт! — послышалось из-за ворот.

Темно на улице, и потому только рассмотреть нельзя, как по щекам Ивана Семеныча ползут ядовитые слезы. Он, читатели, сильно любил. Но странно любил этот человек, по-пореченски...

— Груня!.. Грунька!.. — заговорил он. — За что ты меня не любишь? Эх!..

Пошел Иван Семеныч в свою закоптелую, изъеденную плесенью и тараканами избу.

— Проклятое бабье! — говорил он. — Чертова порода!.. Взять бы тебя, любезная моя Аграфена Митревна, да поднять подол, да задать хороших шлепендрясов — вот и был бы *паперимент* вашей милости!.. А, ей-богу, сделаю это!.. При всем честном народе опозорю... Ох, бедность, бедность!

## IV

## О том, как в Поречне все бабы рот расстегнули

Одиннадцать часов утра. Если бы поречане читали г. Берга, то они сказали бы: «Экие морозцы, прости господи, стоят». Но в описываемое нами время г. Берг, прости его господи, вероятно, ходил в курточке, а в тогу еще не был посвящен и не либеральничал с зайцем и зайчихою. Итак, поречане не сказали: «Экие морозцы, прости господи, стоят». А морозцы стояли трескучие.

Кабак, наш отечественный парламент, по случаю праздничной обедни был заперт. Около парламента стояла огромная толпа *муравьев*. Муравьи суть крючники, то есть джентльмены, занимающиеся при пособии железного крючка переноскою хлебных кулей на своих крепкокостных спинах. Прозваны они муравьями от местных бурсаков, которые крючника образно представляют в виде муравья, а куль его в виде муравьиного яйца. Муравьи волновались и шумели. Один из них говорит:

— Сказывают, тот, что помене, кочережку в узел вяжет.

— Чаво! — замечает другой. — Камень кулаком расшибает.

— Да что, братики мои, — вмешался третий, — один из них, я слышал, четвертаки перекусывает.

— Ой ли? — ответили ему сомнительно. — Да ты из каких?

— Неча хвалиться, мы витебские, — ответил смиренно муравей.

— То-то витебские... не ври!..

— Неча врать: что слышал, то и сказал...

В соседней церкви ударили в колокол. Муравьи устремились к дверям парламента, то есть кабака, и стали ломиться в двери.

— Дядя Пантелей, отвори! — кричали они богу сивушного масла.

— Дядя Пантелей, в церкви к «достойни» ударили.

— По закону, выходит, отвори!

От дяди Пантелея ни гласа, ни послушания...

— Дядя Пантелей, оглох, что ли?.. Леший!.. Право, леший!.. Ведь тебе ж говорят, что к «достойному» лупят... Отвори, черт!..

Из-за дверей кабака послышался ответ:

— Ждите молебна.

Муравьи, потеряв надежду на скорое открытие парламента, порешили:

— Неча делать, давай ждать молебна.

— А кто видел молодцов? — послышалось в толпе.

— Каво? — спросил вновь прибывший муравей.

— Каво!.. не лезь... чего прешь-то?.. Ишь рот-то разинул, — смотри, ворона влетит.

— Чаво?..

— Чаво!.. Спишь, что ли?.. Вздремнул?

— Не лайтесь, ребята, не с чего, — вмешался миролюбивый муравей. — Стой-ка, я лучше расскажу вам о молодцах.

— Ты видел их?

— Видел...

— Каковы?

Сильное любопытство слышалось в этом вопросе.

— Ростом — вона! — заговорил, одушевляясь, муравей, неистово меряя в воздухе руками. — Плеча — эва!.. рожа — вона!.. силища, скажу вам, непомерная!..

Затрезвонили к молебну.

— Ребята, лупи в кабак!

Муравьи опять устремились к парламенту.

— Дядя Пантелей, к молебну жарят!.. Отвори!..

Открылись двери кабака.

Мужики шумною толпой повалили в парламент.

— Ну, ребята, — начал муравей, тот самый, который объяснял о молодцах, волновавших умы крючников, — ну, батраки, теперь собирай складчину.

— На что? — спросил вновь прибывший крючник.

— На дело.

— На кое?

— Тебе ж говорят, что из Москвы молодцы приехали... просто — богатыри, одно слово — богатыри!.. Сегодня лупку дадим поречанам... Вó что!

— Лихо!.. так это им сбор?

— На ведерную...

— Идет!.. Доброму делу всегда рад. Вот те колесо.

Мужик дал гривну.

— Мало, братик, мало.

— Так вот те еще колесо.

Мужик дал другую гривну.

Начался общий сбор. Около осьми рублей ассигнациями, — тех времен откупная цена кабацкого божка, имя которому «ведерная», — были сложены на доброе дело.

Но наконец мы должны объяснить читателю, что это было за доброе дело.

Для этого дела зимою, каждый праздничный день, часа в три пополудня, на дорогу, легшую поперек реки, собирались крючники и поречане играть в старинную славянскую игру, называемую *боем*. Со стороны поречан сходилось до полутораста человек, а со стороны муравьев вдвое больше. Сначала с обоих берегов реки на средину ее сходились обыкновенно мальчики, крича: «дай бою, дай бою!» — призывный крик к битью. Только к вечеру собирался взрослый народ; тогда дети отодвигались в правую руку от дороги и устраивали здесь малое плюходействие. Кулачная игра имела свои правила и постановления. Прохожих, не участвующих в деле, трогать запрещалось; приходить с вооруженною рукою — тоже; кто упал, того не били, а когда увлекался боец, кричали ему: «Лежачего не бьют!» Не позволяли бить с тылу, а бейся лицом к лицу, грудь к груди. Эти правила наблюдались строго: нарушителя их били свои же. В бою шли стена на стену, впереди каждой — силачи, а сзади — остальной люд, напирающий на противников массою... Выигрыш в битве состоял в том, чтобы выпереть противников на их же берег, после чего начиналась на средине новая боевая сходка. Бои существовали с незапамятных времен и запрещены в Поречне Николаем I лет четырнадцать назад, вследствие события, которое мы хотим рассказать. Эту игру обыкновенно поощряли купцы и военные... Бывало, на Озерной во время боевого дела стоят коляски и сани; в них сидят купцы и офицеры, вызывают силачей на единоборство, держат пари и сыплют в толпу серебро и бумажки, поощряют, жалуют. Большая часть денег выпадала на долю поречан: несмотря на то, что их было почти наполовину менее муравьев, они редко обращались в бегство. Работая на верфи, где приходилось лазить с топором и долотом, лепясь как ласточки по бортам суден, они, естественно, кроме силы,

приобретали и ловкость. Притом любовь к драке у них была в крови. Даже летом, когда боев обыкновенно не бывает, пореченские подростки бились между собою за кладбищем, край против края. Поречане, кажется, только тогда и не дерутся, когда лежат в люльке или зыбке, но лишь только начнут ползать по полу, то так и норовят, как бы расшибить нос своему братишке или сестренке. Бедовый народ. На бою они действовали дружно, крепко, стройно, умно. Муравьи же хотя и обладали замечательною силой, необходимою для их ломовых работ, но не имели ловкости поречан. Правда, если крючник ударит кого, то удар будет очень впечатлителен, но ему не часто удавалось ловить под свой дубоватый кулак лицо противника. Поэтому муравьи не часто одерживали победу. Муравьям это было очень обидно, и вот они выписали двух молодцов-братьев, приезжих из Москвы, необыкновенных силачей и притом искусных водить бои. О них прослышали и поречане.

В Поречне два парламента. В одном парламенте толпятся поречане и решают тот же вопрос, который уже успели решить муравьи.

— Я, — говорит один поречанин, красноречивый потуземному, — видел их, как есть, своею, значит, личною персоною.

— Так, — отвечают другие, ободрясь «красно-хитросплетенным словом», думая, что он хочет отрицать слухи о непомерной силе богатырей.

— Что ж, — продолжал оратор, — значит, следует сказать вот как: народ, должно полагать, свирепый. Силища, должно думать, дьявольская. Словом, черти!

— Их двое?

— Как есть двое!.. Давеча я был за рекою у кабака, так про одного просто диво что толкуют. Сказывают, что кочережку крутит, как веревку, булыжник кулаком расшибает, даже говорили, что четвертаки перекусывает. Но главная сила все-таки не в том.

— В чем же?.. в чем?

— Они бои важивали и всегда расшибали.

— Экие черти!.. принесло же их!..

— Да, принесло вот.

Вести нехорошо действовали на поречан. Хлестнев, первый силач после нашего героя, проговорил:

— Коли правда, что эти свиньи четвертаками облопались, то надо вести дело умеючи.

— А что против силы предпримешь?

— Глуп ты. Вот какой, значит, мы рецепт устроим: кто посильнее, тот держись более друг к другу, а остальные только отводи... потом все сразу на одного... Сшибем одного, я вам говорю, остальные бросятся бежать... Да что тут толковать? Поручаете мне вести бой?

— Веди, Алексей Петрович, веди: ты на это ходок.

— Ну, и дело!.. Да пойдемте, братцы, просить Ивана Семеновича, чтобы помог нам...

— Не больно-то он любит драться.

— Однако дирался же.

— Сегодня дело-то такое — пойдет.

Поречане выбрали из среды себя шесть человек и отправили их к Ивану Семенычу.

Ивана Семеныча все знали и уважали как силача. Особенно он прославился победою над одним, как выражались поречане, заморским богатырем. В городе жил один граф, человек необыкновенно сильный, специально изучивший бокс и любивший потешаться единоборством. У этого графа Ивану Семенычу случилось справлять какую-то работу. «Кто у вас сильнее всех?» — спросил его граф. «Я», — ответил Иван Семеныч. «Ты? Давай бороться». — «Как же это так? А если я сомну вас?» — «Ничего». Стали бороться, и наш герой смял графа. К этому графу приехал однажды англичанин, знаменитый боксер, о котором в английской печати упоминалось как об удивительном явлении природы и кулачного искусства. Граф познакомился с ним, поборолся и был побежден. Закипело в душе его патриотическое чувство глубоко оскорбленного самолюбия. «А что, — спросил он англичанина, — согласитесь вы подраться с одним знакомым мне поречанином?» Боксер согласился. Далее предоставим рассказ самому Ивану Семенычу. Вот что я слышал от него. «Сидел я и строил оконный переплет. Слышу, карета едет. Ладно. Но вдруг карета, значит, остановилась около моих ворот. «Это что такое? — думаю себе, — колесо, что ли, сломали?» Взглянул: ничего не бывало, карета здоровехонька... Что за черт?.. Соскочил с запяток лакей и идет на мой двор... приходит ко мне и *презентует:* «Ты — Иван Семенов Огородников?» — «Я, значит». — «Садись в карету и поедем». — «Зачем?..

куда?» — «Граф требует». — «Зачем же в карету садиться?» — «Повезем тебя к графу». — «Да к чему же в карете? я и пешком могу». — «Не толкуй, говорит, на то графская воля». Делать нечего, оделся и сел в карету, — раз только в жизни и ездил в таком экипаже. Ошалевши, еду — ничего не понимаю. Приехали. Позвали меня, значит, к графу: «Можешь побить, спрашивает, одного дурака?» — «То есть как побить?» — «Переломать хорошенько кости одному господину?» — «Кому прикажете?» — «Пойдем». И повел меня граф. Привел в большое зало. В зале сидят в креслах, я так полагаю, человек около полутораста, и все это, как я узнал после, родня да знакомые графа Т., тоже — графы да графини, князья и их жены. Видите ли, к графу-то приехал заморский богатырь и стал хвалиться, что его, значит, никто не побьет в России; граф осерчал и вытребовал меня. «Не опозорь», — говорит. «Как бог поможет, — отвечаю. — А кого бить прикажете?» — «Дерись вот с этим господином». По середине зала расхаживал какой-то барин, как есть барин, во фраке. «Их бить прикажете?» — «Да. Но подожди». Граф поговорил что-то с англичанином. «Ступай и дерись». Снял я синий суконный армяк, перекрестился, понатужился, кушак лопнул, значит, — и стали мы драться... Разъярился я: убью, думаю, а не позволю позорить Россию; но черт знает этого англичанина, извивается, как угорь, то есть ни по чему не могу задеть его, а он лупит меня и в рожу, и в горло, и в грудь. Этаких ловкачей я и не видывал. «Подожди же», — думаю. Наконец изловчился я и саданул его по правому плечу; гляжу, рука повисла; я по левому, — другая повисла. Гляжу: он еле дышит. «Что, голубчик?» — спрашиваю и замахнулся кулаком — убить его пожелал: значит, не позорь нашего отечества, — да граф закричал: «Не тронь!» В это время господа стали реветь: «Ура!», «Браво!», «Молодец!», стали хлопать в ладошки. «Удружу же я вам», — думаю себе, и взял я поднял у англичанина фрачишко да шелепами, шелепами его и выгнал вон из зала. После бранили за это, говорили, что англичанин был тоже барин, английский барин, и хотел искать на графе; но все-таки граф пожаловал меня двадцатью пятью рублями, да его гости накидали кучу денег». Такой подвиг Ивана Семеныча знали даже ребятишки поречан. С глубоким уважением взирали на него

селяне Малой Поречны. При громадной силе Иван Семеныч Огородников был неустрашим и предприимчив. Поречане говорили о нем как о молодце вот еще за какой подвиг. Тронулся лед на реке Озерной. Иван Семеныч был за рекою. Ему непременно надо было попасть домой. Что делать? Иван Семеныч, долго не думая, взял две доски и с ними стал переправляться на другую сторону реки чрез туго идущий лед: положил доску на плывущую льдину, прошел по ней, положил другую доску, которую держал в руках, поднял свободную, положил новую, прошел по ней и так, переменяя доску за доскою, добрался до пореченского берега. Это узнал генерал, управлявший Поречною; за смелость и молодечество он пожаловал Огородникова, как и граф, двадцатью пятью рублями. Награда понравилась нашему герою, и он на следующий год, уже не по нужде, а из желания получить гонорарий, опять повторил переход через движущийся лед Озерной. Генерал узнал и это. Он опять призвал Ивана Семеныча, но вместо награды дал ему очень чувствительную порку, говоря: «Ты думал еще получить от меня деньги? Тогда тебе надо было попасть домой, а теперь ты рисковал жизнью из-за грошей. Так вот тебе». Но несмотря на порку, полученную от генерала, Иван Семеныч своим подвигом приобрел уважение себе от поречан. При такой силе, ловкости, смелости и решимости наш герой был плут и вор очень искусный: крал он в лесах, крал на барках, гонках,[1] крал на рынках, крал по домам в городе,[2] где работал, крал везде, где только можно, — и никогда не попадался. У него было нравственное правило, выражаемое фразою: «Тот не вор, кто не попался». За это достоинство тоже уважали его поречане, потому что все они, как увидим далее, были очень представительные мошенники. Иван Семеныч был человек пока непьющий, и хотя изба его действительно кололась надвое, но он, праведно и неправедно добывая деньгу, копил ее очень усердно: у него под печкой лежало двести тридцать четыре рубля, завязанных тряпи-

[1] *Гонками* называются плоты бревен, связанных вицами, то есть кручеными еловыми кольями. — *Прим. автора.*

[2] Замечательно то, что поречане в своем селении друг у друга почти никогда не воровали. Однажды только обокрали чердак дьякона, да и то, вероятно, потому, что не причисляли его к *своим*. — *Прим. автора.*

цею, которая была заткнута в рваный, никуда не годный сапог.

Пришли к Ивану Семенычу послы, но пришли в недобрый час, в тот недобрый час, когда ему «бабу было надо», а баба наплевала на него. Он был человек упрямый и несговорчивый: что заладит, что затеет, то гвоздем вбивалось в его голову; требовались очень крепкие клещи, чтобы вырвать из головы его засевшую в нее мысль или намерение.

— Иван Семеныч, — сказали парламентеры, — мы к тебе с просьбой.

Они поклонились.

— С какой это? — спросил Иван Семеныч.

— Просим, значит, тебя сегодня на бой. Помоги нам.

— Не пойду на бой.

— Иван Семеныч, значит, уважь.

Поречане кланялись.

— Сказал, что не иду; ну, и не иду!

Тут вступил в переговоры один из выборных, Кругачев:

— Иван Семеныч, к крючникам, слыхал ли ты, приехали такие молодцы, что совсем расшибут нас... срам, да и только... Ты у нас, значит, первый, как есть, силач... Помоги, значит... Хорошо ли, сам посуди, если разобьют нас?..

Напрасно вмешался Кругачев. Если бы не он, так, быть может, и уломали бы Ивана Семеныча, но Иван Семеныч подозревал, что с Кругачевым знается Аграфена Митревна. Он только озлил нашего героя.

— Да если бы, — отвечал он, — из тебя сегодня дух вышибли, так мне — все одно... даже было бы и ладно...

— Спасибо, Иван Семеныч, на добром слове: значит, уважил нас... Ведь мы не от себя к тебе пришли, а, значит, от Поречны... Нечестно поступаешь, право, нечестно.

— А вот я лягу на печку, — отвечал наш герой, — и буду лежать и, ей-богу, слова больше не скажу вам, а вы стойте тут да лайтесь.

Иван Семеныч полез на печку. Он решился, что б ни говорили ему поречане, ни слова не отвечать им. Человек он, как уже сказано, был характерный, человек воли сильной. Это поречане знали и потому, потеряв надежду на его участие в бою, начали, желая хоть сорвать свое сердце, ругать его.

— Ах ты подлец, подлец! — говорили они. — Сволочь проклятая!.. тавлинник!.. околелый пес!.. татарин ты этакой!.. нехристь!.. своих выдаешь... халуй московский!..

Одним словом — пошли писать.

Иван Семеныч молчит. Казалось, никаким словом нельзя было прошибить Ивана Семеныча; но мнимый соперник его, Кругачев, отыскал такое слово.

— После этого, — сказал он, — тебе всякая баба в рожу плюнет.

Зарычал Иван Семеныч, но выдержал себя: ни слова не ответил.

— Еще вздумал волочиться за Аграфеной Митревной... Да она за твою подлость тебе глаза выцарапает, околелый черт!

Доняли, проняли Ивана Семеныча. Хотя он опять выдержал себя — слова не сказал, но теперь он встал сначала на четвереньки, потом сел на печи, свесил ноги и пристально, не мигая, начал смотреть на врагов...

— Чего буркалами-то уставился на нас?.. Лошадь ты этакая!.. Свинопас!.. Встреться-ка ты с Аграфеной Митревной — она тебе всю бороду выщиплет!..

Ярость неописанная сверкнула в расширившихся зрачках глаз Ивана Семеныча, на шее его вздулись жилы, как бечевки, задрожали губы, грудь стала работать как паровая машина... Это, милостивые государыни и государи, в нем любовь бродила... Да, он страстно, бешено, могуче любил пореченскую красавицу Аграфену Митревну. Так способны любить только сильные телом и духом люди, и кроме того — люди малоразвитые. Он готов был вышибить дух из своего мнимого соперника; он способен был схватить Аграфену Митревну, без всякого с ее стороны согласия, в свои сампсоновские объятия, и пусть она кричит и кусается, будет смачно целовать ее и плотно прижимать к своей широкой груди ее широкую грудь. Надо сказать, что поречанки любили таких молодцов, хотя отказ нашего героя участвовать в бою мог очень сильно уронить его во мнении местных дам (баб тож).

— Аграфена Митревна тебе, подлецу...

Диким зверем спрыгнул Иван Семеныч с печи.

Послы знали, с кем имеют дело, и потому в одно мгновение не стало в хате их вражьего духу...

— Так-то!

Вот и все, что на тот раз произнес Иван Семеныч.

В Поречне прошла весть о том, что Иван Семеныч отказался от боя. Взволновалась Поречна. Ругань на нашего героя повисла над нею... Даже все дамы рот расстегнули, а если пореченская дама (баба тож) начнет ругаться, то хоть от святых откажись — неси их вон! Иван Семеныч лежал на печи и слышал, как расстегнувшие рот дамы, проходя мимо его дому, ругали его на всю вселенную. Ему послышалось даже, что Аграфена Митревна, зазноба его сердца, обозвала его околелым чертом. Пореченские дамы глубоко сочувствовали, что увидим далее, боевой славе своих мужей и братьев, питали в душе своей глубокое чувство местного патриотизма. Иван Семеныч лежал на печи и слушал с крупною, строптивой, кабаньей злостью направленную на него пореченскую брань.

«Лайтесь!» — думал он, поворачиваясь на печи с боку на бок. Раздраженные его отказом, мимо его дома идущие бабы (дамы тож) ругали его очень голосисто. Ивану Семенычу опять послышалось, что его бранит Аграфена Митревна...

— Подожди же, я тебе, значит, и устрою *паперимент,* — сказал он, вскакивая на ноги.

Выбежал Иван Семеныч на улицу.

На улице никого не оказалось.

— Бабы!.. свиньи!.. — проговорил Иван Семеныч.

Ушел он домой и, легши опять на лежанку, закрылся тулупом.

— Тяжко! — сказал он; но после стерпел, не позволил себе даже пред собою высказать вслух свои чувства — и замолчал.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Не попусти, господи, так сильно и так неудачно, как Иван Семеныч, любить кого-нибудь: такая любовь уводит в Сибирь таких молодцов, как наш герой, а людей послабее его силою воли загоняет в кабаки либо в петлю.

Избави всех, господи ты боже наш, от подобной любви!..

## V

## О том, как в Поречне все дамы рот застегнули

Яркое солнце облило своим светом пелену закрепленной морозом реки, дробя свои лучи в кристаллах ледяных плит, разнообразно раскиданных на поле фарватера.

— Дай бою, дай бою! — слышалось на Озерной.

— Дай бою, дай бою! — откликались с другого берега.

Дрались пока мальчишки. Но к трем часам собралось кульеносное и пореченское воинство. Молодой народ отодвинулся в сторону.

В городе, которому Поречна служила предместием, разнеслась молва, что на Озерной будет дан знаменитый, небывалый бой.

К трем часам вечера Озерная покрылась массами бойцов и экипажами любителей из купцов и военных; берега были полны народом. Любопытно было посмотреть на поречанок, а особенно послушать: страшный визг, вылетающий из их грудных мехов, волновал воздух. Бабы все еще были с расстегнутыми ртами... Воем выли дамы.

Мужики с поречанами уже дрались. Но это не было обыкновенное, более или менее одушевленное боедействие: дрались в ожидании чего-то... Но вот со стороны крючников вдруг раздался крик:

— Наши, назад!.. Ломи на свой берег!..

Толпа муравьев бросилась бежать... Можно было подумать, что их гонят... Но этого не было. Поречане слышали команду Хлестнева:

— Стой, ребята!.. ни с места!.. они теперь недаром дали тягуна. Значит, молодцы пришли... Ну, ребята, слушаться теперь меня... Мы не с дураками будем иметь дело... Крепким строем надо действовать; иначе и бою нечего затевать.

— Ребята, слушаться Ивана Хлестнева, — было ответом.

— Вытряску дадим, кто выйдет из-под начала.

— Слушайте же, — говорил Иван Хлестнев. — Я поведу правое крыло; ты, Копоряк, — левое; ты, Васька

Жидок, — в центру встань; около меня держись Алеха Косой, Микита Обручев, Мизгирев да Петруха Сыч...

— Чего ж ты Сычом-то лаешься? — было ответом от Петрухи...

— Извини, голубчик: не мною прозван...

— А ты не лайся!.. вот что!..

— Ну, молчать, Сыч! — закричали бойцы...

— Слушаться начальства!..

— Коли так, я и с бою уйду, — сказал Сыч.

— А трепки хочешь?

— Братцы, голубчики, — заговорил Иван Хлестнев, — не ссорьтесь... ведь не время... опозоримся... Петруха, прости меня; обидел нечаянно — некогда было слово обдумать... дело-то горячее подошло...

— Да что с ним толковать? В рожу его!..

— Братцы... — начал примирительным тоном Хлестнев...

— Лупи его...

К Сычу бросились поречане с намерением избить его.

Иван Хлестнев, видя, что в его ополчении развивается междоусобие, голосисто и громко крикнул:

— Молчать все!.. Кто слово скажет, своими руками задушу; ей-богу, вцеплюсь в глотку и задушу... Я здесь сильнее всех... Кто против меня?.. Тронь лишь кто Петруху, тому кости, как в мешке, встряхну. Слышали?..

Восстание стало утихать. Сыч молчал, потому что, с одной стороны, побаивался поречан, а с другой, был удовлетворен тем, что его сторону принял Иван Хлестнев... Но, несмотря на это, из толпы все-таки послышался голос, обращенный к предводителю:

— И на тебя есть сила...

— Где это? Кто сказал, выходи!.. Где есть на меня сила?

— У Ивана Семеныча Огородникова...

Хлестнев язык прикусил, но, однако, скоро нашелся.

— Да Иван-то Семеныч, — сказал он, — подлец — в такое время и оставил нас... Я же рожи своей не пожалею, а за дело постою... вот что!..

После этого дело приняло хорошее направление: все начали ругать нашего героя, а Сыча и предводителя оставили в покое...

Этой минутой воспользовался Хлестнев.

— Ну, ребята, слушайте же, — начал он...

— Слушай, ребята, слушай! — было ответом...

— Ты, Копоряк, — говорил Иван Хлестнев, — возьми себе тоже четырех, которые покрепче; ты, Жидок, — также... Что около вожаков, должны защищать их, а вожаки ломи, значит... В центре у них будет слабо, — в центр и жарь... На их вожаков следует напасть сразу впятером или шестером и положить, как ни на есть, во что ни стало, на землю... Помните, что сначала нам следует стоять как можно дружно: избави боже, если на первых порах попятят нас, — зазнаются, и тогда ничего не поделаешь... Слышали?.. Братцы, не жалейте рожи; дело подошло больно важное!.. Ну, стройся!.. Живо!..

Поречане строились. Построившись на средине реки, они тихо, почти не говоря ни слова между собою, дожидались врага. Совершалось что-то торжественное... Все окрестности смолкли... Даже пореченские дамы на время рот застегнули... В колясках и санях привстали на ноги офицеры и купцы... Воздух замер... Что-то будет?..

Кульеносное воинство было построено прибывшими к нему молодцами почти так же, как и пореченское, получило те же наставления и выступило из-за барок, зимовавших на реке...

Тут-то в первый раз показались молодцы. Они шли по бокам огромной толпы крючников и самоуверенно вели ее в бой. Недаром прошла молва об этих двух братьях. Все любовались на них. Оба они напоминали собою картины древних героев, у которых мускулатура была чрезвычайно развита, и тело братьев было крепко связано костями и сшито жилами. Старший брат, ведший левое крыло, был ростом с Петра I и силен, как Петр I, младший был ниже, по ухо брату, но взял шириною корпуса: плеча и плавленая, как представлялось, грудь поражали своими размерами, — он был сильнее брата... Братья были красавцы собою, типа кровно русского... Где уродились такие молодцы? — говорили, что под Москвою... Если бы славянофилы видели их в описываемую нами минуту, то они бы поставили им не то чтобы ведерного божка, а сорокаведерную богиню да бочонок селедок на закуску; славянофилы даже откупили бы для них целый российский парламент, то есть кабак. Шли братья с свежим, открытым, играющим румянцем, как зарево на молоке, лицом; «кудри русые

лежат скобкою», походка степенная, во всех движениях сдержанность, но, несмотря на сдержанность, в позитуре братьев было много беспечности и удали, нравящейся и не славянофилам; все в них было складно, плотно, положительно... Нельзя было не залюбоваться на молодцов: красота, соединенная с силою, увлекает невольно, будь то красота мужчины или женщины. Одеты они были щегольски, хотя и довольно легко, несмотря на трескучий мороз, потому что шли на дело жаркое — согреются... На голове были надеты котиковые шапки, бюст покрыт белыми, чистыми шерстяными фуфайками, из-под фуфаек выпущены красные, нового немецкого ситцу рубахи, далее шли новые плисовые шаровары, опущенные в козловые сапоги со скрипом... Это ли не щеголи?.. Рассказывали, что молодцы-братья были люди богатые; их побудила идти на бой не ведерная, а то, что в душе их была сильно развита страсть, выражаемая словами: «Раззудись, плечо; размахнись, кулак!» Поречанки, увидав молодцов, только ахнули, и многие из пореченских баб (дам тож) в ту минуту изменили туземному патриотизму. К числу таких, уверяем, не принадлежала Аграфена Митревна. Тем хуже для нашего героя. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Стена муравьев подошла к стене поречан и завопила благим воем:

— Дай бою, дай бою!..

Поречане вызывали их с своей стороны:

— Дай бою, дай бою!..

— Бей их! — скомандовали братья-силачи.

Мужики, сверх своего обыкновения, дружно и стройно ударили на поречан. Поречане стойко приняли их.

И грянул бой, пореченский бой!

Тяжело было смотреть на бившихся. Положим, что бой, хорошо организованный, может быть прекрасною гимнастическою игрою, но когда игра развивалась до такого соревнования, как в описываемый нами день в Поречне, то, глядя на нее, чувствовалось замирание сердца. К игре примешивалось чувство мести и отплаты; поречане и зимой и летом окрадывали барки, стоявшие на Озерной, и крючники за то недолюбливали их... И в настоящем случае вышло побоище, увлекавшее внимание размерами своего плюходейства. Одни боевые вопли «дай бою» и «бей их» производили потрясающее впечат-



ление. На этот вой пореченские дамы, расцветившие берег своими платьями и кацавейками, отозвались оглушающим уши визгом. Застонала окрестность.

Поречане выдерживали твердо могучий напор крючников. Бились жестоко. Били тяжелыми кулаками по лицу, в плеча, в грудь, в живот. Самое ярое место, кишащее дракой, было около меньшого брата-богатыря и Ивана Хлестнева.

Хлестнев, дав страшную затрещину противнику, крикнул своим:

— Бей в середку!

Но в ту минуту он был отброшен противником. Поречане по его приказу ударили в центр неприятеля, но этот натиск, будучи предугадан старшим братом, был отражен им.

Поречане смешались...

— Бегут! — крикнули муравьи. — Лупи их!.. Бей их!..

Поречане от такого крика совершенно растерялись... Муравьи наперли... Не устояли поречане и бросились в бегство...

Что поделалось с окрестностями?

— Наших бьют... бегут наши!.. гонят их! — кричали, расстегнувши рты, пореченские девицы и бабы.

Офицеры и купцы приготовляли серебро и ассигнации для победителей. Муравьи, догоняя затылки врагов, стоном стонали. Поречане приглашали друг друга к порядку.

— Стройся, ребята! — кричал Хлестнев.

— Гони их!.. Отдоху не давай! — кричали крючникам братья-предводители.

— Когда так, беги что есть мочи! — распоряжался Хлестнев.

Поречане помчались с быстротою полевого ветра. Мужики, одетые в тяжелые тулупы и сапоги, отстали от них... Поречане успели уйти от своего врага сажен на пятнадцать.

— Стой теперь и живо стройся! — приказал им Хлестнев.

Поречане быстро заняли позицию прежнего строя. Когда на них бросились догонявшие их враги, они до того дружно встретили их, что попятили назад. Тогда братья стали строить своих, смешавшихся во время догонки, под градом всевозможных заушений. Успели в том.

Характер битвы переменился.

Стали биться очень плотно, дружно и хлестко. Поречане хотя были и теперь теснимы, но отступали в строгом порядке, по вершку, по полувершку. Однако пядень за пяденью отодвигала их назад несломимая сила крючников. Тяжело было смотреть на знаменитую битву. Это была уже не игра. На всех лицах написано откровенное желание сломать у своего врага и вышибить вон какую-нибудь основную часть тела. Хлестнев и меньшой брат опять боролись между собою. Они сыпали друг другу страшные удары, но лица их и грудь окаменели, точно они были не люди, а какие-то изваяния. Окровавились, жестоко бьются, до лома костей бьются, но ни один не сделает фальшивого полуоборота, изучают каждый взмах и удар друг друга. Это шла уже не игра, а какое-то глубоко сосредоточенное, научно кулачное занятие. Душа замирает у борцов, но и при замирании сохраняется полное присутствие духа... Что это за сфинксовые лица?.. Изредка скрипит челюсть; изредка хрустит кость... Совершается дело, если хотите, колоссальное,

поэтическое, ярко характеризующее народную натуру, и в то же время такого рода дело, которого лучше бы не было на Руси.

Хлестнев первый не выдержал характера. Бешенство заходило в крови всех его жил. Он решился вышибить дух из своего врага. Но ему сильно ударили в лицо...

— Браво, москвичи! — крикнули купцы и офицеры.

Хлестнев вышел из себя.

— Убью! — крикнул он и бросился диким кабаном на меньшого брата.

Меньшой того и ждал. Он подставил ногу увлекшемуся поречанину и свалил его на снег.

— Бегут, бегут! — заревел меньшой.

Поречане и не думали бежать, хотя главный силач их лежал на снегу; но клич «бегут», нарочно употребленный в дело, чтобы смутить их, распространил среди их страх.

— Бей их!.. ломи!

Поречане стали мешаться.

— Напирай!..

Поречане побежали, и вместе с ними предводитель их Иван Хлестнев, уже успевший встать на ноги. Хлестнев хотел снова строить своих, но не успел в том... Мужики тяжело преследовали их по пятам, но стройно и в порядке. Стыд и досада были на лицах поречан; поречанки рот расстегнули и голосисто взвыли на все поселение; офицеры и купцы звенели деньгами...

Поречан наконец выгнали на горку... Они с понуренными головами исподлобья посматривали на своих дам...

— Ах вы тавлинники! — говорили дамы... — Вам не на бой ходить, а чулки вязать... Молокососы!.. Мужварью, сиволапым уступили...

— Против силы что поделаешь? — отвечал Копоряк...

— А зачем у тебя голова на плечах? — спросила Аграфена Митревна. — Думать...

— Ничего тут не выдумаешь...

— Дурак и есть.

— Молчать, бабье!.. Всякая сволочь туда же с советом суется...

— Ох, вы-то, тавлинники, не сволочь?.. Недаром и шею накостыляли вам... Еще не так бы следовало...

— Молчи лучше, паскуда, — закричал Копоряк, замахиваясь на Аграфену Митревну.

— Что, горе-богатырь? — закричали другие дамы. — С мужиками не справиться, так с бабами в бой!..

У Копоряка руки опустились...

— А все подлец Иван Семенов, — заговорил Хлестнев, — в такой день — и отказался от бою...

— И уважим же мы ему.

— Всю избу разнесем по щепам.

Иван Семеныч опять послужил громоотводом для гнева, стыда и досады поречан... Горе, горе Ивану Семенычу! Он тоскует о том, что ему «бабу надо», а теперь, после его измены туземному патриотизму, ни одна баба не станет с ним женихаться... Лежит он себе на печи и не знает, как злы на него поречанки, как крепко бранят его.

Между тем мужики отошли на средину реки, построились здесь и ожидали поречан для новой схватки.

— Дай бою!.. дай бою!.. — вопили они теперь вполне самонадеянно...

— Что делать, ребята?.. бою просят.

— Что делать? драться, значит, надо...

— Ведь опять расшибут?

— Пусть!.. Не по домам же идти...

— Вот что, братцы: человек пятьдесят останется в засаде, за избушкой... Случись, если подгонят нас к берегу, запасные неожиданно — бей в бока... Мужичье подумают, что это новые, свежие прибыли, струсят и дадут тягу, а тут знай лупи... знай лупи!..

— Ловко придумано!..

— Так стройся, ребята!

— По-старому?

— По-старому.

Построились поречане и двинулись на ожидавших их мужиков. Сошлись и схватились. Но поречане, потерпев в первом бою поражение, действовали не так самоуверенно, как всегда; крючники же нисколько не сомневались в том, что они одержат победу: теперь не только материальная, но и моральная сила была на их стороне. Они сразу пошатнули поречан и на этот раз не дали им даже вторично построиться — в один прием прогнали до берега. Около берега Хлестнев крикнул:

— Засада!..

По этой команде из-за избушки ударили скрывавшиеся поречане в бока мужицкого ополчения. Как и

ожидать должно было, мужики пришли в недоумение, смешались, попятились и едва не обратились в бегство; но братья-предводители сумели остановить их и снова двинуть вперед... Замысел Хлестнева не удался. Крючники выперли врага на улицу, а сами встали на берегу. Многие из побежденных были без шапок. На боях существовал обычай, по которому победители имели право хватать с головы противников шапки и обращать их в свою собственность, в виде приза. Теперь уже и дамы не бранили своих мужей и братьев: они видели храбрость и усердие их и видели, что не в их средствах победить неприятеля... Пошли совсем другие толки.

— Силы неравны, — говорили они, — нас вдвое меньше... Еще бы они выставили тысячу человек...

Мужики отодвинулись на средину реки.

В это время один богатый купец позвал к себе Ивана Хлестнева.

— Что, голубчик, намылили сусалы?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На этом месте прерывается рукопись Н. Г. Помяловского.[1]

Припоминая неоднократные рассказы покойного автора о поречанах, мы вкратце сообщаем здесь о дальнейших последствиях боя.

Приезжие купцы стали шибко подсмеиваться над Хлестневым и его товарищами и разозлили его не на шутку. Поречане тоже слышали эти насмешки и хмурились: оскорбленное самолюбие стало заговаривать в них, кулаки сжимались... Наскоро собрал их Хлестнев и объявил решительно, что сдаваться не следует, что теперь дело идет о чести целой Поречны и что после этого всякий крючник им в глаза наплюет. Воодушевились поречане. «Костьми ляжем, а сраму такого не потерпим!» — крикнули они и дружно тронулись на средину реки, на новую схватку. Снова завязался бой, жаркий, исступленный...

В это время Иван Семеныч Огородников, соскучившись дома, вышел поглядеть на бой. Дамы пореченские встретили его с визгом да с руганью, но Иван Семеныч на это не обратил внимания и отошел к сторонке. Сразу увидел он, что силы дерущихся неравны, что поречане хоть и храбро дерутся, но против силы устоять не смогут, и начал в нем мало-помалу пробуждаться патриотизм пореченский. Долго сдерживался Иван Семеныч, но удаль меньшого брата-крючника окончательно раззадорила его; так и валит он поречан направо да налево: что даст раз — то с ног долой, а силы равной ему между поречанами нет. «Так погоди ж, — подумал Иван

---

[1] Отрывки, напечатанные петитом, принадлежат Н. А. Благовещенскому, который на основании рассказов Помяловского сообщает содержание недописанных эпизодов «Поречан». — *Ред.*

Семеныч, — найдем и на тебя силу!..» И вспыхнула вся кровь у молодца, жилы налились, кулаки сжались... Мигом сорвал он с себя шубу, засучил рукава и, сам не свой, бросился в битву. Врезался он в правое крыло дерущихся и, не дав никому опомниться, с налета свистнул кулаком в висок меньшого брата. Зашатался герой и, как сноп, рухнул на снег, обливаясь кровью. Бойцы приостановились, стихли... Но тут открылось скверное дело: кулаки меньшого брата разжались, и в каждом кулаке его оказалось по две больших медных гривны.[1] Теперь только поняли бойцы, в чем заключалась страшная сила этих кулаков. Муравьи сейчас же смешались и побежали наутек, а поречане с остервенением бросились на лежачего и начали бить его чем попало и куда попало. Они в клочки разорвали бы его, если б в это дело не вмешалась полиция и не разогнала поречан. Изуродованного молодца замертво стащили в какую-то больницу, где он на другой день и помер. После этого случая кулачные бои были строго запрещены, и поречане если где и устраивали потом мелкие сходки, то тайком да озираясь.

Иван Семеныч был главным героем этого финала и, таким образом, кровью вражеской смыл пятно с чести пореченской. На берегу дамы встретили его с восторгом, и Аграфена Митревна тут же согласилась выйти за него замуж.

Во второй части этого рассказа автор хотел описать семейный быт поречан, имеющий свои особые, характерные оттенки. Из этой части в бумагах покойного нашлась только одна глава, набросанная вчерне, которую мы и помещаем здесь. Из этой главы читатель может судить о главных основах пореченского семейного быта.

## О том, как поречане лупят по пути прогресса

Сегодня Иван Семеныч с Аграфеной Митревной — оба находятся в самом приятном настроении духа. Супруг не дуется, не глядит медведем, дети его не боятся; его благоверная медведица, несмотря на свой сорокалетний возраст, вспомнила юные годы своей с ним сипондряции и, отыскав довольно мягкое место между бакенбардами и носом своего мужа, влепила в то место довольно могучую безешку; детям своим она не дает зуботрещин, не дергает их за волоса, не гоняет из дому. Мало того, она выглядит не прежней амазонкой, а простой российской женщиной, хорошо знакомой с плетью — суррогатом су-

[1] Надо заметить, что на таких боях позволялось драться только кулаками, и у кого в кулаках находили свинчатки или гривны, тех жестоко проучивали, как подлецов, и пощады в этом случае не было никакой. — *Прим. Н. А. Благовещенского.*

пружеского счастья — и радующейся тому, что брачная плеть висит спокойно на стене. Во всем доме Огородникова мир и тишина — эти редкие гости его жилища. Откуда и как явились сюда эти непрошеные гости? Что все это значит? Это значит то, что сегодня в Поречне храмовой праздник Марии Магдалины, бывающий 22 июля. Аграфена Митревна чутьем чует, да и по опыту давно знает, что с этого дня сипондряция их жизни принимает иное направление, что муж ее в этот день возьмет из рук ее жезл домоправления, который долго не выпустит из своего здорового кулака. Мы сказали, что в Поречне существовало совершенное полноправие как женщины, так и мужчины, то полноправие, о котором так много хлопочут наши дамские эмансипаторы. Но все-таки пореченскую эмансипацию мы называем сипондряцией, потому что жезл домашнего правления все-таки существовал, попеременно переходя в руки то того, то другого лица, а не то чтобы быт семейный управлялся каждый день и час с общего согласия мужа и жены и даже при любовном вмешательстве детей. Вот почему в семье попеременно царил то мужской, то женский террор. Мир в ней наступал только в переходное время, в которое прекращался женский террор и после которого должен был наступить мужской. Как это делалось, читайте далее.

День был ясный и тихий. В Поречну через реку народ валом валит. Вся Озерная покрыта огромным количеством яликов и елботов. Начиная от перевоза до самого проспекта, двумя длинными рядами стоят нищие, убогие, слепые, глухие, хромые, несчастные уроды — все чающее движения медного гроша, тот жалкий люд, который мог быть исцелен только разве Христом. По проспекту до церкви и от церкви до трактира стоят палатки и на козлах лотки с разными сластями и пряностями. В церкви, набитой народом, идет обедня; правый и левый клирос, состоящие из любителей-поречан, ревут и стонут, по их мнению, очень благолепно. Кладбище переполнено нищими, торговым людом и почитателями праздника, из которых, между прочим, большая часть пришла помянуть своих родственников и друзей, с самоварами, кофейниками, водкой и закуской. Стон стоит на кладбище,

потому что многие, не дождавшись крестного хода, уже успели справить поминальную тризну, — а на тризне, как известно, наш православный народ не ест, а лопает, не пьет, а трескает. За кладбищем, на поле, расположились до поры до времени фортунки, игра в кости, медведи, обезьяны, ученые собаки, комедианты и шарманки. Здесь уже довольно весело, потому что часть народа, которая была равнодушна к Марии Магдалине, но очень любила всякое празднование, развлекалась по мере возможности; полиция, получивши следующую ей аксиденцию, смотрела на это сквозь голенище.

Так зачинался праздник.

Но вот церковные сторожа яро ударили в колокола; хотя в уставе и сказано, что в большие праздники «пономарь клеплет во все тимпаны тяжко, но не борзяся», однако сторожа очень борзились. Церковные двери распахнулись настежь, и из них показались хоругви, потом фонарь, запрестольный крест, за ними певчие — сборная братия, далее огромное количество образов, несомых большею частью благочестивыми бабами и мальчишками, любящими всевозможные церемонии, наконец появились попы, а за ними огромная масса народу. Мы должны сказать, что хоры, бог их весть когда успевшие кутнуть, усердствовали довольно неблагоговейно, да и один из дьячков урезал косушечку-другую. Народ, один за другим, составив длинный ряд по крайней мере в четверть версты и нагибаясь лицом к спине соседа, проходил под образами, как под воротами. Все это было очень занимательно и весело. Крестный ход должен был обойти своим шествием кругом всей Малой Поречны.

Иван Семеныч, обладая необычайным басом, рубит, как топорищем: «Христу, нас ради от девы рождшемуся». Он успел уже пропустить крупную столбушку кокоревского яду. Сосед его, тенор, имевший певческий талант, был трезв и унимал его.

— Побойся ты бога, — говорил он, — перестань вопить-то!

— Не беда! Ходи по колено во щах!..

— Ведь ты в крестном ходу, а не в хороводе. Ишь нарезался.

— Не беда! Кто празднику рад, тот до свету пьян.

— Эх, жаль, что твоей бабы здесь нету.
— С ухватом, что ли, ее в крестный ход?
— Она с тобой и без ухвата управится.
— Баба-то?
— Да, баба. Давно ли она тебе трепку давала?
— Баба?

Иван Семеныч возмутился крепко, злость в нем закипела, водка бросилась ему в голову. Живо и ясно представились ему все обиды, все униженья, принятые им от своей супруги. Он более трех месяцев был не главою дома, а каким-то батраком, наравне с детьми своими, вполне повинуясь кулаку и башмаку жены своей. Сосед-певчий тронул больное место Ивана Семеныча.

— Врешь ты, дурак, — сказал он, — не боюсь я своей бабы.

— А что же она бьет тебя, отчего не дает тебе денег, прячет водку да и самого иногда запирает в чулан?

— А хочешь, докажу, что ты врешь?

— Ну-ка, докажи.

Иван Семеныч молчал, не зная, что ответить.

— Что ж ты? Понатужься, докажи.

Иван Семеныч, стиснув свой здоровый кулак, сказал:

— А вот докажу же.

— Чем?

— А тем, что приду домой и дух вышибу из своей бабы.

— А ухвата не боишься?

— Пошел к черту!..

Иван Семеныч отошел в сторону.

— Черт ее побери, — рассуждал Иван Семеныч сам с собою. — Значит, мной жена командует — значит, она глава семейства, а не я? Нет, этому не бывать. Как, значит, тресну ее, так, значит, сразу и покойник. Постой же!.. — С этим словом Иван Семеныч отделился от церковной церемонии и отправился в кабак. Здесь он спросил себе косушку, которую и осушил.

Но оставим его выпивать и посмотрим, что делала жена его дома.

Жена, конечно, со страхом поджидала Ивана Семеныча, зная наверное, что он по случаю праздника выпьет и потом учинит какое-нибудь буйство. Потому она припрятала все, что было поценнее, и сама ушла подальше от греха. Иван Семеныч воротился домой с четвертью водки и с толпою гостей и, не найдя жены, начал

бить и ломать все, что попадалось ему под руку, и затем выбрасывать за окно. Гости в страхе разбежались, а хозяин, оставшись в совершенно пустой комнате, завалился спать. Утром на другой день произошла сцена с женою; Иван Семеныч ни за что ни про что поколотил ее, и жезл домоправленья опять надолго перешел в его руки.

Окончанием рассказа послужило следующее событие.

Иван Семеныч, заработывая копейку, как известно, не брезгал и воровством, особенно когда представлялся благоприятный к тому случай. В последнее время он с тремя товарищами начал усердно воровать хлеб с барок, стоящих на реке Озерной. Не видя никаких особенных препятствий к такому промыслу, Иван Семеныч увлекся до того, что ежедневно притаскивал домой по нескольку кулей с мукою и потом за полцены сбывал их в ближайшие лавки. Барочники сначала не обращали на это внимания и смотрели на воровство как на дело неизбежное при Поречне; но когда кули стали убывать слишком заметно, они решились ночей не спать — караулить. Иван Семеныч пережидал несколько дней и, сообразив, что сторожа на барках уже поутомились, снова отправился на промысел. В темную осеннюю ночь он с товарищами осторожно подъехал к баркам и усердно начал таскать кули. Мужики сразу заметили его, но не подали в том ни малейшего виду. Воры нагрузились досамых краев лодки, но только что хотели отчаливать, как мужики подняли страшный крик и со всех барок бросились к лодке с баграми. Попробовали было те дать тягу, но плотно нагруженная лодка плохо подвигалась вперед. Мужики, давно сердитые на подобных гостей, распорядились с ними очень просто: они окружили лодку и баграми потопили ее вместе с людьми и со всем грузом.

Так погиб главный герой Поречны Иван Семеныч Огородников.

*1863*

# Примечания

## Очерки бурсы

### Зимний вечер в бурсе

Впервые напечатано в журнале «Время», 1862, № 5, стр. 183—224, с подзаголовком «Физиологический очерк» и с посвящением Н. А⟨лександрови⟩чу Бл⟨аговещенско⟩му.

«Зимний вечер в бурсе» написан весною 1862 г.

Работая над «Зимним вечером», Помяловский еще не думал о целой серии очерков. Этим и объясняется несогласованность подзаголовков: под «Зимним вечером» стоит — «Физиологический очерк», а под заглавиями следующих — «Очерк второй», «Очерк третий» и пр. Тем самым Помяловский фактически отменил первоначальный подзаголовок первого очерка.

В «Зимнем вечере в бурсе» Помяловский широко использовал свой старый очерк «Долбня (Воспоминание из училищной жизни)», напечатанный еще в 1860 г. в журнале «Воспитание» (1860, № 6, стр. 422—432, под псевдонимом «Н. Герасимов»). В «Зимний вечер» вошли из «Долбни» и отдельные детали и довольно длинные описания, фразы, абзацы, а кое-где и целые страницы. В ряде мест мы находим дословные совпадения, в других использованы лишь тематические моменты. Вместе с тем «Долбня» подверглась коренной переработке, и сопоставление этих двух произведений, разделенных всего двумя годами, показывает рост Помяловского как писателя. Сходные места приобретали иногда иной смысл. Так, например, абзацы об «ужасающей, мертвящей долбне» и о «возражениях» приведены в «Долбне» для характеристики одного Красноярова, а в «Зимнем вечере» они характеризуют всю бурсацкую педагогику. «Долбня» очень суха, описательна и статична по сравнению с «Зимним вечером». Она лишена острых и насыщенных бурсацким колоритом диалогов; в ней отсутствуют самые яркие эпизоды «Зимнего вечера» (вся история с Семеновым, игра в камешки Тавли и Гороблагодатского, эпизоды с Комедо, Хорем

и пр.), создающие сюжетное движение произведения; нет в ней и характеристики отдельных бурсаков. Вообще это лишь очень обобщенная, суммарная картина, так сказать — схема очерка, без оживляющих ее эпизодов и живых образов, если не считать самого Данилы. Одной из основных линий переделки старого очерка было устранение Данилы как главного героя. Переживания и мысли Данилы, сохранившиеся в «Зимнем вечере», откреплены от его личности и переданы как типичные мысли бурсака. Устранена вся довольно длинная концовка «Долбни» о жизни Данилы в родительском доме и дальнейшем его пребывании в бурсе, которая подчеркивала центральное место его образа в очерке. Следует отметить, что в «Долбне» есть также места, которые вошли впоследствии и в другие очерки. Так, описание Красноярова послужило основой для создания яркой фигуры учителя Лобова в «Бурсацких типах».

При печатании во «Времени» отрывок от слов «Они упражнялись в диалектике» до «или любовь вере? и т. п.» (стр. 44) был исключен цензурой или редакцией журнала.

В «Зимнем вечере», как и в других очерках бурсы, Помяловский изобразил быт и нравы Александро-Невского приходского и духовного училища, где он учился в 1843—1851 гг. Материал, касающийся петербургской семинарии, в которой писатель провел следующие шесть лет, использован лишь мимоходом, в нескольких местах. По-видимому, он предполагал вплотную обратиться к нему в дальнейших, неосуществленных очерках.

Стр. 7. *Второуездный класс* — второй класс уездного духовного училища.

Стр. 8. *Пожарский* Яков Осипович — писатель и переводчик, автор очень распространенного в первой половине XIX в. учебника русской грамматики. *Меморский* Михаил Федорович — писатель и педагог начала XIX в., составитель учебников арифметики, грамматики, «священной истории», географии.

*Приходское ученье* — то есть двухлетний курс приходского училища. *Приходчина* — ученики приходского училища.

Стр. 10. *Какая смесь одежд и лиц!* — слова из поэмы Пушкина «Братья разбойники».

Стр. 13. *Всякое царство, раздельшееся на ся, не устоит...* — несколько измененная цитата из Евангелия: «Всякое царство, раздельшееся на ся, запустеет, и всяк град или дом, разделивыйся на ся, не станет». Подобно другим аналогичным цитатам, она переосмыслена Помяловским и как бы подчеркивает, что дикие нравы бурсы освящались авторитетом религии и церкви.

Стр. 18. *Соломон* (XI—X вв. до н. э.) — израильский царь, которому предание приписывало исключительную мудрость.

Стр. 35. *В восьмом часу по утрам...* — пародийная семинарская песня. Первую строку ср. с началом стихотворения Жуковского «Ночной смотр», а остальные три строки с 2—4-й строками стихотворения Лермонтова «Воздушный корабль».

*«Домового ли хоронят...»* — строки из стихотворения Пушкина «Бесы».

Стр. 36. *В сени смертней* — во мраке смерти; здесь — в полнейшей темноте.

Стр. 37. *«Раззудись, плечо, размахнись, кулак!..»* — шутливое использование двух строк из стихотворения А. В. Кольцова «Косарь»: «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!»

Стр. 43. *...замечательны в училищной науке возражения.* — Возражениями назывались на семинарском языке вопросы, предлагаемые вне учебника (см., например, воспоминания В. К. «Около бурсы» — «Русская старина», 1911, № 6, стр. 581).

Стр. 45. *Розанов* (Розонов) Фома Филимонович (1767—1810) — писатель и переводчик, автор «Российской грамматики для духовных училищ» и других учебников. Самым значительным его трудом был «Латинский лексикон, с российским переводом, из лучших латинских писателей, собранный Фомою Розоновым» (1797).

Стр. 48. *Сыплет маки* — навевает сон.

Стр. 49. *Своекоштный* — учащийся закрытого учебного заведения, живший на свой кошт, то есть на свои средства, в противоположность казеннокоштному (казенному, как сказано ниже), содержавшемуся за счет казны, государства.

## Бурсацкие типы

Впервые напечатано в журнале «Время», 1862, № 9, стр. 323—355, с посвящением Н. А. Благовещенскому, как и все следующие очерки.

Рукописи первых трех очерков не сохранились, за исключением двух листов черновых набросков Помяловского. В них мы находим сцену между Батькой и Элпахой из «Бурсацких типов» (стр. 83—84), а вслед за нею начало столкновения Аксютки, который фигурирует здесь под именем Езотки, со сторожем Цепкой из «Женихов бурсы» (стр. 107—108). Приводим отрывок из черновика, не попавший в окончательный текст (впервые напечатан в Полном собрании сочинений Помяловского, М.—Л. 1935, т. 2, стр. 315; ср. «Литературное наследство», № 24—25, М. 1935, стр. 792).

«Вы спросите, как же он вынес такое оскорбление, отчего сам не вырвал у своего мучителя клок волос, ⟨не⟩ плюнул в его черные глаза, ⟨не⟩ ударил в красивое лицо. Эх, господа, вы не знаете три раза трижды треклятой жизни бурсака. Да сделай это Элпаха, ему не только что выдали бы волчий паспорт, а сдали бы прямо в солдаты, а там, быть может, пришлось бы откушать и шпицрутенов. Бурсаки понимали это хорошо. Нет, я вас спрошу, данный поступок Батьки, в сущности дела, уголовное преступление или нет. Впрочем, надо правду сказать, что такое преступление во всей истории бурсы случилось только однажды; даже сам Батька не повторял его.

Но он сделал другое преступление, высек одного, благословясь, и посыпал солью...

Ваксу заставил бить поклоны печке... да, печке — уж какой это имело смысл, и не знаю...

Пшонь заставил розги целовать».

Помяловский предполагал напечатать «Бурсацкие типы» в июльской книжке «Времени». «Нельзя ли как сделать, — писал он М. М. Достоевскому, — чтобы мой следующий очерк о бурсе был отпечатан в июле? представлю я Вам его лично числа восьмого» (Полное собрание сочинений, т. 2, М.—Л. 1935, стр. 274). Достоевский ответил согласием, но Помяловский не успел так быстро написать новый очерк. «Помяловский обещал очерк и надул», — извещал М. М. Достоевский брата 28 июля 1862 г. («Достоевский. Материалы и исследования», Л. 1935, стр. 538).

В июне 1862 г., непосредственно после напечатания «Зимнего вечера», Помяловский писал М. М. Достоевскому, что хочет поместить во «Времени» «ряд статей о бурсе (до пяти) под разными заглавиями» (Полное собрание сочинений, т. 2, М.—Л. 1935, стр. 274). В заключительном абзаце «Бурсацких типов» Помяловский уже указывает, что «еще очерков восемь, и бурса, даст бог, выяснится окончательно». Благовещенский же говорит, что «всех очерков он предполагал до двадцати».

Стр. 52. *Петр Амьенский* — см. т. 1, стр. 367.

Стр. 62. *Скакая играше...* — Здесь пародийно использованы слова из Ветхого завета об израильском царе Давиде.

*Тать* — вор, грабитель.

Стр. 65. *Владимировка* (Владимирка) — шоссейный тракт из Москвы во Владимир и дальше на восток, по которому отправляли ссыльных в Сибирь.

Стр. 69. *В старину живали деды веселей своих внучат* — слова из оперы «Аскольдова могила». См. примечания к «Махилову», т. 1, стр. 366—367.

Стр. 70. *Драли тогда под колокольчиком...* — Сечение под колокольчиком или под звонком было наказанием за самые серьезные, с точки зрения бурсацкого начальства, проступки. Вот как оно описано в воспоминаниях одного бурсака: «Этому роду истязаний придавался особый вид торжественности: выходили на средину двора ректор, инспектор, учителя и ученики всех классов, — и сторож начинал, не торопясь, звонить в колокол, висевший на столбе около классов. Народ уже знал, что значит подобный звон в училище, и сбегался со всех сторон сотнями. Выводили несчастных — и начинали сечь... Секли иногда до тех пор, пока мальчик, часто 13—14 лет, терял сознание» («Записки сельского священника» — «Русская старина», 1882, № 2, стр. 377).

Стр. 71. *Кабалистика* — мистическое учение, изложенное в древнееврейской религиозной книге Каббала.

Стр. 74. *Одесную* — по правую сторону, *ошуюю* — по левую сторону.

Стр. 80. *Кронеберг* Иван Яковлевич (1786—1838) — филолог-классик, профессор и ректор Харьковского университета, составитель лучшего в те годы, несколько раз переиздававшегося «Латинско-российского лексикона» (первое издание — в 1819 г.).

### Женихи бурсы

Впервые напечатано в журнале «Современник», 1863, № 4, стр. 559—587.

Очерк написан в начале 1863 года. 18 февраля Помяловский сообщил о его окончании Некрасову («Литературное наследство», № 51—52, М. 1949, стр. 466).

Стр. 92. *Игорь* (ум. в 945 г.) — киевский князь. *Ольга* (ум. в 969 г.) — жена Игоря; княжила после его смерти.

*...порождение проклятого пролетариата в нашем духовенстве.* — Помяловский, как и многие другие писатели 60-х годов, употреблял слово «пролетариат» в смысле нищеты, бездомности.

Стр. 101. *«Бова»* — см. т. 1, стр. 373.

Стр. 110. *Воззри на птицы небесные...* — слова из Евангелия, Как и в других случаях, они приобрели комическую окраску и воспринимаются здесь как пародия.

Стр. 114. *Как там товарищи радовались за освободившихся от каторги...* — Помяловский имеет в виду главу «Побег» из «Записок из мертвого дома» Достоевского, впервые появившуюся в № 5 «Времени» за 1862 г.

### Бегуны и спасенные бурсы

Впервые напечатано в журнале «Современник», 1863, № 7, стр. 195—247.

В черновом наброске сцены между Батькой и Элпахой (см. примечания к «Бурсацким типам», стр. 313—314) Помяловский, упомянув имя Карася, замечает в скобках: «Мы в своем месте опишем этого господина». Значит, еще летом 1862 г., за год до писания «Бегунов и спасенных бурсы», план этого очерка возник в творческом сознании писателя, но он считал нужным прежде рассказать читателям о других людях и фактах.

«Бегуны и спасенные бурсы» написаны в июне 1863 г.

Получив рукопись, А. Н. Пыпин, замещавший в это время Некрасова, по-видимому, сейчас же отослал ее в типографию. В корректурных же листах, как обычно, материал, предназначавшийся для очередного номера «Современника», был отправлен цензору Ф. Ф. Веселаго. С этого и начинается цензурная история «Бегунов», которые из всех произведений Помяловского возбудили наибольшее внимание цензуры.

17 июля 1863 г. по докладу Веселаго С.-Петербургский цензурный комитет постановил исключить из очерка ряд «сомнительных мест»; но даже и в таком виде он не решился собственной властью одобрить «Бегунов» к печати и обратился в Совет министра внутренних дел по делам книгопечатания со следующим отношением:

«Назначенный для журнала «Современник» рассказ г. Помяловского под заглавием «Бегуны и спасенные бурсы» написан обыкновенным резким языком этого автора, беспощадно разоблачающего все ужасы и недостатки воспитания и учения в наших духовных училищах.

При докладе этой статьи цензор обратил внимание Комитета на сомнительные места, в которых говорилось:

1) что главная полезная сторона бурсацкого учения состоит в развитии учеников, критически разбирающих все нелепости учебников; 2) об изучении церковного пения на разные гласы помощию общеупотребительных в духовных училищах вовсе не священных фраз и вообще о бесполезности изучения так называемого церковно-обиходного пения, в церковном служении почти не употребляемого, и 3) описание всенощной в бурсе, при которой ученики держат себя самым неприличным образом.

С.-Петербургский цензурный комитет, имея в виду резкий тон статьи и представляемые автором вопиющие беспорядки духовных училищ, положил, смягчив и исключив сомнительные места, представить эту статью в Совет по делам книгопечатания, испрашивая его

разрешения: до какой степени на будущее время вообще возможно допущение к печати подобного рода статей, уже неоднократно являвшихся в нашей литературе».

Совет по делам книгопечатания препроводил это отношение вместе с текстом «Бегунов и спасенных бурсы» на заключение члену Совета И. А. Гончарову. Через несколько дней отзыв был готов. В нем Гончаров писал:

«Рассказ этот принадлежит к тому обличительному роду, который направлен против дурной системы воспитания детей в низших духовных училищах.

Цель подобных рассказов всегда одна и та же: обнаружить безобразие жестокого обращения с детьми и бесполезность мертвого, стародавнего преподавания предметов учения.

Героем бывает обыкновенно жертва побоев и бесплодной умственной муки, выносящая из школы или уныние на всю жизнь, или пороки. Г. Помяловский изобразил все это бойко и местами резко.

Со внесением в общество разносторонних реформ нравы с каждым днем заметно изменяются к лучшему, что, конечно, не могло не подействовать благоприятно и на отношения педагогов к детям. Поэтому преувеличенные и резкие описания и изображения нравов и порядков в школах едва ли достигают предполагаемых авторами целей и относятся скорее к минувшему времени.

При рассмотрении произведений этого рода, мне кажется, нужно иметь в виду следующие цензурные соображения: 1) чтобы в статьях и рассказах не замечалось поименных указаний или намеков на известные места и лица и 2) главное, чтобы писатели, говоря о преподавании предметов закона божия и изображая быт и нравы духовных училищ, не позволяли себе юмористических изображений предметов, касающихся религии, богослужения и вообще церкви, и не относились к ним с иронией, неуважением или легкомысленно.

На этом основании я полагал бы возможным разрешать в печать произведения, подобные рассказу «Бегуны и спасенные бурсы», с означенными цензурными ограничениями, а также предоставить С.-Петербургскому цензурному комитету разрешить и этот рассказ г. Помяловского, за исключением указанных в мнении цензурного комитета мест».

Совет по делам книгопечатания согласился с мнением Гончарова и 31 июля 1863 г. сообщил о своем решении цензурному комитету (Дела Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания, 1863, №№ 8 и 9, и С.-Петербургского цензурного комитета, 1863, № 70).

Как видно из приведенного выше документа, цензора Веселаго больше всего смущали: отрывок «Карась после долгих личных

исследований вполне убедился...» и т. д. (стр. 144), описание изучения церковного пения при помощи «вовсе не священных фраз» и размышления о бесполезности этого изучения (стр. 145—147) и, наконец, описание всенощной (стр. 164—166). Все эти места были или вовсе выброшены, или значительно смягчены посредством изъятия наиболее резких слов. Однако цензура не ограничилась этим. Сравнение журнального текста «Бегунов» с рукописью показывает, что очерк был искажен до неузнаваемости: редкая страница осталась в неприкосновенном виде; выбрасывались не только отдельные слова и предложения, но и целые абзацы и страницы. Вот наиболее существенные искажения, которым подверглись «Бегуны и спасенные бурсы»:

| *В рукописи* | *В журнальном тексте* |
|---|---|
| Стр. 123. * ...в первый же день *крещения* в бурсацкую веру он получил *помазание* в количестве пяти ударов розгами. | ...в первый же день *принятия* в бурсацкую веру он получил *посвящение* в количестве пяти ударов розгами. |
| | Стр. 126. Нет отрывка от слов «Чтобы сразу охарактеризовать растлевающую силу хорового быта» до «Нерон употреблял Спора» включительно. |
| | Стр. 129. Нет отрывка от слов «пятьдесят полос» до «десятилетнего организма». |
| | Стр. 129. Нет заключительной фразы после описания сечения Карася: «С этими словами Лобова кончилось гнусное, лобовское, лобное дело». |
| Стр. 130. ...при *ужасающей* системе на- | ...при *такой* системе нашего вос- |

* Здесь и далее указаны страницы настоящего издания.

| | |
|---|---|
| шего воспитания, *во главе которой стоят черные* педагоги, *лишенные деторождения,* — это самый опасный период... | питания, *в которой участвуют подобные* педагоги, — это самый опасный период... (Аналогичное изменение произведено на стр. 154). |
| Стр. 132—133. | |
| Слышит он треск и гром разрушающегося здания, вопль *умирающего начальства*... «Это кто стонет? — спрашивает Карась. — А! это Лобов *корчится на горячих угольях, его придавило бревном, глаз его лопнул, почернели губы, и трескается зверское лицо»*... Карась с сладострастным наслаждением любуется своими образами и живет злорадостной мечтательной *местью*... | Слышит он треск и гром разрушающегося здания, вопль *умирающих*... «Это кто стонет? — спрашивает Карась. — А! это Лобов»... Карась с сладострастным наслаждением любуется своими образами и живет злорадостной и мечтательной *мыслью*... |
| Стр. 140. | |
| ...что он *должен плюнуть в лицо* своего учителя, *а вместо того должно* улыбаться пред ним. | ...что он *не терпит* своего учителя *и, несмотря на это, должен* улыбаться пред ним. |
| | Стр. 140—141. |
| | Нет отрывка от слов «когда гадили ему секретным образом» до «пред своими бурсацкими пестунами». |
| | Стр. 143. |
| | Нет отрывка от слов «Только Начатки» до «видного места в списке». |
| | Стр. 143. |
| | Нет фразы: «Таким образом, Карась очень решительно отрицал и внешние и божественные науки бурсы». |
| Стр. 144. | |
| ...открывал в учебниках множество чепухи и безобразия. | ...открывал в *иных* учебниках множество чепухи и безобразия. |

| | |
|---|---|
| | Стр. 144—145.<br>Нет отрывка от слов «Карась после долгих личных исследований» до «Аминь, что значит — истинно, или да будет!» |
| Стр. 145.<br>...от сознания своей *ненависти* к *властям*. | ...от сознания своей *неприязни* к *нему*. |
| Стр. 145.<br>— Не мешай, — говорят ему соседи...<br>— *Марфо, Марфо, что печалишися и молвиши о мнозе, — продолжает чтец...*<br>— Замолчишь ли ты, сволочь?<br>— *Печали и болезни вон полезли.*<br>— Слушай, скотина, перестань...<br>— *Ему же дань — дань, ему же честь — честь, а что и за честь, коли нечего есть?*<br>— Братцы, ударьте его хорошенько!<br>— *И бысть слышен глас с небесе — тптпру!* | — Не мешай, — говорят ему соседи...<br>— Замолчишь ли ты, сволочь?<br>— Слушай, скотина, перестань...<br>— Братцы, ударьте его хорошенько! |
| | Стр. 146.<br>Нет отрывка от слов «палася, перепалася, давно с милым не видалася» до «он все твердил: «палася, перепалася», «кто бы нам поднес» и «шел баран». |
| | Стр. 147.<br>Нет отрывка от слов «Странное явление этот обиход» до «Одно к одному, и...» |
| Стр. 148.<br>...так называемых остаточных сумм, *из которых начальству даются награды.* | ...так называемых остаточных сумм. |

| | |
|---|---|
| Стр. 149. | |
| ...*подлой* власти товарища над товарищем. | ...власти товарища над товарищем. |
| Стр. 149. | |
| ...было редкостью, *тем более что* в описываемое нами время *и в других учебных заведениях, а не только в бурсе, царила дремучая ерунда и свинство.*[1] | ...было редкостью в описываемое нами время. |
| Стр. 154. | |
| ...в двух *естествах*... | ...в двух *видах*... (Аналогичное изменение произведено на стр. 155, 158, 160). |
| Стр. 158. | |
| ...но *для бурсаков он был начальник, и они* не *опустили* случая потравить его. | ...но *бурсаки* не *упустили* случая потравить его. |
| — Братцы, — продолжал он: — я отхожу *ко господу моему и к богу моему*... Я вселюсь... | — Братцы, — продолжал он: — я отхожу *на покой вечный*... я вселюсь... |
| | Стр. 159. |
| | Нет отрывка от слов «Всякое дыхание да хвалит» до «посмотрел на него злобно». |
| Стр. 164. | |
| Бурса дала Карасю сильные уроки ненависти, злости и мести — *бурса превосходное адовоспитательное заведение!* | Бурса дала Карасю сильные уроки ненависти, злости и мести! |

---

[1] В рукописи отрывок от слов «Таким образом Разумников» до «ерунда и свинство» первоначально читался так: «Таким образом Разумников положил начало к уничтожению растлевающей нравственность власти товарища над товарищем. Хотя и не уничтожил наказаний, но все же честь и слава бурсаку-учителю, который вел себя гуманно в те времена, когда не только в бурсе, но и везде царила дремучая ерунда и спартанская жестокость. К сожалению, он недолго был учителем, и притом составлял единственное исключение в бурсе».

| | |
|---|---|
| Стр. 164.<br>...стыдно было *даже бурсацкому* начальству... | ...стыдно было начальству... |
| | Стр. 165—171.<br>Нет большого отрывка от слов «Карасю сделалось просто скучно» до «он под конец всенощного играл в чет и нечет».[1] |
| Стр. 176.<br>...показалась телега. *Сзади шел священник.* Телега остановилась у дома инспектора, *к которому и отправился священник.* | ...показалась телега. Телега остановилась у дома инспектора. |
| Стр. 177.<br>Говорят, дьявол всему причина, он соблазнил людей, *но кто же дьявола-то соблазнил*? Был когда-то рай на земле... | Говорят, дьявол всему причина, он соблазнил людей, был когда-то рай на земле... |
| | Стр. 179.<br>Нет отрывка от слов «Черт бы побрал бурсу» до «Отлично». |

Выхолащивание «Бегунов и спасенных бурсы» шло, как мы видим, по двум линиям, тесно между собою соприкасающимся: изгонялись, во-первых, просветительские, атеистические рассуждения Помяловского о религии, религиозных обрядах, «божественных науках», духовенстве и пр. и, во-вторых, резкая характеристика бур-

[1] В этом восстановленном по рукописи отрывке после слов «всякий порядочный человек» (стр. 169) Помяловским зачеркнуты следующие представляющие несомненный интерес слова: «Она имеет несколько фазисов в своем росте. Атеистом человек родится, живет и умирает, часто не подозревая того. Когда я родился и был положен в люльку, я не веровал ни в египетских, ни в индийских, ни в еврейских, ни в католических, ни в протестантских, ни в православных богов, следовательно я родился атеистом. Далее, когда стал подрастать смыслом, мне указывали на образ и говорили: «Это бог, который все со⟨творил⟩». Продолжение зачеркнутого отрывка неизвестно — на этом кончается страница; Помяловский заменил его словами: «не боясь сделаться через то диким зверем». Дальше, после слов «церковные воры и святотатцы» (стр. 170), в рукописи зачеркнуто: «если жена такого человека, попадья, продает бриллианты, то поразузнайте, не были ль в церкви ее мужа когда-нибудь ободраны образа?»

сацкого начальства, неприглядного бурсацкого быта и жестоких нравов; при этом особенное внимание цензора обратили те места, которые могли повести мысль читателей за пределы бурсы и натолкнуть их на размышления о неблагополучии всей современной жизни и несправедливости господствующих в ней законов. Благодаря тому, что рукопись очерка сохранилась (она находится в рукописном отделе Института русской литературы Академии наук СССР, недостающие здесь четыре листа — в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина), мы имеем возможность устранить все цензурные искажения и восстановить все исключенные места.

Стр. 126. *Исполатчики* — певчие, *провозглашавшие* архиерею многолетие на греческом языке (от греч. «исполла эти деспота» — «многие лета здравствуй, владыко»).

Римский император *Нерон* (37—68) отличался не только крайней жестокостью, но и развратным образом жизни. О Нероне и юноше Споре писал в своем сочинении «Жизнь двенадцати цезарей» римский историк Светоний.

Стр. 130. *...во главе которой стоят черные педагоги, лишенные деторождения* — то есть педагоги из черного, монашествующего духовенства.

Стр. 133. *До радостного утра* — то есть до воскрешения. Слова из эпитафии Н. М. Карамзина.

Стр. 143. Говоря об *одном древнем ораторе*, Помяловский имел в виду знаменитого греческого оратора Демосфена (384—322 до н. э.). Демосфен был косноязычен, но ему удалось избавиться от этого недостатка; в его биографиях рассказывается, что отчетливому и ясному произношению слов он учился, набирая в рот черепки и каменья.

Стр. 145. *Итак, нуль, вовеки нуль...* — пародия на заключительные слова многих молитв: «ныне и присно и во веки веков аминь».

Стр. 145. *Ему же дань — дань, ему же честь — честь, а что и за честь, коли нечего есть?* — пародия на слова из Нового завета: «Воздадите убо всем должная: ему же убо урок — урок, а ему же дань — дань, а ему же страх — страх, и ему же честь — честь». *И бысть слышен глас с небесе — тптпру!* — пародия на евангельский стих (слова бога об Иисусе Христе): «И глас бысть с небесе: ты еси сын мой возлюбленный».

Стр. 154. Слово *перемена* обозначает здесь «урок». В рукописи после слов «Третья перемена» зачеркнуто написанное в скобках разъяснение: «третий класс занятий».

Стр. 168. *...бурса вечно аскоченствует...* — Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813—1879) — реакционный писатель и публицист, ре-

дактор еженедельного журнала «Домашняя беседа». В «Домашней беседе» преследовались малейшие проявления освободительных идей и вся светская культура — любое сколько-нибудь значительное произведение искусства либо достижение науки — во имя православия и самодержавия. Ханжество и мракобесие Аскоченского принимало нередко анекдотический характер и являлось всеобщим посмешищем.

*...начинают читать писателей, например вроде Фейербаха, запрещенная книга которого в переводе на русский язык даже и посвящена бурсакам.* — Помяловский имеет в виду книгу, вышедшую в Лондоне в 1861 г.: «Сущность христианства. Сочинение Люд. Фейербаха. Перевод, сделанный со второго исправленного издания Филадельфом Феомаховым». Феомахов (в переводе на русский язык — Богоборцев) — псевдоним П. Н. Рыбникова. Некоторое касательство к изданию имел А. И. Герцен. «За достоинство перевода говорит одобрение и рекомендация знаменитого писателя Александра Герцена», — писал Фейербах издателю Трюбнеру 31 октября 1861 г. («Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlaß, sowie in seiner philosophischen Charakterentwicklung dargestellt von K. Grün», т. 2, Лейпциг, 1874, стр. 144). Вслед за титулом на отдельной странице напечатано такое посвящение: «Воспитанникам русских духовных академий и семинарий посвящает переводчик». Затем следует любопытное предисловие «Два слова от издателя русского перевода», где, между прочим, говорится: «Если мы думаем, что переводчик заслужит признательность всего молодого поколения России, то в особенности возбудит издаваемая теперь книга интерес, конечно, между молодыми людьми, находящимися в духовных русских училищах. Им ближе всего этот предмет. Огромное большинство этих молодых людей жаждут истины; но очень немногие из них могут читать книги на иностранных языках, а на русском до сих пор они не могли найти ничего, соответствующего их стремлению узнать сущность христианства, — потому-то и посвящен им перевод, нами издаваемый».

### Переходное время бурсы

Впервые напечатано после смерти писателя в журнале «Современник», 1863, № 11, стр. 85—90, со следующим редакционным примечанием:

«Этот очерк оставлен покойным Н. Г. Помяловским неоконченным. Тем не менее редакция считает возможным поместить его на страницах «Современника», так как он, независимо от своих внутренних достоинств, служит началом целой серии очерков, о которых Помяловский неоднократно упоминал в предыдущих своих сочине-

ниях и в которых он намеревался охарактеризовать «переходное время» бурсы».

При печатании «Переходного времени» в «Современнике» несколько мест было искажено цензурой. В протоколе заседания С.-Петербургского цензурного комитета от 16 ноября 1863 г. читаем: «Рассказ Помяловского под заглавием «Переходное время бурсы». Определено: на основании отзыва г. цензора об этой статье дозволить ее к напечатанию, с сделанными к ней исключениями». В частности, вместо слов «при нелепых порядках, существовавших почти везде на Руси» (стр. 186) в «Современнике» было напечатано: «при существовавших нелепых порядках». Благодаря корректуре очерка, сохранившейся в рукописном отделе Института литературы Академии наук СССР, можно устранить цензурные искажения.

## Брат и сестра

Впервые напечатано после смерти писателя в «Современнике», 1864, № 3, стр. 150—154, и № 5, стр. 101—154, в качестве приложения к биографии Помяловского, составленной Н. А. Благовещенским.

При печатании в журнале текст подвергся существенным цензурным искажениям. По данным типографских счетов «Современника» из приложений к биографическому очерку Благовещенского была исключена цензурой половина печатного листа (см. В. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника», Л. 1939, стр. 84). Кое-что восстановлено в Полном собрании сочинений Помяловского 1868 г.

В «Современнике» был совершенно обескровлен отрывок о семье политического преступника (стр. 203—205 настоящего издания). Он был напечатан в таком виде (в квадратные скобки заключены слова, не появившиеся в журнале): «...и еще несколько сальных огарков... [За то, что он родил и воспитал энергического сына, он теперь страдает.] Сын в [проклятых] горах [, — которые в природе служат для казни человека, —] роет руду. [За сына выгнали его из службы;] Жена умерла от тоски и стыда...» И дальше: «Полно мне быть честным, злиться с голоду [и умолять бога о работе; да нет и молитвы такой, в которой просилось бы о деньгах! Полно проклятый труд называть святым!] Пойду я скитаться по улицам, протягивая за милостыней руку [, и буду шептать каждому тихо и озираясь, за что пострадал сын мой и я]...»

Кроме того, были исключены следующие отрывки:

Стр. 206. «У чиновников было две совести: одна сожженная (казенная) — эта для службы, которая допускала нравственную возможность взяток, а другая общечеловеческая». И дальше: «Взя-

точника свойство именно то, что он имеет еще казенную совесть сверх обыкновенной».

Стр. 213. От слов «поэтому-то женщины и делятся» до «это будет богу угодно».

Стр. 215. От слов «Вдруг из спальни раздался» до «Жертва совершилась».

Стр. 225. От слов «Благодарю тя Христе» до «прошел благополучно».

Стр. 228—229. От слов «Впрочем, и то хорошо» до «содрать с него же».

Стр. 229—231. От слов «По какому делу?» до «Поседел, несчастный» и от слов «Вот это титулярное существо» до «пошли карты называться святцами, и т. п.».

Стр. 235—236. От слов «Сидя в трактире» до «рассеял свое религиозное настроение».

Стр. 236. От слов «Мать? кто ты, мать моя?» до «Анафема!..»

Стр. 245. От слов «Скажут: ему только семь лет» до «дерут на площади» и от слов «а в том и другом не виноват человек» до «остается отверженцем».

Стр. 253. От слов «Страдания людей» до «она этого не делала».

Были исключены, по-видимому, еще некоторые места, не восстановленные в издании 1868 г. и потому оставшиеся неизвестными.

С другой стороны, главка «Мещанин-безбожник» (стр. 246), напечатанная в «Современнике», и некоторые другие отрывки не попали в издание 1868 г.

Точно датировать возникновение замысла романа невозможно, но, по-видимому, оно относится еще к концу 1861 или началу 1862 г. Н. Я. Аристов сообщает, что в день знакомства со Щаповым Помяловский «рассказывал, что обрабатывает комическую повесть о разной оценке судом физиономии различных лиц при нанесении удара» («Жизнь А. П. Щапова» — «Исторический вестник», 1882, № 12, стр. 578). Эта повесть связана, по всей вероятности, с главкой «Захудалый род», где описывается отставной титулярный советник, промышляющий собственной физиономией и уговаривающий Ремнищева заняться тем же. Следовательно, какая-то работа непосредственно над «Братом и сестрой» или, во всяком случае, связанная с замыслом романа велась Помяловским еще в январе 1862 г. И нет уже никакого сомнения, что в письме к Некрасову от 19 марта 1862 г. он имел в виду именно «Брата и сестру»: «Я осенью разверстаюсь с Вами. Глав до двенадцати у меня написано» (Полное собрание сочинений, т. 2, М.—Л. 1935, стр. 270).

Летом 1862 г., живя на даче на Охте, он, по свидетельству Благовещенского, окончательно обдумал план до тех пор «еще не

выяснившегося, не принявшего определенной формы» романа, дал ему название «Брат и сестра» и, приступив к его писанию, набросал несколько отдельных сцен. Помяловский твердо обнадежил редакцию «Современника». Когда журнал был прекращен на восемь месяцев, редакция предполагала выпустить особые сборники и разослать их подписчикам вместо невышедших номеров. Чернышевский писал по этому поводу Некрасову: «Помещу в них все статьи, которые уже куплены... Постараюсь поместить роман Помяловского (если не явится надежды на возобновление журнала)» (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. 14, М. 1949, стр. 454). Однако сборники осуществлены не были, да и работа Помяловского над «Братом и сестрой» почти приостановилась.

В конце 1862 г. писатель подготовил к печати первые пять глав, и они должны были появиться в январской книге «Современника» за 1863 г. Первую совершенно отделанную главу под названием «Соловьи» он читал многим знакомым. Но ему казалось, что нужно еще сделать кое-какие мелкие исправления, и печатание было на некоторое время отложено. На обложке январской — февральской книги возобновленного «Современника» появилось объявление о том, что вскоре в журнале будут помещены произведения Чернышевского, Салтыкова, Островского и «Брат и сестра» Помяловского. Летом 1863 г., поселившись в селе Ивановском, Помяловский предполагал взяться за отделку написанной части романа и за его продолжение, но не осуществил своего намерения, а затем и вовсе раздумал печатать его.

После смерти Помяловского Благовещенский нашел среди его бумаг лишь четыре небольшие тетради с материалами к «Брату и сестре», относящиеся, как мы знаем из свидетельства Благовещенского (см. стр. 191), к первому этапу работы над романом, а также какую-то рукопись, в которой повествование велось от имени Потесина (см. стр. 217). Благовещенский опубликовал не все, что в них было, и в иной последовательности. Отдельные отрывки он расположил в том порядке, который дает представление об общем замысле и сюжете произведения, а пробелы восполнил собственными вставками, напечатав их, в отличие от текста Помяловского, петитом. Благовещенский руководился при этом рассказами Помяловского об отдельных действующих лицах, эпизодах и главной идее романа и найденным в бумагах писателя кратким планом «Брата и сестры». Насколько удачно справился Благовещенский с этой сложной работой — неизвестно, так как до нас не дошли и те рукописи, которые были в его распоряжении. Однако опубликованный им текст — единственное, что нам осталось от «Брата и сестры».

Для романа Помяловский использовал, между прочим, свои ранние очерки, написанные одновременно с «Вуколом». «Эти эскизы

(т. е. «Человек подражательный», «Человек без аттестата» и «Дневник девицы») частию вошли потом в состав «Молотова», частию в роман «Брат и сестра», — сообщает Благовещенский.

Стр. 197. *Милитриса Кирбитьевна* — героиня старинной повести о Бове-королевиче.

Стр. 209. *«С.-Петербургские ведомости»* — старейшая русская газета; в 1851—1862 гг. ее редактировали А. Н. Очкин и А. А. Краевский, с середины 1862 г. — В. Ф. Корш; орган умеренного либерализма.

*«Северная пчела»* — петербургская газета, основанная Ф. В. Булгариным в 1825 г.; с 1831 г. он редактировал ее вместе с Н. И. Гречем; самое распространенное периодическое издание николаевского царствования, игравшее роль правительственного органа, связанное с Третьим отделением и неизменно преследовавшее и травившее передовую общественную мысль и литературу. В конце 1859 г. «Северная пчела» перешла к журналисту П. С. Усову. С переходом к Усову она стала несколько приличнее по тону, подчас заигрывала с либералами, но скоро вернулась в лагерь воинствующей реакции. Слова «обновленной в горниле вдохновения» и являются насмешкой над этим новым, внешне либеральным направлением «Северной пчелы». Помяловский имеет в виду объявление об издании газеты в 1860 г. Говоря о расширении литературного и критического отдела, Усов, между прочим, заявлял: «Вся жизнь человеческая, в широком, многостороннем ее значении, все жизненные, практические, общеполезные вопросы подлежат изящной словесности, с одним лишь непременным условием: *пройти сквозь горнило вдохновения...* Цель изящной словесности — возвышать душу, а не погружать ее в мрак безвыходных сомнений» («Северная пчела», 1859, № 248). Слова эти не раз служили мишенью для насмешек над «Северной пчелой» со стороны демократического лагеря русской журналистики.

Стр. 210. *...с одной стороны, намекнул Гончаров в своей Софье Николаевне, с другой — Тургенев в Одинцовой.* — Софья Николаевна — персонаж романа Гончарова «Обрыв». Полностью роман был напечатан гораздо позже — в 1869 г., но отрывок из него, озаглавленный «Софья Николаевна Беловодова», появился в «Современнике», 1860, № 2. Одинцова — героиня «Отцов и детей», напечатанных в «Русском вестнике», 1862, № 2.

Стр. 213. *...любовь скоро проходит, и «вечно любить невозможно», а на время, видите ли, не стоит.* — Пародия на известные строки из стихотворения Лермонтова «И скучно и грустно»:

Любить — но кого же? — на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно...

Стр. 221. *«Вечный жид»* — роман французского писателя Эжена Сю (1804—1857). Проникнутый антиклерикализмом, разоблачающий иезуитов, «Вечный жид» был облечен в форму внешне увлекательного авантюрного романа с запутанной интригой.

*«Смерть и честь».* — Романа под таким названием обнаружить не удалось; есть пьеса Н. А. Полевого «Смерть или честь» (1839).

*«Прекрасная магометанка»* — «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа» (1840), лубочный роман Н. Зряхова, пользовавшийся большой популярностью в течение всего XIX в. и многократно переиздававшийся.

Стр. 228. *...рыл народ в Волхов...* — Речь идет о походе Ивана Грозного на Новгород (1569—1570). Иван Грозный с исключительной жестокостью расправился с новгородцами; многих подозревавшихся в измене пытали и топили в Волхове.

*Матвеев* Артамон Сергеевич (1625—1682) — боярин, известный московский дипломат при царе Алексее Михайловиче. После смерти Алексея Михайловича, очерненный враждебной боярской группой, был сослан; возвращен из ссылки Петром I и через несколько дней по возвращении убит во время стрелецкого бунта.

Стр. 232. *«Теория, психически проверенная, что дурак, быть может, умнее нас, умников, но у него свой склад души».* — Эти слова, без сомнения, связаны с повестью Герцена «Доктор Крупов». В предисловии к своему сочинению «О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности», которым открывается повесть, Крупов пишет: «Я не пленить хочу моими сочинениями, а быть полезным, сообщая чрезвычайно важную теорию, доселе от внимания величайших врачей ускользнувшую, ныне же недостойнейшим из учеников Иппократа наукообразно развитую и наблюдениями проверенную» (ср. у Помяловского — «психически проверенную»). Говоря о пономарском сыне Левке Косом, Герцен от лица Крупова замечает, что окружавшие его люди были не в меньшей степени юродивы, чем он. Они с презрением относились к Левке потому, что «Левка глуп, но по-своему, а не по их», «глуп на свой собственный салтык». Помяловский мог читать «Доктора Крупова» либо в старом номере «Современника» (1847, № 9), либо в одном из изданий сборника Герцена «Прерванные рассказы» (Лондон, 1854 и 1857).

Стр. 233. *Балакирев* Иван Алексеевич (1699—1763) — придворный шут Петра I и Анны Иоанновны. С его именем под разными названиями вышло множество сборников анекдотов. Большинство приписываемых Балакиреву анекдотов не имеет к нему никакого отношения; многие из них более позднего происхождения.

Стр. 240. *Гервинус* Георг Готфрид (1805—1871) — немецкий историк и историк литературы.

Стр. 250. *Сорокин* — пародийное прозвище, данное сатирическим журналом «Искра» крупному петербургскому домовладельцу Воронину, который нещадно притеснял бедноту, жившую в его домах. Прозвище это, под которым он постоянно фигурировал в карикатурах, фельетонах и заметках «Искры», получило широкое распространение.

*Штукарев* — Кокорев Василий Александрович (1817—1889), откупщик, миллионер, начавший свою карьеру продавцом в питейной лавке; руководитель крупных финансовых и промышленных предприятий. Его темные коммерческие дела и жестокая эксплуатация рабочих, прикрывавшиеся громкими либеральными речами, не раз разоблачались журналистикой демократического лагеря — см., например, статью Добролюбова «Опыт отучения людей от пищи» (Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 7, Гослитиздат, М.—Л. 1963).

Стр. 254. *Пигасов* — персонаж романа Тургенева «Рудин».

## Андрей Федорович Чебанов

Впервые напечатано после смерти писателя в журнале «Современник», 1863, № 10, стр. 551—560.

Появилось в «Современнике» с подзаголовком «Из романа „Брат и сестра"». В какой связи находится «Андрей Федорыч Чебанов» с общим замыслом романа — неясно. В своем примечании к «Брату и сестре» (см. стр. 194—195) Благовещенский указывает, что этот отрывок «не имеет никакого отношения» к тем частям рукописи романа, которые уцелели после смерти писателя. По его словам, Помяловский написал «Чебанова» «уже тогда, когда задумывал сделать кое-какие изменения в романе». Возможно, что он относится к тому моменту, когда писатель «предполагал разбить громадный материал романа на несколько отдельных повестей». В том же примечании к «Брату и сестре» Благовещенский сообщает, что Помяловский набросал «Чебанова» в течение трех часов, для литературного чтения. Это дает основание датировать отрывок апрелем 1863 г. 10 апреля 1863 г. Помяловский читал «Чебанова» на вечере Литературного фонда (Архив Литературного фонда в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, т. 12, л. 193).

Стр. 261. *«Волею Зевеса был наследником всех своих родных»*—несколько измененная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина:

Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных,

Стр. 263. *Круммахер* Фридрих Адольф (1767—1845) — немецкий богослов и поэт, автор нравоучительных повестей для детей и «для народа»; наибольшей известностью пользовались его «Притчи», не раз издававшиеся в русском переводе.

Стр. 264. *...хотя и звали его гер Шеллинг.* — То есть он был однофамильцем немецкого философа-идеалиста Фридриха Шеллинга (1775—1854).

## Поречане

Впервые напечатано после смерти писателя в журнале «Русское слово», 1863, № 10, стр. 1—36, с подстрочным примечанием-некрологом, принадлежащим Н. А. Благовещенскому, в котором, между прочим, указывалось:

«Печатая подлинник в том виде, как он был написан автором, но желая вместе с тем сохранить для читателей по возможности весь интерес рассказа, я вкратце присоединяю к нему то, что неоднократно рассказывал мне покойный о дальнейших приключениях поречан. В таком виде рассказ дополняет пробел, оставленный автором».

Рассказ был начат Помяловским летом 1863 г. Незадолго до смерти он снова взялся за «Поречан», надеясь их закончить в ближайшее время. В середине сентября 1863 г. Помяловский читал Благовещенскому несколько глав.

Стр. 273. *Огромный и богатый город* — Петербург. *Малая Поречна* — Малая Охта (предместье Петербурга).

Стр. 285. *Берг* Федор Николаевич (1840—1909) — поэт, прозаик и переводчик, сотрудник «Современника» начала 60-х гг. и «Времени»; был в те годы либерально настроен, но затем резко поправел; впоследствии — редактор реакционного «Русского вестника» и активный деятель монархических организаций. Помяловский встречался с Бергом в редакции «Времени». *«Экие морозцы, прости господи, стоят»* — строка из стихотворения Берга «Зайка» («Время», 1862, № 12, стр. 376—377), пользовавшегося в свое время популярностью. В стихотворении есть сентиментальные, слащаво-панегирические слова о крестьянской реформе 1861 г. и о привольной, сытой жизни русского мужичка («Нынче мужички-то хорошо живут. Нынче мужичкам-то эту волюшку дают» и т. п.). С этой точки зрения особенно интересно ироническое отношение к нему Помяловского.

Стр. 298. *И грянул бой, пореченский бой!* — Ср. со строкой из «Полтавы» Пушкина»: «И грянул бой, полтавский бой!»

Стр. 306. *Кокоревский яд* — водка (от имени откупщика, миллионера В. А. Кокорева).

# Содержание

ОЧЕРКИ БУРСЫ

Зимний вечер в бурсе . . . . . . . . . . . . . 7
Бурсацкие типы . . . . . . . . . . . . . . . 51
Женихи бурсы . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Бегуны и спасенные бурсы . . . . . . . . . . 116
Переходное время бурсы . . . . . . . . . . . 182

БРАТ И СЕСТРА. *Роман* . . . . . . . . . . . . . . . 191

АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЧЕБАНОВ . . . . . . . . . . . . . 261

ПОРЕЧАНЕ. *Рассказ* . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

*Николай Герасимович Помяловский*

СОЧИНЕНИЯ, т. 2

*Редактор В. Морозова. Художественный редактор Л. Чалова. Технический редактор В. Алексеева. Корректор Л. Никульшина*

Сдано в набор 11/II 1965 г. Подписано к печати 10/V 1965 г. Бумага 84×108 1/32 — 10,375 печ. л. = 17,43 усл. печ. л. 16,978 уч.-изд. л. Тираж 50.000 экз. Заказ № 1204. Цена 62 к.

Издательство «Художественная литература». Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати. Измайловский проспект, 29